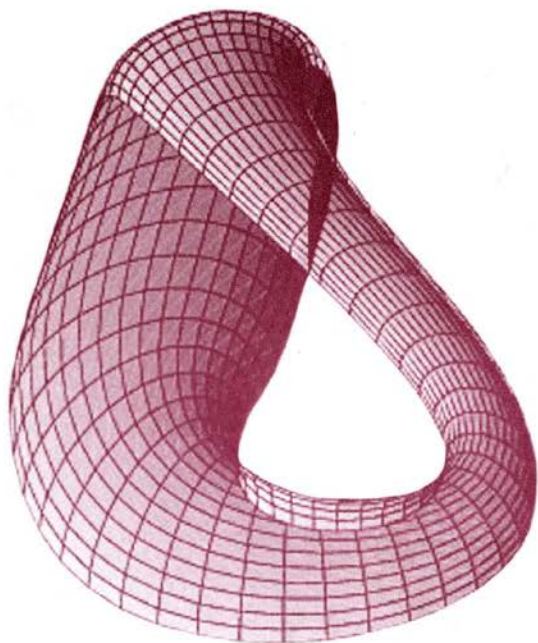


Интеллектуальные трансформации

**Новые теоретические
парадигмы**





**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ**

Серия «Интеллектуальные трансформации»

В серии монографий «Интеллектуальные трансформации» рассматриваются основные тенденции развития современного обществознания. Смена методологических парадигм, изменение языка общественных наук, выявление новых теоретических феноменов стали реальностью в связи с принципиальными изменениями социального и политического пространств. Деконструкция научных теорий, теоретическая рефлексия, поиск нового знания, осмысление теоретических инноваций – предметное поле представленных в этой серии исследований.

Научные редакторы серии:

К.В. Киселев, В.Н. Руденко

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ.
НОВЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ПАРАДИГМЫ**

Екатеринбург – 2008

УДК 32

Интеллектуальные трансформации. Новые теоретические парадигмы. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 329 с.

ISBN 5-7691-2004-5

Монография является итогом научных исследований, совместно осуществленных учеными Института философии и права УрО РАН и Института философии и права СО РАН по проекту «Интеллектуальные трансформации: феномены и тренды».

В работе анализируются тенденции развития современного обществознания, выявляются изменения в научных концепциях, описывающих политико-правовые феномены. Особое внимание в монографии уделяется трансформации теоретических представлений об актуальных проявлениях политического. Отдельная глава работы посвящена изменениям в научных представлениях о современных правовых институтах.

Книга адресована специалистам по теории науки, политологам, юристам, культурологам, а также всем интересующимся процессами, происходящими в современном обществознании.

Ответственные редакторы:

доктор юридических наук *Руденко В.Н.*
кандидат философских наук *Киселев К.В.*

Рецензенты:

доктор философских наук, профессор *Скоробогачкий В.В.*,
доктор философских наук, профессор *Ершов Ю.Г.*

Авторский коллектив:

А.Б. Белоусов – § 6 гл. 2; А.Б. Дидикин – § 1 гл. 3; О.А. Доманов – § 3 гл. 2; М.Ф. Казанцев – § 6 гл. 3; К.В. Киселев – § 5 гл. 2; В.О. Лобовиков – § 2 гл. 3; В.С. Мартьянов – § 3 гл. 1; Н.В. Панкевич – § 2 гл. 1; О.Б. Подвинцев – § 4 гл. 2; В.Н. Руденко – § 3 гл. 3; С.В. Рязанова – § 7 гл. 2; Н.А. Филиппова – § 5 гл. 3; Л.Г. Фишман – § 1 гл. 2; В.В. Целищев – § 1 гл. 1; А.А. Шевченко – § 2 гл. 2; В.В. Эмих – § 4 гл. 3.

ISBN 5-7691-2004-5

О $\frac{100(08)}{8П6(03)1998}$ БО

© ИФиП УрО РАН, 2008

© Авторы соответствующих материалов, 2008

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2006–2008 гг. Институтом философии и права Уральского отделения РАН и Институтом философии и права Сибирского отделения РАН в рамках междисциплинарного проекта, выполняемого в содружестве с учеными УрО РАН и СО РАН были проведены научные исследования, результаты которых представлены научной общественности в коллективной монографии «Интеллектуальные трансформации: феномены и тренды», изданной Института философии и права СО РАН. Представляемая на суд читателей монография коллектива авторов «Интеллектуальные трансформации. Новые теоретические парадигмы» продолжает публикацию результатов совместной работы.

Сложившаяся в отечественном обществознании ситуация у независимого наблюдателя не может не вызвать если не тревоги, то во всяком случае, недоумения. С одной стороны, учебниковый период в социологии и политических науках успешно завершился, а в правовых дисциплинах близок к завершению. Кроме того, отчетливо формулируется заказ на осмысление модифицирующейся реальности, на разработку и обоснование сценариев будущего. С другой стороны, концептуальных работ, связанных с методологической рефлексией обществознания, практически не существует.

Обращает на себя внимание тот факт, что отечественное обществознание в последнее время не показывает «прорывных» результатов. Анализ самых современных тенденций развития общественных наук показывает их неготовность к осмыслению новых феноменов и созданию адекватных настоящему теоретических концептов. Большинство достижений, которые, впрочем, нельзя недооценивать, сводится к освоению накопленного знания и его интерпретации на российской почве. В этой связи вполне обоснованной выглядит гипотеза о том, что время для создания новых теорий высокого уровня еще не наступило, что

современный период есть лишь время накопления и феноменологического, и теоретического материала. Однако даже эта гипотеза не является основанием для отказа от попыток методологической рефлексии в области общественных наук, но напротив подтверждает необходимость и целесообразность как постоянного критического осмысления трансформирующейся реальности, так и поиска новых теоретических парадигм. Представляемая работа – одна из попыток восполнения существующего методологического дефицита.

Особое внимание в работе уделено анализу ситуации, в которой подчас оказываются общественные науки, когда суть привычного явления, процесса, института, суть объектного поля меняются при сохранении формальных признаков традиционного объекта. В результате актуализируется вопрос об адекватности доминирующего понятийного аппарата. Возникает дилемма: либо о его сохранении, либо конструировании новых понятий, создаваемых для описания нового/старого феномена. При этом оптимальный исследовательский выход из этой ситуации часто связан не со сменой языка, а со сменой точки зрения, сменой исследовательских парадигм. Поэтому не случайно обращение авторов представляемой монографии к таким, казалось бы, ушедшим или уходящим феноменам как пропаганда, империя, религиозность, представительное правление и т.д.

Авторы монографии выражают благодарность Президиумам Уральского и Сибирского отделений РАН, Объединенному совету УрО РАН по гуманитарным наукам, поддержавшим проект «Интеллектуальные трансформации: феномены и тренды».

Глава 1

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

§ 1. ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУКИ: ОТ ТИРАНИИ НАУКИ ДО ЖЕЛТОЙ НАУКИ

Тирания науки

В восприятии обществом науки в мире идут противоречивые процессы. С одной стороны, – это наступление фундаментализма, которое еще пару десятков лет трудно было представить. Религия открыто претендует на те области, которые еще недавно были сферой науки; после знаменитого «обезьяньего процесса» в Канзасе креационизм как школьная программа, казалось, навсегда ушел в тень. Однако в нынешней России перспектива преподавания библейской версии происхождения человека весьма близка. С другой стороны, от имени науки выносятся вердикты по самым житейским проблемам, будь то потребление товаров, семья, воспитание детей и т.д. Практически каждый аспект человеческой жизни обсуждается сейчас в научных терминах, и рекомендации даются на основании мнения экспертов или с опорой на исследования. Противоречие заключается не только в различии общих мировоззрений – научного и религиозного, но и в чисто практическом аспекте. Дело в том, что действия, которые ранее требовали религиозного или морального оправдания, теперь решаются «научным» образом. Прибегая к житейскому выражению, трудно сказать, «чья возьмет», но в этой связи следует отметить два обстоятельства: во-первых, наука выступает в несвойственной ей манере, вторгаясь в чужие области, и поэтому инициирует разговоры о «тирании науки». Во-вторых, если этот процесс вторжения продолжится, мы будем иметь дело с трансформацией науки, то есть с полным изменением ее статуса как инструмента исследования природы, а не нормативного инструмента.

Трансформация науки, однако, неизбежна в том смысле, что наука действительно вторглась в те области, которые ранее трактовались только моральными или религиозными авторитетами. И по этой причине критика науки исходит уже из в некоторой степени

оправданных опасений, что наука «не знает, что творит». Действительно, мы не знаем в достаточной степени, какие последствия могут иметь генные модификации. Клонирование или выращивание стволовых клеток из фетусов поднимает такие сложные морально-этические и религиозные проблемы, которые откровенно лежат за пределами тех целей, которые традиционно ставились перед наукой. Кроме того, наука как авторитет не обладает той определенностью, которая должна быть присуща моральным или религиозным авторитетам. Скептицизм как основа научного метода не позволяет одной точке зрения или теории быть окончательной, поскольку одна теория сменяет другую, часто отменяя ее результаты. Больше того, концепция сменяемых парадигм позволяет думать, что истины, добываемые наукой, весьма относительны в контексте социальных и культурных обстоятельств. Все это не придает уверенности в незыблемости научных результатов.

Но дело не только в опасении, которое общество испытывает в отношении науки. Само по себе это отношение изменчиво. Действительно, стоит отметить энтузиазм, с которым в 50–60-е гг. XX в. приветствовались научные достижения в фундаментальной науке, годы открытия генетического кода и теории кварков. Ныне ситуация с наукой в общественном восприятии другая. Интересным фактором, подтверждающим это изменение, является, в частности, изменение формата и содержания ведущего научно-популярного журнала «Scientific American», который из «толстого» превратился в «тощий» с резким уклоном применения науки. Сегодня наука «обременена» гораздо большей ответственностью, поскольку с ней напрямую связывают как надежды, так и опасения в отношении таких глобальных проблем как планетарное потепление и загрязнение окружающей среды.

Это обременение связано с любопытным обстоятельством доверия к науке. Хотя в ее отношении высказывается много неприятий и опасений, тем не менее именно наука в трактовке глобальных проблем признается ныне авторитетом. В самом деле, еще в 1980-е гг. науке ставилось в вину как раз исследование проблем того самого глобального потепления, «исправление» которого ныне видится уже именно средствами науки. Но дело обстоит гораздо

парадоксальнее: в спорах по глобальным проблемам решающими аргументами признаются аргументы научного характера, а не политического, морального или религиозного. Однако такого рода замена политических аргументов научными означает политизацию науки до такой степени, в которой можно говорить о злоупотреблении наукой. То же происходит с моральными аргументами: теперь мало кто говорит о том, является ли некоторый фактор общественной жизни благом или злом. При оценке таких факторов в ход идут образцы типа «наука показала...», «исследования продемонстрировали...» и т.п. Все табу на социальные действия, освящаемые ранее религиозными или моральными соображениями, теперь оправдываются или же свергаются с опорой на науку. Даже креационизм в своей современной версии использует научные данные, что в определенном смысле довольно иронично. С другой стороны, в XVII в. наука рассматривалась как постижение «путей Господних» при создании вселенной и устройстве ее законов.

Более спорным является вторжение науки в те области, которые до сих пор были исключительно сферой морали. Скажем, проблема абортов всегда обсуждалась в плане альтернативы: является ли аборт убийством живого существа. Это, конечно же, требует понимания того, что такое жизнь и когда она начинается. «Определение» подобного рода может исходить от науки, которая, в свою очередь, исходит из других факторов, например из исследований, с какого времени фетус может выжить вне материнского тела.

При такой «всеядности» науки она начинает замещать то, что ей просто не свойственно. А не свойственным ей является полная уверенность в собственной непогрешимости. Но внутри науки такой непогрешимости трудно удержаться против скептической методологии. Однако когда происходит политизация науки или ее «морализирование», легко от скептического тона перейти к авторитарному и рассматривать ее как собрание бесспорных истин. Именно это происходит при злоупотреблении наукой.

Для оценки данного явления следует обратиться к старой проблеме, которую обсуждал еще Юм: различие между «есть» и «следует», между описанием фактов, которое осуществляется наукой, и тем, что мы должны «делать» с этими фактами. На непра-

вильность смешения этих двух контекстов указал Дж. Мур, назвав такое смешение «натуралистической» ошибкой. Даже в социологии, напрямую связанной с ценностями, М. Вебер предлагал объективное описание, лишённое нашей оценки. И действительно, коль скоро наука призвана быть объективной, она должна избегать оценки значения фактов; это последнее делается в ходе моральных и философских дискуссий. Таким образом, во избежание натуралистической ошибки не следует делать науку проектом, который замахивается мораль, философию, религию и культуру.

А какова ситуация с политизацией науки? Тут использование науки имеет гораздо бóльшие последствия, чем в случае моральных или религиозных споров, потому что политики напрямую используют ученых для обоснования и проведения политических решений. Рассмотрим вопрос о выбросе в атмосферу CO₂, который предполагается главным виновником глобального потепления. Киотский протокол является, безусловно, важным политическим решением, но при полной неуверенности относительно доли газа, произведенного человеком и произведенного природой (болота и прочие факторы), однозначная ссылка на научные исследования говорит о крайней политизации науки. Такая политизация приносит вред как политике, так и науке.

Действительно, угроза глобального потепления используется политиками в качестве регулятива в проведении практических действий, будь то изменение в технической политике конструирования автомобилей, или же в экономической политике налогов на «неудобные» в этом отношении автомобили, использование растений при производстве биотоплива или же снижение потребления во имя «устойчивого развития». И все подобного рода требования апеллируют к науке как доказательству правоты их инициаторов. Но дает ли на самом деле подлинная наука твердые основания для утверждения о том, что спасение человечества заключается в ограничении потребления? Что излишнее потребление является злом в моральном отношении, трудно спорить. Но вот с чем можно спорить, так это с тем, что наука говорит о необходимости ограничить потребление. Апокалипсические картины, рисуемые политиками, на самом деле не зависят от научных данных и скорее преследуют

другие цели, например убеждение населения в проведении той или иной экономической политики, выгодной определенным экономическим группам. Временами создается впечатление, что такая политизация имеет и заказчиков. Так, паника в отношении генномодифицированных продуктов, может иметь и экономические мотивы. Больше того, одни и те же влиятельные журналисты и обозреватели иногда поддерживают науку, иногда ругают ее, что производит впечатление классического «заказа».

В позволении столь тесного увязывания науки с политикой в значительной степени виноваты сами ученые. Об этом говорят дебаты в научном сообществе, где сторонники классической науки как средства объективного исследования обвиняют своих коллег в политизации науки. Больше того, в среду профессионального научного сообщества рвутся политики, обещающая «раскрыть глаза» людям на те темы, которые предполагались прерогативой профессиональных ученых. Так, получивший Нобелевскую премию за труд «Неудобные истины»¹ бывший вице-президент США А. Гор на самом деле, по мнению ряда исследователей, допустил в ней много преувеличений и ошибок. Именно эти преувеличения и являются основным поводом для упреков со стороны подлинных ученых, потому что такие преувеличения неизбежно влекут немедленные политические рекомендации. Другими словами, это есть классический случай смешения в одном дискурсе научных фактов и ненаучных предположений, которых подлинная наука должна чураться.

Ленивая наука

Постоянные ссылки на науку в решении дел сугубо практических стали обычным явлением в прессе и масс-медиа. Это особенно относится к медицине, поскольку она является наиболее чувствительной областью для людей. Не меньшее место занимают новости, связанные с изменением окружающей среды, будь то пресловутое глобальное потепление или же экологические катастрофы. При такого рода освещении достижений науки последняя стано-

¹ Гор А. Неудобные истины. М., 2007.

вится источником почти религиозной веры в те утверждения, которые попросту недостоверны. Но магическое «наука показала» действует практически безотказно.

Цепочка движения известий из лабораторий до обывателя достаточно длинна. Уже на стадии лабораторных результатов начинаются сомнения, устранение которых совершается усилиями научного сообщества через повторение исследований или получение убедительных доказательств. Следующая за этим стадия апробации полученных результатов не менее сложна и трудоемка. Поскольку она требует определенного времени, сообщения прессы о просочившихся сведениях об итогах зачастую имеют «романтический» оттенок. Суть дела в том, что если ученым присущ скепсис и в худшем случае осторожное отношение к новостям об открытиях или их применении, то обыватель получает через прессу эти новости в качестве неоспоримой истины. Научное сообщество ставит известия о новых результатах в более широкий контекст состояния соответствующей области, в то время как в прессе это выглядит как изолированный результат, значимый сам по себе.

Тем не менее прессе такие публикации выгодны, поскольку они восполняют потребность в хороших или плохих новостях, связанных с апелляцией к науке, именно новостях, «подобранных» с конференций, от журналистов, специализирующихся по науке, имеющих доступ к «телам» ученых и т.д. Выгодны такие публикации и ученым, поскольку помогают придать гласности их исследования, которые, конечно же, нуждаются в деньгах, известности и пр. Таким образом, такое положение дел устраивает оба сообщества – масс-медиа и научное сообщество. Однако если для журналистов это не только выгодно, но и отражает характер журналистской работы, а именно – получение новостей, то с точки зрения ценностей научного сообщества эта модель вряд ли приемлема. Для журналистов быстрые публикации – успех, а для ученых – сомнительная политика.

Дело в том, что научные публикации служат поводом для журналистских статей, авторы которых «строят догадки»: окажется описываемый результат истинным прорывом в науке или ошибкой. Результат может быть опровергнут, и только дальнейшее развитие

соответствующей области исследований раскроет характер ожидаемого итога. Такое развитие предполагает накопление фактов, их перепроверку, воспроизведение, построение теоретических схем, оценку достоверности знания.

Кумулятивная модель науки, основные черты которой только что перечислены, оспаривают многие постмодернисты. Со времени Куна некоторые полагают, что кумулятивная модель просто неверна, и как следствие – должна быть заменена концепцией, в которой главную роль играет смена парадигм. Такая смена есть результат революционного сдвига в мышлении. Как известно, второе издание книги Куна «Структура научных революций»² позволяет рассматривать в качестве парадигм стиль работы отдельных лабораторий. Но тогда революции должны происходить гораздо чаще, чем это принято полагать. И действительно, часто ученые заявляют о революционных открытиях, и зачастую именно журналисты поддерживают радикализм исследователей. Известно, что многие результаты, которые были озвучены в прессе как революционные, оказывались впоследствии неверными.

Подобная «демократизация» науки, информация о достижениях которой становится добычей некомпетентных или просто неграмотных людей из масс-медиа, имеет весьма ощутимые последствия. Важность этих последствий определяется политическими и экономическими факторами. Например, тезис о глобальном потеплении находится в центре внимания мировой прессы, и принятие решений с целью уменьшения влияния человека на окружающую среду, например Киотский протокол, имеет существенно ненаучную окраску. Между тем именно наука объявляется верховым жрецом в данном вопросе, но для того, чтобы сделать ее таковой, требуется серьезнейшее упрощение объяснений полученных данных и гипотез. Такое упрощение достигается при поверхностном анализе научных публикаций, напоминающем чтение абстрактов некомпетентным человеком. Простой арифметический подсчет «за и против» определенных теорий, который практикуется при этом непрофессионалами в сфере науки, не дает истинного представления о

² Куна Т. Структура научных революций. М., 2005.

том, какова степень достоверности выдвигаемых тезисов. Здесь имеет значение несколько факторов, среди которых следует упомянуть и то, что тезисы эти должны иметь определенный «вес», в зависимости от степени подтверждения экспериментами, и то, что для ученого очень важен фон, сопоставление с остальными данными и пр. В любом случае из сонма противоречивых научных данных не следует делать упрощенных выводов, которые влекут политические и экономические решения. В этом смысле приходится сожалеть, что такая «популяризация» науки резко искажает как дух, так и практику рационального научного дискурса.

Политизация науки

Все названные тенденции связаны с усиливающейся политизацией науки. Научные дебаты становятся средством проведения политических действий, и естественно, что для справедливых решений нужна взвешенность при интерпретации научных данных. Такой взвешенности часто трудно достигнуть внутри научного сообщества, и уж тем более она затруднена при вмешательстве внешних для науки политических сил. Дело в том, что политические решения, принимаемые властью имущими с апелляцией к науке, могут быть и антигуманными, нарушающими права человека, а порой даже репрессивными.

Человеческие ценности по своей природе субъективны. Используя знаменитую фразу-название Ф. Ницше «Человеческое, слишком человеческое», можно утверждать, что наука по своей природе не является таковой. Быть может, это справедливо в отношении социальных наук, как указывал М. Вебер. Но в любом случае политика не должна вмешиваться в сферу науки, точнее, науку не следует соединять напрямую с политикой. Между тем злоупотребление авторитетом науки типично для современного общества. Взаимное проникновение науки и политики приносит вред и той, и другой. Прежде всего очевидна противоречивость такого взаимопроникновения, так что результат вряд ли может быть отнесен к рациональному дискурсу. Действительно, биологи спокойно работают с животными, не заботясь об их правах, хотя с точки зрения

гуманизма это неэтично. Игнорируются опасения людей относительно генетически модифицированных продуктов. Выводы ученых о будущем нездоровье людей, связанным с экологическими изменениями, подвергаются сомнению на основании одного только скепсиса относительно тщательности научных данных. В то же время принимаются в качестве незыблемых данные по-настоящему недостоверные. С другой стороны, эти же дискуссии пару десятков лет назад шли совсем в ином направлении. Сейчас стало политически невыгодным распространение таких мнений. И в угоду «политической стабильности» апелляция к науке становится попросту произвольной, а сама наука позволяет протипуировать собой. Все более возрастающая зависимость ее от ассигнований со стороны бизнеса и политиков делает ее объективность попросту фикцией. Если ранее «заказ» на науку означал заказ на технологические новации, то в последнее время такой заказ носит все более политический характер. При этом искажается характер науки, и такая ее трансформация от объективного исследования к заказному выводу означает радикальную смену ценностей. В этом отношении впору говорить об очередной смене парадигм в науке. Однако вряд ли можно приветствовать такую трансформацию, поскольку эта тенденция есть отклонение от постулата, принятого около трех столетий назад.

Наука может предлагать решения, но не обслуживать их. Если решения исходят от политиков, тогда апелляция к науке служит спекулятивным целям. Иногда эти цели становятся настолько одиозными, что единственный способ их «освящения» состоит в объяснении их наукой, с неявной или явной ссылкой на ее объективность. Но можем ли мы игнорировать то обстоятельство, что сведение роли науки к простым диаграммам или статистике (если говорить упрощенно) может перевесить серьезнейшие этические или вообще гуманитарные проблемы, с которыми сталкивается человечество? Использование науки политиками в том и состоит, чтобы через апелляцию к ней придать своим решением рациональную легитимность. Весьма печально, что само научное сообщество разделено в этом вопросе, потому что факт получения финансовых средств на организацию исследований часто перевешивает все со-

мнения о целесообразности вовлечения ученых в политику. Находятся, естественно, люди, которые становятся «оракулами» в этой составляющей человеческой деятельности. Политическая ортодоксия становится нормой в такого рода дискурсах. Попробуйте в определенных кругах российского научного истеблишмента усомниться в обоснованности самой идеи «устойчивого развития» для России, и вы получите резкую отповедь и обвинение в политической неблагонадежности. Иногда вмешательство политики в науку приводит к настоящей истерии, облеченной в ненаучные термины. Нетерпимость в научных спорах становится нормой, которая является результатом высоких ставок для поощрения услужливости науки. Полезность науки таким образом становится в чистом виде политическим заказом.

Следует помнить о том, что политизация рано или поздно ведет к опасной тенденции превращения науки в особую политическую зону. Наличие в свое время «буржуазной» науки в отличие от «правильной» марксистской или «советской», существование «буржуазных ученых», лучшие представители которых были «стихийными диалектиками», свидетельствует в пользу того, что научное сообщество претерпевает огромный урон. Любое разделение его на враждующие подсообщества делает науку слабой. Раскол, который ранее объяснялся идеологическими причинами, теперь мотивируется политической корректностью. Такая ирония истории науки может удивить, но факт остается фактом, что любое вмешательство в науку политики, будь она либеральной или же тоталитарной, приводит к трансформации науки. Такая трансформация по сути своей является отклонением от предназначения научной деятельности.

Отклонения от науки

Есть все свидетельства в пользу того, что к числу таких отклонений не относится лишь политизация науки. Радикальным представляется и мощное возрождение религиозного фундаментализма, с которым наука, по крайней мере в России, уже попросту боится не то что бороться, но и спорить. Не менее важен и усили-

вающийся элемент иронической науки³. Если религия требует подчинения научной идеологии политической корректности, то есть учета важности церкви в жизни государства или по крайней мере совместимости на «равных» с наукой, то ироническая наука отходит от главного требования науки, а именно – экспериментального подтверждения гипотез. Обоим отклонениям свойственно ослабление научного скепсиса. В случае терпимости науки по отношению к религии это приводит к искажению самой идеологии научного анализа, отказа от объяснения базисной формы рационального дискурса. В значительной степени это есть результат богатства концептуальных форм научности, в частности использования наукой метафор. Одной из таких метафор является определение науки как исследования или попытки понять «пути Господни» при создании мира. Однако метафоричность не должна превращаться в буквализм, который ведет к отказу от научной методологии.

Ироническая наука ослабляет скепсис уже по той причине, что математические конструкции слишком богаты для того, чтобы следовать им буквально. Б. Рассел, которого вряд ли можно упрекнуть в неприязни к математике, говорил: «Не дайте увлечь себя пенью сирен математики». Конечно, математика – одна из сторон иронической науки; другой стороной является спекулятивность, которая в достаточно большой степени присуща науке. Но именно скепсис позволяет преодолевать излишнюю спекулятивность научного дискурса. Как бы там ни было, излишняя политическая корректность по отношению к религии со стороны науки и отход науки от идеала воспроизводимости явлений представляют крайне нежелательные трансформации науки.

³ Хорган Д. Конец науки. СПб.: Амфора, 2003.

§ 2. САМОРЕФЛЕКСИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЦИУМА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ: МЕЖДУ ЕДИНСТВОМ И КОНФЛИКТОМ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Саморефлексия человеческого социума на рубеже тысячелетий претерпевает, пожалуй, одну из наиболее замечательных трансформаций. Никогда вплоть до сегодняшнего дня человеческая цивилизация в столь эксплицитной форме не концептуализировала себя в категориях единства. Речь идет не только о популярных сегодня различных интегративных практиках, направленных на социализацию ущемленных ранее групп, слоев, народов, но и о принципиальных сдвигах в политическом сознании как цивилизационном центре человечества (метафорой которого является западный мир), так и его периферии.

С древнейших времен, через века Возрождения, Просвещения и вплоть до наших дней, каждый экономически, политически и культурно доминирующий человеческий социум представлял собой лишь остров цивилизации среди опасного окружения, в котором представителям иных культур и групп отводилась роль, сопоставимая с ролью природной стихии. А сами носители чуждых культурных кодов в принципе не получали возможности признания в качестве человеческих существ, а их социальные организации – статуса политических структур.

На протяжении тысячелетий социальные границы собственно человеческого универсума логично редуцировались. Подобная традиция была заложена еще в древности. Со времен Аристотеля для абсолютного большинства политических мыслителей было очевидно, что состав человечества формировался из взаимно лояльных по отношению друг к другу в рамках единого социального кода и вследствие этого крайне немногочисленных групп. Для древнего мира не было ничего удивительного в том, что значительная часть людей уже по своей антропологической природе исключалась из социальной, не говоря уже о политической, жизни. Так, именно

антропологическая предрасположенность и неполноценность определяла место внутренних и внешних чужаков (в древности это место отводилось рабам и варварам) за пределами человеческого социума. Они могли сосуществовать на одной территории с теми, кто мыслился собственно человечеством, выполнять многочисленные хозяйственные функции. Но при этом в собственно человеческом статусе им было отказано.

В конечном итоге именно эта презумпция, а не функциональная роль в экономической системе или отношение к средствам производства, определяла минимальный объем социальных и политических прав ущемленных и отверженных групп, сведение их социального бытия лишь к факту существования. Та же логика работала против внешних по отношению к цивилизованному миру и противостоящих ему чуждых «варварских» племен, которых теоретическая мысль также не классифицировала как часть человечества.

На протяжении долгих столетий доминирующие цивилизации и отдельные политические системы отточили навыки выявления внутренних и внешних варваров, отводя им место на нижних этажах политического бытия, или даже выводя их за сферу политического. В зависимости от конкретных обстоятельств эта ячейка в классификации могла заполняться за счет представителей иных народностей, религиозных воззрений, политических убеждений. Сведение объема их прав, способности к действию, соприсутствия в одном социальном пространстве наряду с полноправными членами общества, как правило, исключительно к обслуживанию и самообслуживанию определялось различными изданиями и версиями одного и того же тезиса, концептуальная суть которого заключалась в отрицании самой возможности признания равного человеческого достоинства за носителями отличающихся культурных кодов.

Не следует считать, что подобная установка имеет чисто теоретический смысл. Напротив, именно она формирует глубинную основу практической повседневности, позволяя средневековому феодалу охотиться на человеческую дичь, европейскому колонизатору истреблять племена туземцев, а японскому милитаристу времен второй мировой войны ставить медицинские опыты на китайских «бревнах».

В связи с этим даже самая жестокая эксплуатация, дискриминация и создание невыносимых условий для жизни исключенных из состава человечества не могли восприниматься доминирующими группами в собственном качестве. Речь не могла идти о справедливости или несправедливости социального устройства в отношении миллионов людей. Все эти техники могут быть несправедливы только в отношении тех, кто входит в состав социума, состав человечества с эпитетом «цивилизованное» (иными словами, принадлежит ему и занимает свое положение внутри его политических контуров). Но такая логика перестает работать по отношению к тем индивидам и группам, которые выпадают за эти рамки.

Эксплуатация «существ», которые мыслятся доминирующим ядром человечества недостаточными антропологически, есть не более чем эксплуатация природных ресурсов. Внутри различных политических систем на протяжении всей истории подразумевалось, что этих людей можно не допускать к осуществлению функций управления или произвольно лишать собственности, принуждать к неоплачиваемой работе или загонять в гетто, высылать за пределы политики (например с целью освоения новых земель или добычи природных ресурсов). А в экстремальных случаях – даже уничтожать или использовать как материал для проведения медицинских экспериментов. В одностороннем порядке, исключаящую всякую возможность ответной социальной коммуникации и политического действия, доминирующие цивилизации, а внутри них господствующие элиты, определяли характер своего воздействия на человеческую периферию. Неудивительно, что всякая ответная реакция описывалась в терминах природных катаклизмов.

На внешних рубежах по отношению к периферийным группам наиболее пригодной мыслилась политика экспансии, установления контроля и дальнейшей эксплуатации. Показательно, что подобное положение вещей первоначально в принципе не нуждалось в идеологической легитимации. Напротив, господство цивилизации над «внешним» миром вне необходимости получения его обратной реакции, считалось не только допустимой, но и единственно возможной стратегией внешней политики. Идеи ответственности управляющих перед патронируемыми, необходи-

мости содействия эффективной социализации выпадающих из социальной системы групп внутри политических систем, многочисленные версии «бремени белого человека», формулирование миссий содействия прогрессу на «диких» территориях во внешней политике появляются сравнительно недавно. Но и подобные легитимации свидетельствуют лишь о том, что ядро цивилизации прекрасно осознает свое особое ограниченное и защищенное место в структуре человечества.

Такое позиционирование позволяет доминирующей группе структурировать периферию по степени соответствия критериям цивилизованности, в одностороннем порядке оценивать степень готовности включиться в человеческий универсум на равных правах, распределять возможности доступа для конкретных периферийных групп к системе социальной коммуникации, системе обменов. При этом наиболее незавидным оказывается положение групп, полностью исключенных из этой системы.

Парадоксально, но каждая революция, целью которой была эмансипация, включение или возвращение отверженных в состав человечества, лишь переворачивала идею об антропологической разделенности, лишая человеческого статуса на этот раз бывших эксплуататоров. И та же логика сопровождала любую освободительную кампанию против господства метрополий.

Архаическая по сути логика антропологической разделенности человечества сопровождает всю историю цивилизации (или, говоря несколько осторожнее, западной цивилизации). Даже во второй половине XX в. уже после второй мировой войны, очередной раз показавшей весь деструктивный потенциал подобного подхода, практика сегрегации и исключения выглядела более чем органично. На исключенные группы молчаливо возлагалось бремя доказательства своих прав на интеграцию в состав человечества. Даже на исходе столетия ряд групп по-прежнему вынужден отстаивать само право на признание собственной человеческой природы. Знаменитое «I'm a man» принадлежит далеко не первым христианам, которые впервые в истории западной цивилизации заявили о потенциальной возможности создания единого человеческого универсума.

Лишь на исходе 1960-х гг. начинает определяться тенденция к существующей рассматриваемой политической традиции в концептуализации человеческого сообщества. Появляются призывы к поиску инструментов и методов познания и признания иных версий и форм, институтов и практик организации человеческих взаимодействий в качестве равноправных и равноценных если не политически и экономически, то по крайней мере экзистенциально. Даже если они пока классифицируются как различные формы «политической экзотики»¹. Впрочем, область «экзотики» на этот момент включает в себя настолько широкую номенклатуру форм организации человеческих сообществ, столь широкий спектр географических ареалов, а также впечатляюще внушительный список народов, что она покрывает практически весь мир вне пределов ядра западной цивилизации. Тем не менее, значение этого поворота достаточно велико. Западный мир заметил, что рядом с ним политически, социально, культурно не только существует иной мир, но и определенно является человеческим.

Последствия этого «прозрения» начинают отчетливо проявляться в наши дни, в корне меняя сами стратегии коммуникации и поведения ядра человеческой цивилизации и периферии. В течение всей предыдущей истории естественной рациональной стратегией ущемленных групп было постоянное стремление интегрироваться, влиться в состав ядра, или по крайней мере приблизиться к нему, восприняв и интериоризировав его систему ценностей, социальных институтов, систем регулирования. Именно такая стратегия позволяла по меньшей мере гарантировать большую степень безопасности.

Мы располагаем сегодня огромным количеством примеров того, как внутренние и внешние по отношению к доминирующей политике периферийные группы отказывались от своих богов, языка, культурных ценностей, истории и традиций для того, чтобы гарантировать минимум безопасности и сносного обращения. Очевидным успехом в рамках этой стратегии была интеграция, включение на групповом (чаще на персональном) уровне в систему со-

¹ Баландые Ж. Политическая антропология. М.: Научный мир, 2001. С. 14.

циальных обменов на более или менее паритетных условиях, а в идеале – полная ассимиляция с «принимающим» социумом. Логичным ответом цивилизационного центра было ограждение и сегрегация, закрытие собственных границ с целью удержания доминирующего положения. Иными словами периферийные группы имели отчетливое стремление сделать человечество более единым, в то время как для центра это единство было стратегически неприемлемо.

Сегодня мы становимся свидетелями того, как впервые в истории тезис о единстве человечества изымается из исключительной области риторики политического действия отверженных и эксплуатируемых и становится языком респектабельных элитных доминирующих в мировом социальном, экономическом и политическом пространстве. Сегодня это язык элит ядра западного мира, язык стран, объединяющих «золотой миллиард» человечества. Более того, из области риторики новое видение сути взаимодействий между цивилизационным центром и периферией уже перекочевало в область политических концепций, имеющих прямое и непосредственное продолжение в реальной политической практике и повседневности.

Если ранее политика внутренней сегрегации, внешних колониальных захватов, гражданских и международных войн имплицитно опиралась на идею о неполноценности проигравших и исключительности победителей, фатальной разделенности человеческого рода, то сегодня ядро цивилизации встало в оппозицию самому себе.

Набирающие популярность идеи прямо апеллируют к концептуализации человечества как единого целого, реализуются и на государственном уровне, и инициативно в гражданском секторе. Среди них концепции безусловного равенства прав человека безотносительно его личных и групповых статусов, уровня экономического благосостояния, места жительства и гражданства. Та же идея заложена в концепции коллективного права человечества на природные ресурсы и окружающую среду, их потребление и использование. Каждая гуманитарная интервенция легитимируется прежде всего представлением о единстве человечества безотносительно

тех форм и институтов, которые организуют жизнь того или иного общества, и необходимостью возврата проблемного социума в русло цивилизации.

Повсеместно в западном мире функционируют сотни негосударственных организаций, озабоченных решением различного рода гуманитарных проблем от снабжения нуждающихся продуктами питания и медикаментами до контроля над распространением опасных заболеваний. Коммерческие предприятия теряют рынки, потребителей, поддержку местных властей в собственных странах, если оказываются уличенными в связях с режимами и правительствами, нарушающими права человека, в странах, куда они выносят производственные мощности или осуществляют коммерческую деятельность. За последнее десятилетие мы наблюдаем взрывной рост интереса общественности и, что также чрезвычайно важно, государственных структур, к образу действия коммерческих предприятий во внешнем мире. Необходимо отметить, что в большинстве случаев предприятия принуждаются к пересмотру кодекса своего рыночного поведения.

Именно так произошло с компанией *Nike*, которую обвинили в массовом нарушении прав человека на предприятиях, локализованных в странах Азии, использовании детского труда, катастрофически низкой заработной плате сотрудников¹. От внимания наблюдателей не укрылись даже массовые факты устных оскорблений наемного персонала со стороны линейного менеджмента на предприятиях в Индонезии и Вьетнаме. Мгновенные финансовые потери компании в момент публикации данных в 2001 г. составили около 150 млн долларов только за счет падения курса акций. При этом накопленный недельный эффект показал 22% снижения курса. Компании понадобилось более полугода, чтобы вернуться на исходные рубежи, чему в немалой степени способствовало принятие специального кодекса корпоративного поведения и корпоративной ответственности.

¹ *Tulder R., Zwart A.* International Business Society Management: Linking Corporate Responsibility and Globalization. Routledge, 2007. P. 279-289.

Не менее показателен пример германской компании *Triumph*, одной из мировых лидеров в производстве трикотажа¹. Вслед за *PepsiCo* и *Heineken* в 2001 г. эта компания также столкнулась с обвинением в сотрудничестве с коррупционным режимом, нарушающим права человека в Бирме. Инвестиции в эту страну, и особенно аренда государственной недвижимости, были квалифицированы как прямая финансовая поддержка нелегитимного правительства. Итогом неудачной локализации бизнеса стала потеря крупных имиджевых контрактов. В частности, по этическим соображениям с компанией отказался работать Национальный Олимпийский Комитет Норвегии. На значительный период компания была исключена из всех видов коллективных промо-мероприятий европейских отраслевых ассоциаций и лишилась значительной части потребителей. Итогом противостояния стал уход ряда компаний-потребителей из проблемного региона.

Новое видение контуров мирового человеческого сообщества затрагивает сферы, практической деятельности и законодательного регулирования, которые, казалось бы, весьма далеки от рассматриваемой проблемы. Одна из таких сфер – авторское и патентное право. Именно оно находилось и до сих пор находится в фокусе деятельности организаций, оперирующих в сфере борьбы с массовыми социально опасными заболеваниями. Известно, что фармацевтические компании тратят значительную часть средств на фундаментальные исследования в области разработки новых препаратов. Средние затраты в 2000–2005 гг. на то, чтобы вывести на рынок одно новое наименование, составляли от 500 млн до 1 млрд долларов². Естественно, что при таких затратах обеспечение безопасности интеллектуальной собственности, предотвращение копирования и дальнейшего производства более дешевых аналогов становится в фармацевтической отрасли крайне принципиальным.

¹ *Tulder R., Zwart A.* International Business Society Management ... P. 289-304.

² *DiMasi J., Hansen R., Grabowski H.* The Price of Innovation: New Estimates of Drug Development Costs // *Journal Of Health Economic*, 22(2003). P. 151-185; см. также <http://www.cptech.org/ip/health/econ/dimasi2003.pdf> (проверено 20.09.08).

Тем не менее именно этот механизм делает новые препараты недоступными для жителей беднейших стран и регионов. В частности для стран Африки, где сосредоточено 2/3 всех живущих на Земле носителей вируса ВИЧ, решение этой проблемы оказывается в принципе невозможным. И если ранее состояние здравоохранения в третьих странах интересовало разве что десяток миссионеров, то сегодня преодоление норм патентного права в социальных нуждах становится предметом рассмотрения на высшем уровне. Один из документов, принятых ВТО в Дохе¹ прямо заявляет, что глобальное общественное здоровье является более приоритетным, чем любые патенты. Это означает, что в целях помощи беднейшим странам компании развивающихся стран получают право производить дешевые аналоги брендируемых лекарств безотносительно мнения правообладателей.

Происходят изменения и в собственно гуманитарной сфере, которая не затрагивает интересы корпоративного сектора и экономической деятельности. Парламенты утверждают расходы национальных государственных бюджетов на гуманитарную и инфраструктурную помощь различного рода failed states, где происходят нарушения прав человека. Филантропы выделяют значительные средства на реабилитацию жертв религиозных ритуалов и практик, существующих в периферийных странах, защиту прав женщин, детей, национальных меньшинств. Семьи принимают детей из стран третьего мира и воспитывают наряду и на равных условиях со своими собственными. Сегодня подобное поведение уже никого не удивляет. Очевидно, подобная гуманитарная деятельность гражданского сектора никоим образом не оправдана ни экономическими, ни прагматическими императивами. Тем не менее, западный мир с очевидным упорством продолжает искать поводы для реализации своего стремления включить в единое «тело» цивилизации возможно большее число человеческих общностей и отдельных личностей.

¹ DOHA WTO MINISTERIAL 2001: MINISTERIAL DECLARATION. Trade-related aspects of intellectual property rights (№17-19) // http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm (проверено 20.09.08).

В области внутренней государственной политики наблюдается та же тенденция. Все больший размах и обостренную актуальность приобретают исследования в области проблем социального исключения и техник реинтеграции отверженных в состав единого социума таким образом, чтобы они также могли стать бенефициариями социальной системы, получить адекватный доступ к распределению общественных благ. Причем в области внутренней политики невозможно объяснить этот сдвиг только осознанием своих прав ущемленными группами, будь то трудовые мигранты или исторически сосуществующие национальные, религиозные или иные меньшинства. Исследования показывают, что политическое действие этих групп опосредуется через организации и структуры собственно доминирующего центра (церковь, профсоюзы, НГО), действуют ли они в рамках национального государства или на наднациональном уровне¹.

Вряд ли причины подобного концептуального сдвига можно объяснить чисто психологической потребностью ядра цивилизации принести извинения мировой общественности за годы колонизации и эксплуатации и этим снять свой комплекс вины перед человечеством. Столь масштабная перемена культурного характера, с одной стороны, требует своего объяснения, а с другой – просчета ее долгосрочных последствий, прямых и косвенных рисков.

Событийный контекст, обеспечивший трансформацию в западном политическом мышлении необходимым эмпирическим опытом, достаточно легко реконструировать. Наиболее очевидным процессом в этом плане является радикальное уплотнение сети взаимодействий между центром и периферией: интернационализация хозяйственной деятельности, интеграция страновых экономик в общую систему циркуляции ресурсов, рождение информационной эпохи, способной связать между собой отдаленные регионы, постоянно возрастающая необходимость массивированных культурных контактов между различными социумами, падение

¹ Favell A., Geddes A. *Immigration and European Integration: New Opportunities for Transnational Political Mobilisation? // Challenging Ethnic Relations Politics in Europe*. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 407-428.

реального значения государственных границ. Словом, все те процессы, которые, обобщаясь, вписываются в интегративную метафору глобализации и порождают достаточно уверенный оптимизм в возможность достижения подлинного единства человечества.

Однако оптимистичный пейзаж становления нового, более эгалитарного и справедливого мира перестает быть таковым, если посмотреть на него с несколько иной точки зрения. Если идеология является наиболее «дистиллированной» формой выражения стратегии адаптации социума и обретения им комфортной позиции в системе обменов, то трансформация образа мышления является совершенно очевидным свидетельством обретения западным миром новой технологии взаимодействия с периферией в эпоху, когда сама мировая структура становится все более взаимоувязанной и взаимозависимой.

С одной стороны, вполне очевидно, что стремление содействовать прогрессу в мировом масштабе отнюдь не является исключительно альтруистической и гуманитарной установкой. До известных пределов радикальное смещение акцентов в стратегии западной цивилизации по отношению к своим глобальным контрагентам детерминировано экономическими процессами. Новое видение взаимодействий в мировом масштабе способно приносить экономические и хозяйственные дивиденды.

На самом поверхностном уровне объяснения трансформация политических ценностей определена необходимостью экономической экспансии. Вынос производств из стран ядра на периферию, с одной стороны, и необходимость рекрутировать рабочую силу для заполнения позиций, не требующих высокой квалификации и компетентности сотрудников, с другой, в территориальных границах западного мира неизбежно порождает императив социализации культурно иных групп. Насущным становится поиск методов их «приручения» и в конечном итоге создания гарантий безопасного сосуществования в рамках одних и тех же социально-территориальных систем.

Также достаточно очевидно, что чем более институционально и культурно схожи взаимодействующие системы, тем менее значимы издержки и потери в ходе экономического взаимодей-

ствия. Включение и социализация в нужном ключе поистине огромных человеческих масс (демографический потенциал периферии сегодня существенно превосходит потенциал цивилизационного ядра) позволяет создать более равномерный ландшафт, в котором подключение периферии происходит значительно проще. Поэтому неудивительно достаточно часто высказываемые мнения о том, что рассматриваемая тенденция лишь один из множества способов удержания человеческой периферии в состоянии неравноправного обмена и продолжающейся эксплуатации.

Распространение идеологии в этой трактовке есть процесс, сопутствующий и обеспечивающий глобальную экспансию западной цивилизации, которая не столько объединяет человечество, сколько создает новую иерархию. Унификация культурная становится условием для закрепления неравенства экономического. И соответственно подобное положение вещей сводит новую концептуализацию человечества в его единстве к области чистой политической риторики, скрывающей истинный характер стратегии западного мира.

С подобной негативно окрашенной экономически детерминированной трактовкой можно согласиться лишь отчасти. Действительно, если рассматривать исключительно деятельность доминирующих экономических агентов, транснациональных корпораций и политических субъектов конкурирующих государств, то нельзя не согласиться, что для них единство и равенство человечества наименее желательное состояние в глобальную эпоху. В идеале им нужны обеспеченные потребители, богатые рынки, способные проглотить большой объем продукции, и согласные на любые условия труда наемные работники. Государствам же, стремящимся к большему геополитическому присутствию, проще иметь дело со слабыми коррупционными режимами, не способными справиться с внутренними проблемами. Именно неравновесная модель взаимодействий для первых максимизирует экономическую эффективность деятельности, для вторых открывает пространства суверенных государств для эксплуатации природных ресурсов, размещения своих форпостов, решения геополитических задач. Признание периферией опреде-

ленной системы экспортированных ценностей позволяет сделать эту систему взаимодействий длительно стабильной.

Однако не менее очевидно и то, что на самом деле западный мир, обладая мощным потенциалом собственной экономики, огромным аппаратом принуждения и военной силы, доминируя в сфере финансовой, мог бы реализовать эту стратегию в ее экономически детерминированной версии и без каких-либо политических реверансов в сторону периферии. Если, конечно, рассматриваемый идеологический поворот вообще можно оценивать как реверанс.

Представляется, что объяснение лежит на более глубоком уровне политического бессознательного западного мира. Внутри его системы ценностей постепенно накапливался потенциал для вызревания и принятия нового видения как в массовом сознании, так и в экспертном сообществе и на уровне политических элит. Именно эти изменения, а не экономическая необходимость, позволили западу реально пересмотреть свое отношение к политически и культурно иным социумам. Более того, сегодня можно утверждать, что подобная ситуация на глубинном уровне порождает совершенно новые риски и проблемы, которые могут оказаться для западной цивилизации гораздо более значимыми, чем те преимущества в экономической сфере, которые можно достичь, применяя новую идеологию утилитарно.

Признание равного человеческого достоинства и возможности интеграции разных культурных групп в рамках единого человечества имеет глубокие корни в базовых западных политических установках, среди которых особое место занимает культ индивидуализма и рациональности. Доведенные до логического завершения в своей совокупности, они порождают сегодня целый комплекс проблем, из которых принципиально значимой в свете обсуждаемой становится бесконтрольное дробление социума, распадение его на огромное количество меньшинств, групп, все чаще имеющих маргинальный статус. Возведенный в абсолют принцип индивидуального выбора позволяет каждому отдельному человеку легко выбирать свои социальные статусы и при этом не чувствовать ни необходимости, ни потребности в сохранении лояльности по отно-

шению к группам, которые его этим статусом наделяют. Социальные связи утрачивают свою стабильность, в возрастающей мере они становятся результатом случайного выбора и могут быть разорваны индивидом в одностороннем порядке в любой момент.

Этот эффект достаточно глубоко изучен с точки зрения обширной номенклатуры явлений и феноменов, в которых он проявляется¹. Сейчас важнее другое. В процессе непрекращающейся индивидуализации западная цивилизация по факту утратила значимую часть своего иммунитета – осознания своей собственной уникальности как *внутренне единого* общества. Социум, превратившийся в сообщество автономных индивидов, ставший обществом ситуативных нестабильных меньшинств, каждое из которых формирует собственный культурный код, групповую мифологию, частный язык, способы идентификации своих членов, но при этом не рассчитано на длительное существование, становится предрасположенным к принятию и дальнейшей интеграции новых членов. Для подобного общества группы – носители иных культурных кодов становятся не просто исключаемым меньшинством, но *еще одним* меньшинством. Их появление и попытка занять свое место в общей социальной структуре не разрывает единство. Этого внутреннего единства, которое бы составляло саму стратегическую основу жизнедеятельности и жизнеобеспечения каждой цивилизации по отношению к периферийному миру, по факту не существует.

Именно поэтому сегодня западный мир действительно оказался готов к принятию новых участников мирового процесса в качестве равноправных в человеческом смысле партнеров независимо от расы, географии проживания, уровня доходов. Возможность признания не зависит от социальной топологии размещения периферийного общества. Оно может физически находиться на другом континенте и формировать эксклав внутри государственных границ политической системы. В силу этой ситуации можно действительно утверждать, что свидетельства содействия прогрессу в мировом масштабе являются отражением достаточно устойчивой тенденции

¹ См., напр.: *Тоффлер Э. Шок будущего*. М.: АСТ, 2002. С. 557.

и достаточно плотно укоренены в системе политических ценностей и практической жизни цивилизационного ядра.

Однако не является ли оптимизм несколько преждевременным. Почему вполне оправданная и легитимированная глубинной системой ценностей политика цивилизационного центра по интеграции и содействию социальному прогрессу в периферийных пространствах настолько негативно оценивается самой периферией? Причем это происходит не только на уровне межгосударственных отношений, которые были и остаются конкурентными, но и на уровне самих социальных групп, включенных в широкую сеть взаимодействий. Несмотря на преимущества открытого доступа к источникам благ, которые интеграция предлагает и предполагает, периферия не испытывает восторг от возможности включения в эту сеть обменов и взаимодействий.

Одновременно с открытием цивилизационного ядра к широкому участию периферийные группы также радикально меняют свою стратегию социального действия, которая, как показывает практика, включение и социализацию в системе ценностей интегрирующего общества не предполагает в принципе.

Формы сопротивления периферии интегративным предложениям ядра цивилизации чрезвычайно разнообразны. Их спектр включает и активные действия террористического характера, и пассивное принятие и потребление гуманитарной помощи и программ, которое становится формой паразитирования периферийных социумов. Невозможно утверждать, что сопротивление оказывается только экономической экспансии и эксплуатации, применению военной силы в ходе интервенций и т.д. Значительное сопротивление встречают и программы чисто гуманитарного характера. Так, например, в ряде стран годами проваливаются кампании по вакцинации детей от полиомиелита и других опасных заболеваний, а врачи Всемирной организации здравоохранения становятся чрезвычайно привлекательной мишенью для террористических атак. Религиозные меньшинства продолжают осуществлять запрещенные в развитых странах религиозные обряды, даже если для их выполнения необходим временный выезд и достаточно длительное пребывание на исторической родине, и даже в том случае, когда

факт участия в подобном обряде неизбежно ведет к угрозе уголовного преследования. Но гораздо более распространенной является форма скрытого сопротивления, при которой периферийные группы сохраняют внешнюю лояльность по отношению к интеграционным предложениям, принимают и используют их. Но при этом не модифицируют своего политического поведения ожидаемым образом, иными словами не становятся более проницаемыми, менее замкнутыми. Напротив, весь потенциал предлагаемых интегративных практик используется для поддержания уникальности, автономности группы, ее специфического культурного кода.

Западная цивилизация отводит значительный объем собственных ресурсов только для того, чтобы обеспечить к ним доступ различного рода ущемленным группам. При этом удивительным образом подобный доступ часто оказывается преимущественным. Благодаря механизмам квотирования социальных благ, закрепления их за ранее ущемленными группами (это получило название позитивной дискриминации) появляются все новые и новые привилегированные слои, получающие возможность эксплуатировать социальную систему, не принимая участие в ее поддержании и воспроизводстве.

Эта система становится самоподдерживающейся: уникальный культурный код вызывает интеграционные предложения, которые предоставляют группе ощутимые выгоды социального, экономического, политического характера. Упорное сохранение этого кода становится условием непрекращающейся помощи, направленной на социализацию. А сама помощь становится возможностью для укрепления группового благополучия и служит опять же укреплению ее уникальности. Сохранение ситуации расколотого общества, которое ранее рассматривалось периферией как свидетельство существования нездоровой, несправедливой политической системы сегодня удобно и выгодно. Сегрегация становится не только добровольной стратегией, но и наиболее рациональным способом поведения периферийных групп. Причем оказывается непринципиальной их социальная и географическая локализация: внутри границ политической системы, либо за ее пределами в рамках других суверенных государств.

Несмотря на то, что описанная ситуация вполне эксплицитно проявляется в повседневной рутинной жизни, корни ее, очевидно, также следует искать в области идеологической. Очевидно, что западный мир в своей цивилизаторской активности совершил достаточно серьезную ошибку. Все его действия адресовались рациональному индивиду, который рассматривался как субъект автономный и эмансипированный по отношению к социальным структурам социальной и политической жизни. Иными словами, – к индивиду западной цивилизации, которого на периферии сегодня попросту не существует.

Периферийные общества в большинстве своем представляют совершенно иную социальную реальность, в которой главную роль играет далеко не индивид. Напротив, его личная ценность ничтожна по сравнению с ценностью социума, стабильностью его структуры и культуры. Группа становится главной средой, в которой реализуется жизнь человека, и группа же является главным субъектом политического действия.

Если западный индивид уже традиционно черпает уверенность в гарантиях своих прав в обезличенных государственных механизмах, в гражданском обществе, которые слепы по отношению к его индивидуальным статусам, то совершенно иная ситуация наблюдается в отношении вновь принимаемых, интегрируемых социумов. Для их представителей главным значимым механизмом защиты индивидуальных прав является группа. Именно она гарантирует права собственности. Именно она обеспечивает доступ к внутренним экономическим ресурсам (так, например, лояльному члену группы не требуется обращаться к банковской системе для получения кредита, его он может получить внутри своего локального социума на более выгодных условиях, чем это предлагает открытый рынок). Именно на этом уровне, а не на государственном решаются вопросы семейной жизни, включая заключение и расторжение брака и последующий раздел имущества. Именно здесь рассматриваются и разрешаются судебные-правовые вопросы и конфликты, возникающие между членами группы. И если они не выходят за пределы общины, то принимающее государство или общество не имеет ни малейшего шанса на серьезное вмешательство. Этот список можно продолжать.

Именно тот факт, что индивидуальные права гарантируются не государственными механизмами, обеспечивает колоссальный этнический, политический, культурный плюрализм периферийных социумов. Но этот плюрализм структурированный. Он опосредуется группой и раскалывает единый социум на культурные ячейки, производит запутанную систему индивидуализированных отношений между групповыми субъектами разной степени дружелюбности и враждебности.

Если «западный» индивид может позволить себе роскошь иметь множество источников идентичности, но при этом не нести ответственности ни перед одной из общностей, к которым он себя причисляет, то индивид периферии – это лояльный, индивид и убежденный член своей группы. От этого зависит его способность к выживанию. А в сложившейся конфигурации социальных обменов такая позиция позволяет ему получить доступ к наибольшему количеству ресурсных потоков.

Подобная тенденция не может не настораживать, поскольку чревата достаточно серьезными осложнениями. Толерантная к различного рода меньшинствам структура западного мира оказалась не способна к самозащите собственных базовых принципов. Постоянно растущее число культурно автономных групп, многие из которых не имеют ни малейшего желания растворяться в общем «плавильном котле» цивилизации, утрачивать внутреннее единство, превращаться в сумму автономных индивидов, разрушает саму ткань западной цивилизации. Особенную опасность подобная ситуация создает для существования гражданского общества, которое отнюдь не является суммой изолированных меньшинств и представляет собой механизм защиты прежде всего индивидуальных прав.

Не меньшую опасность представляет готовность признавать непреходящую ценность каждой культурной системы, даже если она противоречит интересам всего общества. Сегодня эта тенденция выражается в массовом появлении различного рода теорий мультикультурализма. Западный мир в возрастающей мере отказывается от своей теории и практики социализации, которая ранее выражалась метафорой «плавильного котла». Сегодня ученые все-рез говорят о системе социализации как о «салатнице». И это, на

наш взгляд, означает не только практическое, но и теоретическое признание поражения: примат индивидуальных прав, который был и остается главным идеологическим стержнем запада, сегодня вытесняется концепцией групповых прав.

И это ведет к очевидным практическим последствиям, которые особенно опасны в современном взаимозависимом мире. В тот момент, когда развитые страны открыли свои границы для представителей других народов, начался процесс, последствия которого не исчерпываются проблемой миграции. Вне адекватной социализации вновь прибывшие группы формируют сотни эксклавов, живущих в другой системе ценностей, по другим правилам, даже в другом времени.

Фактически в рамках одного государства сегодня вынуждены сосуществовать и взаимодействовать сотни разнородных систем. Причем в других условиях некоторые из них никогда бы не вошли друг с другом в тесный контакт, взаимодействие, переходящее на рутинный бытовой уровень. Проблемы, которые ранее не требовали никакого решения, поскольку социумы не имели общих точек соприкосновения в силу даже простой географической удаленности, либо решались на уровне международных отношений, сегодня стали предметом внутригосударственного регулирования. Как раз из этого разряда шумная дискуссия во Франции о том, имеет ли право арабская девочка посещать школу в платке.

С учетом процесса сверхконцентрации населения, экономики, социальных сетей в современных городах становится очевидным, что потенциально конфликтные сообщества взаимодействуют в весьма малых и тесных пространствах, конкурируют между собой за право занимать определенные экономические ниши. Это порождает колоссальное напряжение, основа которого лежит в наименее контролируемом слое бытового поведения. Стоит ли удивляться, что меняется сама структура конфликтов, сегодня они все чаще и по всему миру приобретают черты религиозных и этнонациональных и при этом гражданских, локализованных внутри границ социумов. В городах формируется новая атмосфера. К сожалению, это атмосфера не сотрудничества, а скорее взаимного раздражения и даже ненависти.

Единственный рецепт, который предлагает сегодня развитый мир, – это идея политкорректности, которая если и принимается как руководство к поведению, то в основном интегрирующими обществами, но не меньшинствами, цель которых сохранить свое особое положение. Большинство стран сегодня не смогли предложить сколько-нибудь эффективной политики содействия социализации. Напротив, повсеместный триумф концепции мультикультурализма, даже в обществах, подобных Франции, приверженных ценностям права единого для всех, свидетельствует о том, что запад сдал свои позиции и принял видение будущего мира в терминах периферии – интеграция без ассимиляции.

Очевиден явный кризис идей и в отношении того, как выходить из процесса, инициатором и одновременно жертвой которого стал развитый мир. Исследователи выбрасывают в оборот довольно странные и неуклюжие конструкции о том, что групповые права являются по сути своей правами индивидуальными, поскольку для индивида важно сохранять свое членство в группе¹. В ситуации подобного кризиса понимания возможностей и пределов интеграции человеческого социума в новых условиях можно прогнозировать только одно. Достаточно быструю реакцию и со стороны населения и со стороны правящих элит, направленную вновь на восстановление нерушимости границ доминирующих социумов. На практике это будет означать ужесточение миграционной политики, усиление роли законов о гражданстве, разработку законодательных препятствий для воссоединения семей, создание новых временных статусов для вновь прибывающих, ограничение миграции только трудовой ее составляющей, облегчение процедур депортации и т.д.

Не подлежит сомнению и то, что в настоящее время цивилизационное ядро человечества имеет все возможности для практически полного закрытия от периферии. Свидетельством тому является все большая локализация финансовых потоков в границах стран первого мира, усиливающаяся независимость от сырьевых поставок. Даже миграционные потоки все в большей мере переме-

¹ Бьюкенен А. Сецессия: право на отделение М.: Рудомино, 2001. С. 34, 68, 80.

щаются не в центр с периферии, а внутри стран центра¹. Подобное закрытие в рамках цивилизационно близких политических сообществ, ограничив поступление новых человеческих потоков, может создать и необходимый объем демографической массы, и необходимые ресурсы и рычаги воздействия, новые стимулы для интеграции меньшинств.

К сожалению, все это заставляет констатировать, что фактически стартовавший процесс гуманитарного объединения человеческого социума откладывается на неопределенный срок. Очевидно, причина заключается в принципиальной несводимости двух радикально противоположных и конфликтующих между собой концептуализаций человеческого социума. И поиск рецептов преодоления конфликтов цивилизация как никогда актуален.

¹ *Иноземцев В.* Глобализация – наивная мечта XX века // *Человек*, 2003. № 5. С. 38.

§ 3. ТЕОРИИ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ МИФ*

Постиндустриальное общество – пирог не для всех?

В последние годы в информационной и теоретико-методологической повестке обществоведения все активнее звучат голоса сторонников теории глобального транзита человечества к постиндустриальному обществу, к новой общественной формации «основанной на знаниях» (*knowledge society*). Для нее, согласно теоретикам, характерны высокие технологии с высокой добавленной стоимостью, реализуемые на глобальном рынке; опора на «интеллектуальный капитал»; доминирование постматериальных потребностей людей, связанных с приоритетом самореализации; креативный «труд как творчество» и т.д.¹ С другой стороны, сразу можно возразить, что все актуальные достижения постиндустриализма относятся прежде всего к изменению внешних условий жизни общества, когда технологический прогресс действительно увеличивает сумму доступных возможностей, удобств и удовольствий, распадаемых каждым членом общества, будь то возрастание доли само-

* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ-Урал № 07-03-83308 а/У.

¹ См., напр.: Новая технократическая волна на Западе (сб. переводов). М., 1986; Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999; Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000; Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999; Узбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2004 и др. Из российских ученых наиболее последовательно и оригинально теория постиндустриального общества рассмотрена в работах директора Центра изучения постиндустриального общества Владислава Иноземцева: Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире. М., 1998; Он же. Пределы «догоняющего» развития. М., 2000; Он же. On modern inequality. Социобиологическая природа противоречий XXI века // Постчеловечество. М., 2007 и др.

занятости (фрилансерства) в экономике как неконвейерного труда; качественная медицина; комфортное жилье; невиданная ранее социальная мобильность населения; связь, отменяющая любые расстояния; свободный доступ к воистину бездонным хранилищам информации в Интернете и т.п. Но можно ли данные изменения трактовать как переход к кардинально новому типу общества, если мировоззрение и ценности этого общества, его цели и структура существенно от всего этого не меняются, да и принципиально новые цели тоже не ставятся?¹

Более того, меняется по большому счету второстепенное: номенклатура существующих специальностей; классификации видов деятельности; относительные соотношения сферы производства и услуг; специализация тех или иных национальных экономик; виртуализируется финансовый сектор; все больше ценятся уникальные носители интеллектуальной собственности и т.д. Но при этом ни законы капиталистической мирозкономики, ни тип государства, ни людская мораль практически не меняются! Тогда не имеем ли мы дело всего лишь с попыткой обоснования очередной актуальной ротации доминирующих ресурсов, на которые опираются ведущие общества на определенном историческом этапе, будь то военная сила, земля, техника или в случае постиндустриализма – знание?

Актуальность темы прорыва в постиндустриальность для современной России обусловлена фундаментальным изменением всей повседневности российского общества на стыке XX–XXI вв., его институтов, норм, ценностей, целей. Онтологическая революция российского социума в результате значительно опередила на актуальном этапе развитие как государства, так и категориального и методологического аппаратов отечественных социальных наук. Продолжая зачастую оперировать «вчерашними» представлениями и модернистскими концептами обществензнания, современное национальное государство оказывается бессильным перед вызовами будущего, которое осуществляется здесь и сейчас.

¹ См. критику прогностических претензий постиндустриальной теории: Цаплин В.С. Постиндустриализм: оправданы ли претензии? // СОЦИС, 2006. № 4. С. 124-130.

В настоящее время сторонниками постиндустриального прорыва предполагается, что США, Япония и старая Европа уже сформировали контуры «общества знаний», а Россия якобы тоже может из своей полуразрушенной индустриальности классического модерна перепрыгнуть в светлое будущее постиндустриализма. Причем данная теория «большого прыжка» подозрительно напоминает давние тезисы народников и большевиков о возможности прямого перехода России к социализму из аграрно-традиционного общества, минуя стадию капитализма, поскольку у страны есть свое социокультурное ноу-хау – крестьянская община, прообраз социалистической бесклассовой коллективности. Есть ли аналогичные, пусть и неявные, «преимущества» у современной России, чья экономика только начала приближаться к показателям объемов производства ключевых товаров в РСФСР образца 1990 г.: в области строительства домов (60,3 млн кв.м – Россия против 62,1 млн кв.м – РСФСР); добычи нефти (491 и 550 млн т); валового урожая зерновых (117 и 81,8 млн т) и т.д.¹ Или условия подобного перехода являются скорее плодом беспочвенных мечтаний и самоуспокоительных риторических фантазий отечественных интеллектуалов и политических элит? Поэтому не будет ли в ближайшие годы постиндустриальное общество и прирост «инновационных предприятий» лишь имитироваться в СМИ, лозунгах и отчетах органов госвласти, а также в интеллектуальном пространстве двух-трех ведущих мегаполисов, нежели существовать на самом деле?

В массово появляющихся в последние годы прогнозах концепция среднесрочного развития России и тема технологического прорыва и «инноваций» выглядят привлекательно. После шоковых изменений в условиях стабилизации неуклонно растет количество проектов, предполагающих новые социальные концепции и сценарии для России и обосновывающих алгоритмы занятия страной более справедливого положения в миросистеме, адекватного ее экономическому, культурному и научному потенциалу. В частности, рост запроса власти на прогнозирование

¹ Россия-2006. Статистический справочник. М.: Росстат, 2006; Белая книга. Экономические реформы в России. 1991–2001. М., 2002.

подтверждается популярностью такого жанра как среднесрочные научные сценарии развития России и мира¹.

Тем более, что не так давно доминировавшая в общественных науках транзитологическая парадигма в настоящее время полностью выработала свой эвристический и прогностический потенциал. Теория, опирающаяся на представление о некоей цивилизационной «норме», с необходимостью описывала все многообразие не вписывающихся в нее обществ лишь как временные «отклонения». Однако вскоре стало очевидным, что отклонения со временем не исчезают, а продолжают накапливаться. Тем не менее, привычный мыслительный и методологический алгоритм оказался живучим в социально-политических науках, где провалившиеся теории полувековой давности о неизбежности транзита колоний к индустриальному Модерну в виде их же бывших метрополий спешно переделываются под обоснование транзита нынешней России к «постиндустриальному постмодерну».

Однако попытки применения к российским реалиям теории смены индустриального общества постиндустриальным сразу же наталкиваются на существенные препятствия. Первоначальный вариант теории постиндустриального или информационного общества (А. Тоффлер, Д. Белл, А. Турен и др.) уже не адекватен актуальной реальности, поскольку авторы классических теорий 1960-х гг. понимали под информацией почти исключительно научное знание; современная же информационная революция отнюдь не сводится к экспансии такого знания. Теории постиндустриального общества обещали возрастание роли интеллектуального труда и изменение вследствие этого социальной структуры, роста производительности труда и т.д. На первый взгляд, эти прогнозы сбылись для стран Запада. Но более детальный анализ ситуации показывает, что широкое внедрение информационных технологий сформировало новую отрасль весьма прибыльной глобальной экономики, связанной с

¹ Только в последние годы в России изданы такие работы: Введение в будущее. Мир в 2020 году. М., 2006; Мир вокруг России: 2017. Контуры недалекого будущего. М., 2007; Россия и мир в 2020 году. М., 2005; Мировая экономика: прогноз до 2020 года. М., 2007; Коалиции для будущего. Стратегии развития России. М., 2007 и др.

компьютерами, программным обеспечением, Интернетом, электронными коммуникациями, развлекательными масс-медиа и т.д., но почти не сказалось на реальной производительности труда для подавляющего большинства других секторов экономики. Многочисленные выгоды постиндустриализма оказались фрагментарны и стали следствием формирования новой глобальной экономики с ее транснациональным разделением труда.

Для адекватного рассмотрения проблемы представляется целесообразным изменить масштаб и проанализировать проблему осуществимости перехода к постиндустриальности в глобальном масштабе. Здесь Россия становится лишь одним из примеров, частным случаем более общих экономических, политических, культурных процессов, идущих на планете. Следует отметить, что сегодня в глобальной миросистеме одновременно сосуществуют три историко-экономических уклада, каждый из которых может присутствовать в любом обществе, но доминирует лишь один из этих укладов¹. И основное отличие этих укладов состоит вовсе не в образе жизни и характерных для них товарах, а прежде всего в *норме прибыли*, которую позволяет получить тот или иной сегмент мироэкономики. К странам периферии или пред-современности (до-Модерна) относятся традиционно-патриархальные общества с преимущественно аграрным укладом экономики, основанном на эксплуатации первичных природных ресурсов: земли и полезных ископаемых. Эти традиционные общества господствовали и были единственно возможными до капиталистических революций в Европе. По сути это не капиталистические (не современные) общества, не способные накапливать прибавочный продукт. Истощение ресурсов не увеличивает капитализацию их экономики, но тратится на необходимые первичные нужды. Прежде всего это большинство стран Африки, густонаселенные и лишенные нефти страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

¹ См.: Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI в. М., 2003; Он же. После либерализма. М., 2003; Он же. Миросистемный анализ. Введение. М., 2006; Он же. Утопийское, или исторические возможности XXI века // Прогноз, 2006. № 1(5); Кагарлицкий Б. Периферийная империя. Россия и миросистема. М., 2004 и др.

Страны индустриальные (современные) характеризуются доминированием низкотехнологичной промышленности и дешевым трудом как главным конкурентным преимуществом. Здесь господствует принцип отложенных потребностей, благодаря которому происходит накопление капитала и экономический рост. Полупериферия исходя из структуры экономики и номенклатуры импорта-экспорта представлена странами Латинской Америки, многими странами Азии, Восточной Европой, Россией.

Наконец постсовременные или постиндустриальные общества базируются на производстве знания, глобальных культурных стандартов и норм, некоего целостного желаемого образа жизни (как в области высокой культуры, так и масскультула в виде моды, кино, развлекательного чтения и т.д.), высоких технологий и разнообразной интеллектуальной собственности. Это Западная Европа, Япония и США. Фактически только эти страны способны эффективно создавать и поддерживать монополии в глобальном масштабе, оборачивающиеся сверхприбылью для постиндустриальных экономик.

В настоящее время политики и ученые соревнуются в метафорах и эпитетах, которые присваивают новой экономической, политической, культурной реальности, формирующейся в России. Случившееся изменение можно характеризовать в первую очередь как отход от национальной модели общества классического Модерна¹ к формированию нового общества – децентрализованного, сетевого, информационного, постмодернистского, постиндустриального, урбанистического, «общества потребления», «общества третьей волны» и т.п. На наш взгляд, все перечисленные определения скорее суть описательные метафоры и методологические черновики. Поэтому они могут претендовать больше на описание тенденций и контуров ближайшего будущего, чем на эссенциализм в отношении «нового» российского общества, а тем более его ближайшего будущего. И проблема отсутствия идейного консенсуса в общественных науках относительно релевантности новых теорий

¹ См. подр.: *Мартьянов В.* Метаморфозы российского Модерна: выживет ли Россия в глобализирующемся мире. Екатеринбург: УрО РАН, 2007.

является прямым следствием радикальной и не сокращаемой неодновременности российского общества, которое продолжает жить во всех трех «волнах» или исторических укладах – аграрном, экономическом и «постэкономическом». Следовательно, условием любой приемлемой социально-политической стратегии для России может быть лишь стратегия сокращения неодновременности страны и реальное согласие «большого общества» относительно стоящих перед ним целей и исповедуемых ценностей, а не их конструирование в информационной повестке СМИ и популистских программах властвующей элиты¹.

Действительно, трудно не заметить принципиальные трансформации, наиболее явно происходящие с передовыми обществами. Размываются привычные социальные классы, на смену которым приходят аморфные группы населения. Прогресс автоматизирует все производственные процессы, сокращая рабочие места в секторе реального производства. Так, за последние 150 лет производительность труда в Европе увеличилась в 20 раз². В результате рабочие и аграрии, составлявшие большинство в обществе индустриально-классового модерна XIX – начала XX в., ныне оказались в меньшинстве. Соответственно вместе с границами классов размываются и четкие основания классовых конфликтов. Если исторически большинство населения Земли занималось сельскохозяйственным трудом, то сейчас в развитых странах аграрии, живущие «с земли» и за счет животноводства, составляют не более 5-10 процентов населения. Технологический прогресс изменяет структуры занятости, и прежде всего ведет к сокращению классического рабочего класса, давно не являющегося численно доминирующей группой

¹ Черновые контуры «Стратегии развития России до 2020 годы», целью которой является построение в России «инновационного общества», изложены в программном выступлении Президента РФ В. Путина на заседании Госсовета РФ от 08.02. 2008 г. // <http://www.edinros.ru/news.html?id=127560>; а также развиты в практически аналогичной речи на тот момент кандидата в Президенты РФ Д. Медведева на V Красноярском экономическом форуме от 15.02.2008 г. // <http://www.edinros.ru/news.html?id=127810>

² *Шевчук А.В.* О будущем труда и будущем без труда // *Общественные науки и современность*, 2007. № 3. С. 47.

населения. Растет доля людей с высшим образованием. Население все более концентрируется в мегаполисах: в 2008 г. был пройден важный показатель – более 50 процентов населения планеты (3,3 млрд чел. из 6,6 млрд чел., населяющих планету в настоящее время) стали жить в городах. Согласно прогнозам ООН, в 2000–2030 гг. прирост населения Земли составит около 70 процентов и происходить он будет исключительно за счет увеличения урбанизированного населения во «втором» и третьем» мире, в то время как численность сельских жителей останется на нынешнем уровне или незначительно сократится¹. Современное общество все многообразней фрагментируется и индивидуализируется², а экономические процессы глобализируются. Поэтому конкурентные преимущества любых отраслей и целых стран отныне должны доказываться всему миру, а не только на «тепличном» внутреннем рынке, регулируемом таможенными барьерами и различными налоговыми льготами.

Постиндустриальная экономика *количественно* все менее базируется на сельском хозяйстве и промышленности, где наблюдается устойчивое сокращение занятости. Все большее число людей *вынуждено* искать себе применение в расширяющемся секторе услуг и инновационных технологий. Но здесь массовая занятость не требуется, так как изобретения и технологии являются результатом деятельности ученых-одиночек и малых трудовых коллективов, чьи результаты труда затем лишь копируются в промышленных масштабах в неограниченном числе копий.

Наконец, в настоящее время даже антиглобалисты признают неизбежность и объективность глобализационных процессов человечества. Поэтому объектом критики выступает уже не сама глобализация как закономерный рост взаимосвязи экономических, политических, финансовых процессов в мироэкономике, но лишь ее «проклятая сторона». То есть совокупность различного рода издержек (экологических, трудовых, миграционных, безработицы),

¹ Народонаселение мира в 2007 году. Использование потенциала урбанизации (доклад ООН) // <http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0295/biblio01.php>

² См.: Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2005.

сопутствующих данному процессу¹. Но ценность подобной критики, справедливой в частном и особенном, серьезно снижается тем, что у альтерглобалистов даже в теории не существует альтернативного по масштабу проекта взамен актуальной мироэкономики, основанной на принципах капитализма.

Принято считать, что в настоящее время из затянувшейся на советских просторах эпохи фабричных труб Россия пытается шагнуть в информационную эпоху, построить постиндустриальное общество. Но по силам ли ей данная задача на современном этапе? И является ли постиндустриальное общество достижимой целью развития для всех стран мира? До 1960-х гг. структурно аналогичными теориями модернизации поддерживалась версия, что стоит бывшим колониям и всему «третьему миру» поднапрячься, создать и применить апробированные в Европе и США социально-политические институты и технологии, как их развитие по уровню жизни с неизбежностью «всеобщих» исторических законов догонит страны, называемые «развитыми». Более того, в 1990-е гг. та же иллюзия воспроизводилась уже российскими либерал-реформаторами: у всех государств и континентов один путь, рецепты процветания известны и апробированы другими странами, поэтому тождественное постиндустриализации развитие лишь дело времени.

Но практика реформ показала обратные результаты. Институты и правила, работавшие в одной культурной реальности, оказались деформированными в другой. Невозобновляемые ресурсы планеты неожиданно тоже обнаружили свою конечность и возрастающую дефицитность: на всех не хватает уже давно. Разрыв доходов и уровня потребления граждан центра и периферии глобального мира за последние 50 лет не сократился, а удвоение и утроение населения в слаборазвитых странах за последние полвека поглотило весь их экономический рост и прибавочный продукт. Только для того, чтобы глобально решить проблему голода и прокормить

¹ См.: *Агинтон К.* Альтерглобализм. Новые мировые движения протеста. М., 2004; *Альтерглобализм: Теория и практика «антиглобалистского» движения.* М., 2003; *Эрикссон. Д.Ф.* Антиглобалистские движения: истоки, стратегии, состав, ресурсы // *Дискурс-Пи*, 2002. № 2; *Бузгалин А.В.* Альтерглобализм как феномен современного мира // *ПОЛИС*, 2003. № 3; и др.

население Земли, которое достигнет в 2050 г., согласно средне-взвешенным прогнозам, 9 млрд чел., на уровне рационов развитых стран придется фактически вдвое увеличить производство продуктов питания в 2050 г. Это весьма трудновыполнимая задача, так как ресурсы урожайности зерновых, пахотной земли и пресной воды близки к исчерпанию во многих густонаселенных странах Африки, ближнего Востока, Индии и Азии уже сейчас¹.

Поэтому, не является ли новейшая идея постиндустриального российского общества новой интерпретацией старой сказки о модернизации? Тем более для нынешней России, где победительная политическая риторика прорыва в «информационное общество» призвана отвлекать от того очевидного факта, что страна медленно деградирует в доиндустриальное состояние, демонстрируя парадоксальный «рост без развития», рост, обеспечиваемый внешне-экономической конъюнктурой цен на сырье, а не реальными успехами в производстве конкурентных и востребованных во внешнем мире товаров и технологий.

Постиндустриальное общество получает сверхприбыль от экономики услуг и высоких технологий, производя качественный конкурентоспособный продукт для глобального рынка. Если смотреть на Россию с позиций объективного анализа ее экспорта, который четко показывает, в чем страна конкурентоспособна на глобальном рынке, то можно увидеть, что структура российского экспорта характерна не для постиндустриальной экономики, и даже не для индустриального общества периода СССР, но для современных банановых республик, торгующих на глобальном рынке не идеями, технологиями или даже трудом, а своим невозобновляемым природным достоянием (нефтью, газом, металлами, лесом, бананами и т.д.).

В 2007 г. доля сырьевых товаров в российском экспорте установила очередной негативный рекорд, достигнув показателя 85 процентов². Поэтому прорыв России в постиндустриальное обще-

¹ См.: Ковалев Е.В. Глобальная продовольственная проблема // Мировая экономика и международные отношения, 2004. № 10.

² Цит. по: Иноземцев В.Л. Конкурентоспособность России: мифы, иллюзии, методы повышения // Россия и современный мир, 2008. № 1.

ство, которым обнадеживают российского обывателя некоторые эксперты и властные элиты, является не более чем фикцией, сконструированным мифом. Реальные задачи, стоящие перед нынешней Россией гораздо скромнее: это восстановление индустриального сектора и переработка сырья внутри страны с целью его экспорта с высокой добавленной стоимостью. Например, экспорт мебели и бумаги, а не леса-кругляка; бензина вместо нефти; продукции авиации и машиностроения, а не металлургии и т.д. Фактически речь идет о первоначальной задаче встраивании страны преимущественно в индустриальный сегмент глобальной экономики, которое было бы большой удачей в случае его реализации.

Вынужденная постиндустриальность

Капитализм является не только состоянием, но и динамическим, временным процессом. Он способен как создавать новые инфраструктурные пространства капитала, так и приводить к разрушению уже имеющихся, то есть декапитализации национальных экономик, вследствие падения прибылей, роста затрат на зарплаты, истощения ресурсов, роста административных издержек и политических рисков. Обычно началом декапитализации является кризис перепроизводства, падение стоимости активов и географическое бегство капиталов, которые ведут к застою, деиндустриализации и экономической депрессии¹. В том числе и потому, что избыточный финансовый капитал постиндустриального мира, обращенный в ликвидную, легко перемещаемую форму финансовых инвестиций способен получать сверхприбыль в двух других исторических нишах, извлекая ее из глобального демпинга стоимости сырья и труда за пределами центра. Но дело в том, что в глобализированной экономике капиталу по сути дела больше некуда бежать в погоне за прибылью. Все зоны влияния и рынки сбыта давно освоены и поделены, а финансовый рынок давно является глобальным.

Парадоксально, однако развитие креативных технологий, сферы услуг и образования, доминирующих в постиндустриальном

¹ См. подр.: *Арриги Дж.* Утрата гегемонии // Прогнозис, 2005. № 2(3).

обществе, часто является *вынужденной* стратегией развитых обществ, следствием нарастающей деиндустриализации «информационного общества» без «рабочего класса». Такова, например, была ситуация с все более нерентабельной угольной, сталелитейной и автомобильной промышленностью, производством одежды и бытового ширпотреба в Европе и США. В 1980-е гг., не выдерживая растущей конкуренции со странами Азии, закрывались целые отрасли и производства, а в сфере сельского хозяйства вводились невиданные ранее государственные дотации, чтобы поддержать элементарную продовольственную безопасность развитых стран.

Одновременно с помощью рекордных инвестиций в Европе и США создавались новые рабочие места в постиндустриальном сегменте экономики, в котором эти страны могли бы производить конкурентные товары, обеспечивая высокие нормы прибыли и поддерживая уже достигнутый уровень жизни. Но даже при этом, согласно расчетам реальной покупательной способности зарплат, например в США, рекордные значения были пройдены в 1976 г. и с тех пор уже не достигались.

И развитым экономикам Запада неконкурентоспособным в индустриальном и сырьевом сегменте, переживающим стремительную деиндустриализацию, не остается ничего иного как превращаться в «вынужденно постиндустриальное» общество, глобальное гетто для избранных, у которых на самом деле нет другого выхода. Хотя с таким же успехом его можно было бы назвать альтериндустриальным. В итоге пресловутые «общество знаний» и «экономика услуг» очень часто также оказываются создаваемыми вынужденно, иначе общество уже не способно далее другими способами поддерживать достигнутые стандарты доходов, комфорта и потребления.

Таким образом, развитие постиндустриальных сегментов экономики зачастую является не более чем следствием роста неконкурентоспособности страны в секторе реального производства. В сырьевом, аграрном и индустриальном секторах глобальной экономики высока конкуренция участников, а значит низка прибыль. Постиндустриальный мир в этих секторах все менее конкурентоспособен в глобальном масштабе, поскольку издержки производ-

ства постоянно растут: высоки затраты на зарплату, пенсионные отчисления и социальные гарантии, высокие налоги, экологические стандарты и т.п. В результате количество рабочих мест в данных отраслях экономики развитого мира постоянно сокращается, усиливаемое параллельным ростом производительности труда.

Проигрывая в нише индустриальной «постиндустриальному миру», остается брать реванш лишь в областях, где возможно поддержание глобальной монополии, а значит сверхприбыли, обеспечивающей уже достигнутый уровень жизни. В противном случае деиндустриализация экономик развитых стран превратилась бы в социальный застой, связанный с высокой безработицей, экономическим кризисом, утечкой капиталов и т.п. Прорывными сферами обычно становятся образование, фундаментальная наука, высокие технологии, банковская деятельность, производство уникальных культурных артефактов и т.п. Но при таком взгляде на эффект постиндустриализма существуют серьезные сомнения в том, что такие заповедники «постиндустриального общества» как Европа, Япония и США могут в обозримом будущем стать судьбой всего человечества, поскольку они представляют собой не более чем специализацию на сверхприбыльных отраслях экономики в глобальном масштабе.

Вариант постиндустриального разрешения инфраструктурного кризиса путем «игры на повышение ставок» доступен лишь наиболее капитализированным экономикам, которые действительно имеют возможности вложить в глобально конкурентные сектора экономики услуг рекордные капиталы. Но окупиться эти инвестиции могут лишь за счет той же глобальной монополии или в крайнем случае олигополии в данных секторах. Таким образом, вопреки любым декларациям о свободе торговли и честной конкуренции ключевой задачей постиндустриальных стран является неконкурентное лидерство в секторах с высокой нормой прибыли.

Но если в развитых странах деиндустриализацию еще можно искусственно перенаправить в пост-индустриализацию, то есть в развитие конкурентоспособных сегментов «индустрии знаний», то проблема России и иных полупериферийных для глобальной экономики стран заключается в том, что подобное решение для них не

срабатывает. В условиях России декапитализация экономики не может быть компенсирована инфраструктурной перестройкой экономики в силу отсутствия достаточного капитала и эффективного государственного управления.

Собственно в результате невозможности и неспособности в полупериферийном (индустриальном) социалистическом блоке или «втором мире» в конце XX в. к развитию постиндустриального сектора произошла деиндустриализация экономики, одновременно повлекшая для ряда стран Прибалтики и Восточной Европы потерю политического суверенитета. Их политическая независимость была в срочном порядке обменена на право стать индустриально-сборочным цехом при ЕС. И это стало не самым плохим вариантом, поскольку Россия и среднеазиатские республики скатились к роли сырьевого придатка глобальной экономики, в котором сфера высоких технологий чем дальше, тем больше имеет чисто символическое значение, усиленно раздуваемое официальным пиаром. Как отмечает В. Иноземцев, в последние годы только доход от экспорта Китая мягких игрушек втрое (!) превышает отдачу от всего российского экспорта вооружений¹.

Гонка постоянна, победители временны

Несмотря на различные популярные работы, ориентированные на эффект локального развития – концепции креативного города и символического брендинга малых территорий², становится все очевидней, что в глобальной экономике конкуренция отдельных компаний и регионов на внутреннем рынке становится второстепенной. Эта конкуренция вписана в глобальные движения технологий, капитала и трудовых ресурсов. Пока США сохраняет

¹ *Иноземцев В.* Игрушечное оружие // *Business Week* (Россия), 2006. № 21(35). 5 июня. С. 62.

² *Флорида Р.* Креативный класс: Люди, которые меняют будущее. М., 2005; *Лэндри Ч.* Креативный город. М., 2006; *Гнедовский В.* Проблемы развития постиндустриального общества в городах США // *Экология культуры*, 2005 № 2 (электронная версия доступна по адресу: <http://www.aonb.ru/depart/sik/main.phtml?op=919>) и др.

монополию на программные продукты, например, город Остин (Техас) еще может переманить за счет дешевизны жилья специалистов в области IT из Сан-Франциско и «Силиконовой долины» (Калифорния). Но не спасется ни тот, ни другой, если США потеряет глобальную монополию в данном сегменте рынка. И тот же продукт будет создаваться вдвое дешевле в Индии или России, как это реально и происходит уже сейчас. Глобальная монополия тех же США в постиндустриальном сегменте сохраняется, пока ее экономика способна вкладывать в высокие технологии больше, чем другие страны, то есть фактически привлекать «интеллектуальные сливки» со всего мира.

В настоящее время капитализация многих экономик мира растет быстрее, чем у традиционных постиндустриальных лидеров – США, ЕС, Японии. Причем эти новые экономики работают на экспорт, глобально конкурируя в реальном секторе производства. Например, в области производства ширпотреба и бытовой техники США давно потеряли способность с кем-либо конкурировать, просто открыв внутренний рынок для экспорта дешевых товаров из Китая. В результате США имеет дефицит внешней торговли в 8 трлн долларов. Соответственно многие растущие экономики скоро станут способны откусывать куски и от мирового пирога высоких технологий. А усиление глобальной конкуренции в авиации, космосе, компьютерных технологиях приведет к снижению сверхприбылей в этом сегменте мировой экономики. Реальные инвестиции потекут мимо США, а крах доверия к доллару как резервной валюте приведет к его резкой девальвации. И этот кризис, возможно, оживит реальный сектор американской экономики, сделав ее из виртуально-постиндустриальной более «реальной».

В капиталистической миросистеме «постиндустриальная постсовременность» одновременно представляется не только авангардом ближайшего будущего всего человечества, но и в определенной степени паразитической надстройкой над существующими одновременно с ней индустриальной современностью Модерна и аграрно-сырьевой до-современностью. Более того, намечающееся изменение инвестиционных потоков, все активнее текущих от периферии к центру миросистемы, ведет к ослаблению риторики гло-

бализации периода 1990-х – начала 2000-х гг., когда она была выгодна постиндустриальному миру, активно поглощавшему с помощью инвестиционной экспансии целые регионы биполярного мира, принадлежавшие бывшему противнику. Сегодня постиндустриальный мир, вопреки многим ранее декларируемым в рамках «либерального консенсуса» принципам, все активнее отгораживается как от переполняющих его потоков инвестиций и дешевой рабочей силы, там и от множества более дешевых товаров, производимых вовне.

Формирование альтернативных экономических центров силы будет способствовать переносу не только реальных производств, но и производства услуг и технологий в Китай, Корею, Индию и т.п. В результате неизбежно перераспределение глобальных монополий и сверхприбылей. Экономика «глобального бутика» эффективна, если нет глобальных конкурентов. Конкуренция превращает постиндустриальные «бутики» в обычные лавки. Азиатские страны модернизировались несколько десятилетий, тем же темпом они станут наращивать сферу постиндустриальную. Облегчает задачу тот факт, что инвестиции и «мозги» в глобальном масштабе все более мобильны и интернациональны. Перетекание интеллекта и инвестиции в более прибыльные рынки осуществляется стремительно.

Актуальная проблема России заключается в деиндустриализация отечественной экономики, которая все менее конкурентна на глобальном рынке. Условиями прежних исторических рывков России были централизация власти (налоги) и эксплуатация дешевого крестьянского труда аграрного общества с высокой рождаемостью (индустриализация). Сегодня ресурс российской деревни исчерпан в пользу города окончательно, более 70 процентов россиян сегодня живут в урбанистической среде. Фактически элита пытается хотя и непоследовательно опереться на хрестоматийную для российской истории централизацию, но в глобальной экономике она не работает. Более того, сформировавшийся в советское время массовый урбанистический тип личности-индивидуалиста-потребителя болезненно воспринимает попытки свернуть объем достигнутых личных свобод и уровня потребления. Но сегодня из-за демографической ситуации просто нечем жертвовать. Население не воспроизводится, нет того демографического давления, за счет которого совершались

революции и исторические рывки. И граждане вовсе не собираются жертвовать достигнутым уровнем жизни во имя неких абстрактных целей, связанных с модернизацией и повышением конкурентоспособности, если последние напрямую затрагивают их доходы и зарплаты.

С другой стороны, монополия на любые ресурсы и технологии не может быть долгосрочной. Невозобновляемые ресурсы и конкурентные преимущества кончаются, а уникальные технологии рано или поздно становятся всеобщим достоянием. Шанс пробиться в мировую элиту имеют все. И ставки в глобальной экономике могут быть сделаны на разные виды монополии. Так, постиндустриальные страны делают успешную ставку на технологическую монополию (компьютеры, программное обеспечение, космос, авиация, вооружения и т.п.). В свою очередь, полупериферия стремится монополизировать дешевый труд и типовые технологии, убрав конкурентов с рынка ширпотреба, бытовой техники, продовольствия и т.д. (Китай, Индия, Южная Корея, азиатские тигры).

Наконец, Россия в последние годы предпринимает некоторые шаги для формирования более монополизированного в мировом масштабе рынка энергоресурсов, начиная нефтью и газом и заканчивая атомной энергетикой. Но эта ставка – одна из самых ненадежных из-за распыленности как мировых запасов сырья, так и множества игроков на глобальном энергетически-сырьевом рынке, которые могут играть как на повышение, так и на понижение ставок. Таким образом, без объединения усилий с другими энергетическими державами достижение этой цели невозможно. И если глобальные монополии на рынок высоких технологий можно считать консолидированными, имеющими четкие стратегии удержания своих преимуществ, то возникновение энергетического клуба является лишь маловероятная возможность. Скорее всего, она не осуществится по причине высокой конкуренции и мировой децентрации «активов» в данном секторе.

Пока же индустриальное общество с его ценностными основаниями в России сегодня если и не разрушено полностью, то претерпевает сущностную трансформацию. В нынешней структуре российской экономики отсутствуют потенциальные заказчики нового научного

знания и высоких технологий, за исключением государства. У правящих кругов нет проработанного плана по переводу России на постиндустриальные рельсы, хотя нередко поднимается вопрос о модернизации. Хотя новейший политический режим сам по себе во многом похож на управляемые демократии стран Запада, гораздо дальше чем Россия продвинувшихся по постиндустриальному пути. На какие политико-моральные ценности опирается этот режим, имеет ли его нормативная база действительно постиндустриальный характер? Какие проекты предлагает современная российская политическая мысль, нацеленная на переход России к постиндустриализму? Вразумительных ответов на эти вопросы никто не предлагает.

Смутные перспективы постиндустриализма

Итак, «виртуализация экономики» постиндустриального мира способна привлекать на свое развитие рекордные инвестиции, обеспечивающие глобальную монополию или олигополию на уникальные технологии. В глобализированной экономике мировое лидерство обеспечивает относительно «закрытые», высокомонополизированные секторы экономики. Это космос, телекоммуникации, финансы, авиация, медицинские технологии, программное обеспечение, вооружения, уникальное оборудование. При этом менее прибыльные сегменты экономики, такие как сельское хозяйство, производство ширпотреба и бытовой техники, в данных обществах просто вынесены вовне, во «второй» и «третий» мир.

Возможно, зависимость постиндустриальных обществ от сектора материального производства падает, но настолько ли, чтобы быть свободными от него? Потребности людей в этих обществах остаются вполне материальными, даже если капитал, располагаемый этими обществами, все менее материален. Людям необходимо питаться, одеваться, покупать бытовую технику и машины, строить дома. Но все это теперь производится не ими, а поступает из-за рубежа. И в критической ситуации постиндустриальный мир будет зависим от индустриального мира и банановых республик гораздо больше, чем они от него. Без топлива, еды и одежды выжить гораздо труднее, чем без космических технологий или компьютеров.

Все это создает трудности для постиндустриальных обществ, ставит их в зависимость от объективных факторов. Действительно, при определенном уровне имеющегося достатка собственные материальные потребности перестают быть значимыми, но это в свою очередь не означает, что потребности людей в отличие от «виртуальной экономики» становятся пост-материальными. Соответственно ресурс, на который опираются постиндустриальные общества – знание и технологии, по сути не имеет непреодолимого превосходства над экономиками, базирующимися на преимуществах аграрного производства, сырья или дешевого труда. Постиндустриальный сектор также имеет свои уязвимости, связанные, например, с потерей продовольственной или сырьевой безопасности, повышением зависимости в сегментах потребностей, обеспечивавшихся «свернутыми» отраслями экономики. Эти уязвимости проявят себя в случае глобального кризиса или катастрофы, поскольку все экономики и государства мира давно плывут в одной лодке, а любая зависимость является обоюдной.

Как справедливо замечает Г. Дерлугьян, «невзирая ни на какие футуристические сценарии, мировая экономика по-прежнему в большей степени зависит от рынков сбыта, капиталов и поставок потребительских товаров, нежели от таких «неосвязаемых» материй как информационные технологии. Последние три десятилетия характеризовались «перетеканием» капиталов из сферы материального производства в финансовую, однако, если верить русскому экономисту Кондратьеву, описавшему экономические циклы, ныне носящие его имя, подобные тенденции в принципе характерны для стадии «сжатия» экономики, или В-фазы. Рост цен на энергоносители и прочее минеральное сырье, несомненно связанный с невероятным ростом Китая, подсказывает, что, вполне возможно, мир входит в очередную стадию расширения производства – А-фазу, что можно только приветствовать, учитывая, сколько людей по всему миру прозябает в нищете»¹.

Вообще проблема критериев роста, развития, доминирующих стандартов и целевых ориентиров, а также альтернативных кон-

¹ Дерлугьян Г. Четвертая Российская империя: истоки и перспективы // Отечественные записки, 2007. № 6.

цепций их расчета, отдельная тема. В рамках данной статьи отметим лишь, что перекося в концентрации усилий и средств на повышении эффективности любой отрасли хозяйства может оборачиваться деградацией и разрушением других подсистем: «Нельзя решать отдельную проблему, а необходимо искать оптимальный уровень нерешенности всех проблем... При ориентации на максимум прибыли выгодность всегда совпадает с экономичностью (минимум затрат) и, как правило, противоречит эффективности (сопоставлению всей совокупности результатов со всей совокупностью объективно стоящих целей при использовании одного и того же количества ресурсов)»¹. Например, можно максимально удешевить стоимость строительства квадратного метра жилья, не учитывая экологические затраты, расходы по водо- и энергоотведению, психологические издержки в жизни людей «спальных районов» из 25-этажных домов, отсутствие сопутствующей инфраструктуры (транспорт, магазины, школы, больницы) и т.д.

В условиях транснационализации конкурентны только глобальные рынки ресурсов и труда. Глобальный рынок высоких технологий фактически монополизирован странами, составляющими ядро глобализации. В последнее время постиндустриальные регионы мира все чаще отказываются от либеральных принципов и свободы торговли, активнее отгораживаясь от мира заградительными барьерами таможен, политикой протекционизма и усилением роли государства в регулировании национальных экономик. Поэтому представляется, что постиндустриальный сегмент глобальной экономики в настоящее время является не историческим этапом, к которому неизбежно эволюционирует все человечество, но скорее во многих своих чертах паразитической надстройкой, извлекающей сверхприбыль из ряда монополизированных секторов данной экономики. И эта надстройка зависит от своего базиса гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Наконец, ни одна монополия в истории человечества еще не была вечной, поскольку управление монополией на единицу ее ка-

¹ Энтитейн А. Деградостроительство. Жилищная история с географией и демографией // Политический журнал, 2007. № 21-22.

питала по эффективности всегда уступает более мелким конкурентам. В долгосрочной перспективе любая монополия проигрывает, лишаясь внеэкономических политических подпорок. Растущие центры силы в мире, не связанные с сегментом постиндустриализма, в перспективе будут вполне способны переиграть грядущую трансформацию мироэкономики в свою пользу. И Россия должна быть готова к сценариям улучшения своего стратегического положение в обновленной иерархии миросистемы и разделении глобального производства.

Глава 2

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ

§ 1. УПАДОК ДЕМОКРАТИИ И «ЗАКАТ» ПОЛИТОЛОГИИ

Статус политической науки в современной России изначально был неопределенным. Это вызвало размежевание в стане политологов, споры на тему что есть политическая наука, а что ею не является¹. Одни рисуют довольно смутный образ «настоящей» политической науки, которая дает некое объективное знание, пользуется методами, близкими не к гуманитарным, а к точным наукам, стремится быть ценностно нейтральной и заниматься чем-то вроде социальной и политической инженерии и т.д. Это, конечно, политическая наука Запада, до которой российской политологии по словам ученого, считающего себя настоящим *political scientistom*, очень далеко:

«Для того чтобы существовали серьезные экспертные журналы, в составе правящего класса (в данном случае под правящим классом я подразумеваю совокупность политических и экономических элит) должны быть некие независимые игроки, которые озабочены формированием собственной политической стратегии. Эти игроки должны быть связаны с какими-то организованными сегментами гражданского общества. То есть мы должны наблюдать ту конфигурацию социальных и политических сил, которая присутствует, например, в западноевропейских странах, но совершенно отсутствует в современной России»².

Поэтому, вторит ему другой такой же *political scientist*, «неудивительно, что место научных дискуссий в политологии «пикейных жилетов» часто занимают бесплодные упражнения в красноречии, а к содержательному анализу политических процессов (когда речь идет, скажем, о трансформации партийной

¹ Например, так называемый «спор о политологии» на сайте АПН в 2006–2007 гг.

² Политическая наука или политическая аналитика. Интервью с профессором Европейского университета Григорием Голосовым // <http://www.polit.ru/science/2006/05/30/golosov.html>

системы России или о смене политических режимов в странах СНГ) эти политологи оказываются попросту не готовы»¹.

Да и существует ли политическая наука в России вообще? «Для того чтобы существовала политология, – утверждает В. Пастухов, – должен существовать ее предмет – политика. В России политики, в западном понимании этого слова, нет. Мы живем в «дополитическом» государстве, где не произошло расслоение на государство и гражданское общество, где государство вообще не до конца высвободилось из общества. Поэтому властеотношения — это еще не до конца политические отношения. Это клановые, семейные отношения, какие угодно, но не политические в узком смысле этого слова. Поэтому в России и не прощупывается политическая наука... Я считаю, что русской политологии не существует. Зато есть вполне интересная и самобытная русская политическая философия, имеющая, между прочим, глубокие корни»².

В общем, современная российская политология – это причудливый конгломерат деятелей и практик, наук и псевдонаук, свойственный только России (на Западе, как утверждают некоторые, вообще нет такого слова «политология»). Доминирующее положение в этой политологии занимают не академические ученые, а журналисты, политтехнологи, политконсультанты, «головы из ящика», в лучшем случае – политические философы и т.д.; все это авторитета политологии не добавляет.

Впрочем, если бы главенствующее положение в российской политической науке вдруг захватили с одной стороны академические ученые, а с другой практикующие политконсультанты, это также не удовлетворило бы многих:

«Современная политология отвечает на вопрос, как захватить, удержать и использовать власть, вместо того чтобы ответить на вопрос, ради чего собственно эту власть нужно захватывать. На сегодняшний день отечественная политическая наука,

¹ Гельман В. Ди-джеи в науке. Особенности национальной политологии // <http://www.idelo.ru/426/23.html>

² Пастухов В.Б. Мы живем в «дополитическом» государстве // www.apn.ru/publications/article17284.htm

лишенная какого-либо идейного содержания, вынуждена побираться у других наук, пытаясь компенсировать внутреннюю пустоту богатством заимствованных методик. Для выхода из создавшегося положения российской политической науке нужно осознать себя в качестве самодостаточной формы научной мысли. Первым ее шагом на этом пути должен стать отказ от самоидентификации через соотнесение с современной западной политической традицией. Отечественной политологии следует нащупать этос России и, исходя из него, выстроить надлежашую идеологическую конструкцию»¹.

Иными словами – вначале смысл и идеология, потом – наука! А иначе можно оказаться в грустном положении цитированного выше Г. Голосова, который откровенно признается, что «смысл в России заниматься этим (политической наукой – Л.Ф.), в общем, совсем небольшой. С профессиональной точки зрения то, что я нахожусь в России, – достаточно случайное обстоятельство. Моя основная аудитория находится за рубежом. И эта аудитория сама по себе невелика. Профессиональные журналы читают немногие люди, которые сами занимаются преимущественно исследовательской деятельностью»².

Среди наиболее часто называемых причин печального положения российской политологии фигурируют две: 1) относительная неустойчивость и недостаточная демократичность политического режима, 2) дурная наследственность в лице научных кадров, унаследованных от СССР.

Итак, «настоящей» политологии в России нет потому, что у нас нет еще «настоящей» демократии и не менее настоящих политологов, то есть не бывших историков, научных коммунистов, социологов, психологов и т.д. Заметим, правда, тогда получается, что чем меньше политический режим соответствует современным западным стандартам демократии, тем меньше

¹ Голоцан Е. Идеология как условие существования и предмет политологии. Русский Журнал. Политика // www.russ.ru/politics/20011002-gol.html

² Политическая наука или политическая аналитика. Интервью с профессором Европейского университета Григорием Голосовым // <http://www.polit.ru/science/2006/05/30/golosov.html>

научности в политической науке данной страны. Поэтому, например, античная политическая наука почти совсем ненаучна, а американская политическая наука, скажем, начала XX в., гораздо менее научна, чем политология сегодняшних США, но все же более научна, нежели политическая наука кайзеровской Германии, ... у классиков которой, правда, американцы охотно учились.

Впрочем, исходя из сказанного можно заключить, что со временем, когда Россия дорастет до Запада по уровню развития демократических институтов или прояснит собственные оригинальные политико-культурные основания, появится и будет востребована и «настоящая» политическая наука. Она наконец выделится из конгломерата сопредельных наук. А сейчас эта наука находится в лучшем случае в стадии формирования, если только не переживает закат вследствие свертывания политической жизни вообще и демократических институтов в частности.

Автору этих строк представляются сомнительными два основания, которые влекут за собой означенные выше выводы: 1) почти всеми признаваемое положение, что становление и развитие политической науки жестко связано с развитием демократии; 2) негласное предположение, что вследствие этого развития политическая наука когда-нибудь окончательно выделится в полностью самостоятельную дисциплину (которой, очевидно, будут заниматься «чистые политологи»).

Прежде всего, что считать собственно политической наукой?

Специфика политической науки, как известно, заключается в том, что у нее изначально есть свой особый объект (область «политического»), но почти нет своих методов. Власть, властные отношения, политические институты и процессы и прочие объекты политической науки могут с равным успехом изучаться целым комплексом наук, возникших примерно в то же время, что и политология (социология, культурология, психология и т.д.). Эти же науки обеспечивают политологию львиной долей ее методов исследования. (Радикальное продолжение данной мысли рождает вывод, что политическая наука вообще «лишняя»). Существует мнение о ненужности политической науки на том ос-

новании, что политика является лишь искусством, а потому к ней якобы неприменимы научные категории, что политические ситуации есть нечто одноразовое, не повторяющееся, и потому для их познания вполне достаточно исторической науки, что политическая наука имеет дело с формами господства, а это относится к компетенции общего государственного права, что в ее исследованиях участвует социология и другие науки).

Политическая наука античности (например, Алмонд возводит европейскую политическую науку именно к данному периоду истории) уже была частью более обширных философских учений. Начиная с Платона, Аристотеля, софистов и киников учение о политике служило точкой приложения общезначимых философских выводов и методов, достигнутых в рамках собственно философии, которая заменяла тогда комплекс наук об обществе, человеке, мире вообще и т.д.

Наше первое принципиальное положение заключается в том, что современную политическую науку точно так же нет смысла рассматривать как нечто отдельное: она – часть обширного комплекса наук об обществе и человеке, который обрел свои современные черты на протяжении последних примерно 100-150 лет. **Политическая наука это если и не «вершина» наук об обществе, то точка их совместного приложения с целью достичь каких-либо социально-политических изменений, что прямо подтверждается ее жесткой концептуальной и методологической зависимостью от данных наук.** В частности, так считал С. Липсет:

«Политическая наука и управление на самом деле были дисциплинами с одной зависимой переменной. У вас могла быть религия, у вас могла быть политика, у вас могли быть союзы. Но собственной теории у политической науки не было. Чтобы объяснить политику, вы должны были позаимствовать теории и методы из других дисциплин»¹. (Злые языки в лице А. Казанцева, утверждают, правда, что «у нас нет устойчивой традиции «соци-

¹ Павлов А. «Великий Мартин Липсет»: политическая наука и «американское мировоззрение» // <http://www.apn.ru/publications/article11362.htm>

альных наук», куда по мировой классификации вписываются политологи»¹. Поэтому заметим, что прежде чем бросать упреки по поводу «ненаучности» политологии, следовало бы обратиться к российским представителям тех наук, «острием» которых является политическая наука – к истории, социологии, психологии и т.д. Может быть все проще: если у самих этих наук большие проблемы, чего же тогда требовать от их «точки приложения»?).

Второй принципиальный момент заключается в том, что именно возникновение специфической «точки приложения» и является главным пусковым механизмом для возникновения политической науки. По данному поводу Е.Н. Моцелков резонно замечает: «Дело в том, что изменения, которые происходят в развитии политологического знания в XIX веке и которые чаще всего связывают с переходом этого знания «из не-науки в науку», носят по отношению к этому знанию «внешний», а не «внутренний» характер. В этот период политология действительно конституируется как самостоятельная научная и образовательная дисциплина, усложняется ее структура, появляется множество новых направлений и областей исследования. Но перемены качественно не изменяют предметное поле и эвристическую функцию этого знания, ее фундаментальные основы в познании природы политических явлений и процессов.

Поэтому представляется более точным и продуктивным относить «научность» политологического знания к самым ранним стадиям его развития»².

Иными словами, возникает определенный «объект исследования», что в свою очередь побуждает весь наличествующий в данный момент комплекс наук об обществе мобилизовать свои средства в направлении становления собственно политической науки. В самом общем приближении этот объект может быть охарактеризован как **сфера публичной политики, которая является одновременно с типами политических режимов,**

¹ Казанцев А. Муки преждевременного рождения или За что отвечает пионер? // <http://www.apn.ru/publications/article17050.htm>

² Моцелков Е.Н. История социально-политических учений как научная и образовательная дисциплина на философском факультете МГУ // http://ispu.philos.msu.ru/moschelkov_text_1.html

требующих для своего успешного функционирования и легитимации мобилизации широких масс населения. Поэтому неудивительно что политическая наука возникла в Древней Греции с ее демократиями, тираниями, аристократиями и прочими режимами, которые без поддержки масс просто не могли бы удержаться. В Европе же и Америке XIX в., по словам С. Московичи, «дал трещины и начал разваливаться устойчивый мир семьи, соседских отношений, сел. В своем падении он увлек за собой традиционные религиозные и политические устои, а так же духовные ценности. Вырванные из родных мест, из своей почвы люди, собранные в нестабильные городские конгломераты, стали массами. С переходом от традиции к модернизму на рынок выбрасывается множество анонимных индивидов, социальных атомов, лишенных связей между собой»¹. И поэтому еще более закономерно то, что эпоха Модерна, выведшая на арену политической борьбы массы, ознаменовалась в политической сфере формированием демократических, фашистских, коммунистических и прочих режимов, ни один из которых не мог легитимировать себя иначе, чем эти массы мобилизуя, таким образом заручившись общественным согласием. Даже если легитимность политических режимов обуславливалась в том числе оставшимися от прошлого традиционными институтами вроде монархии, главным ее источником оставалось согласие общества. В наступившую новую эпоху легитимность, как констатирует С.М. Липсет, «означает, что общество в целом считает существующие политические институты наиболее приемлемыми, независимо от мнения о конкретных людях, находящихся у власти в данный момент»². Эта же эпоха стала временем возникновения и расцвета современной политической науки, призванной осмыслить проблему стабильного функционирования и легитимности политических режимов, опирающихся на поддержку масс.

Это только сейчас политическая наука (особенно в понимании тех, кто жестко увязывает ее существование с демократи-

¹ *Московичи С.* Век толп // <http://yurpsy.by.ru/biblio/moskov/02.htm>

² *Липсет С.М.* Размышления о легитимности // АПОЛОГИЯ, 2005. № 5.

ей) может восприниматься как атрибут относительно стабильных условий существования институтов представительного правления, свободы слова и совести и т.д. Политическая наука обслуживает эту стабильность, которая в свою очередь является истиной *этой* политической науки. «Мы должны быть хранителями конституции, профессиональным сообществом людей, уделяющих исключительное внимание структуре того, что называется государством»¹. Поэтому на Западе собственно политическая наука и оформляется в современном виде когда демократические институты и практики стабилизируются, когда изменения становятся предсказуемыми, то есть когда мы имеем дело с наличием стратегических программ, понятностью целей и деятельности самих лидеров, а в конечном итоге с определенной парадигмой, в пределах которой и возможны политические изменения. Разумеется, как справедливо замечает Г. Алмонд, «успехи политической науки в Европе по вполне очевидным причинам были связаны с процессом демократизации, а также со становлением государства всеобщего благосостояния, поскольку активистское, открытое государство, стремящееся к всестороннему охвату общественных проблем, нуждается во все большем объеме информации о политических процессах и эффективности деятельности властных структур»². Но все это не значит, что для возникновения политической науки и даже ее бурного развития стабильная, «правильная», соответствующая всем современным стандартам демократия совершенно необходима. Тот же автор, который призывает политологию быть хранительницей конституции, по поводу связи политологии с демократией высказывается весьма умеренно: «Режим, допускающий существование настоящей политической науки, уже обладает многими качествами, необходимыми для демократии... Сложность, однако, заключается в том, что, нуждаясь в демократизации, мы не имеем ни малейшего представления об осно-

¹ Лоуи Т. Глобализация, государство, демократия: образ новой политической науки // ПОЛИС, 1999. № 5. С. 109.

² Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // ПОЛИС, 1997. № 6. С. 182.

ваниях и условиях существования этого благоприятного для политической науки типа государства»¹. Складывается даже впечатление, что толчок развитию политической науки дают далекие от всех этих стандартов «эпохи перемен». (Не в такую ли эпоху появилась и российская политология?). По крайней мере далеко не все из тех, кого сейчас считают классиками политической науки, написали свои труды в теплично-демократических условиях.

Когда институты и практики, которые являются точкой приложения наук об обществе, находятся только в процессе становления, прототипы современных политологических дисциплин, в свою очередь являющиеся результатами этого приложения, неизбежно похожи на что-нибудь другое. И в первую очередь – на те науки или роды интеллектуальной деятельности (например журналистику), из которых они заимствуют свои методы и приемы. Тут, кстати, есть явная параллель с историей социологии, в том числе и политической (ибо классики социологии – классики и политической науки): социология как наука о стабильных состояниях тоже формируется только в первой трети (если не половине) XX в., а до тех пор она ищет свою нишу между социальной философией и историей. Если взять еще более ранний контовский вариант, то здесь вообще наличествует явная религиозная и идеологическая подоплека. Удивительно ли, что политическая наука идет сходным путем?

Еще один принципиальный момент: политическая наука всегда сама является частью изучаемого ею объекта. Вне зависимости от желания тех или иных философов и ученых она либо обслуживает функционирование политических режимов, предлагая им технологии удержания власти и способы легитимации в массовом сознании и т.д., либо предлагает противникам данных режимов технологии их свержения, изменения, способы дискредитации и т.д. Даже позиция типа «наши работы востребованы на Западе, а не в России, потому что в России нет того и этого» – это всегда политическая позиция, выражающая идеоло-

¹ Лоуи Т. Глобализация, государство, демократия: образ новой политической науки ... С. 108.

гические предпочтения. Политическая наука – всегда точка приложения наук об обществе с **определенной политической, почти неприкрыто идеологически ангажированной целью**. В стране с демократическим политическим режимом (например в США) данной целью становится выявление рамочных условий его функционирования. Происходит это примерно так.

Существует устойчивый сплав доктрин либеральной демократии, капитализма, рынка, который в целом является общепринятым и воплощен в конституционно закрепленных политических институтах. Это, как выразился бы Б. Капустин, ситуация, в которой наблюдается господство «операционализованной идеологии» либерализма. Но «любая операционализованная идеология стремится к прочному ценностному консенсусу, который делает ненужной саму идеологическую дискуссию», для нее желательно было бы состояние, «в котором некие ценности, воплощенные в определенных механизмах власти и собственности, действовали автоматически»¹. Однако выясняется, что демократическая политическая система работает не так, как ожидалось. Ее постоянно «портит» и извращает борьба групп интересов, политических партий, коррупция и т.д. Вот что пишет на эту тему Г. Алмонд:

«Во второй половине XIX в. и на протяжении первых десятилетий XX в. быстрый рост и процесс концентрации промышленного производства в Соединенных Штатах наряду с разрастанием крупных городов, население которых в основном составляли выходцы из небольших сельских населенных пунктов и иммигранты, привели к благоприятной ситуации для широкомасштабной коррупции. Она, в свою очередь, создала для дельцов от политики, обладавших изрядными материальными возможностями, ситуацию, при которой несложно было организовать и дисциплинировать значительные массы избирателей, заполонивших такие крупные города, как Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, Чикаго, Сент-Луис, Канзас-Сити и др. Слова “босс” и “машина”, наряду с постоянной борьбой за реформы,

¹ Капустин Б.Г. Что такое «политическая философия»? (II) // ПОЛИС, 1997. № 1. С. 155.

стали знаками американской политической жизни конца XIX – начала XX в. Реформистские движения, вдохновленные идеологией эффективности и поддержанные городскими деловыми и профессиональными элитами, привлекали на свою сторону талантливых журналистов, лучшие средства массовой информации и ученых из академических кругов. Подкуп политиков представителями корпораций, стремившихся заключить выгодные контракты, добиться привилегий и защиты от государственных ограничений, стал центральной темой нараставшего вала публицистических “обличительных” материалов в прессе, которые раскрывали общественности неприглядную картину политической инфраструктуры, втянутой во всевозможные злоупотребления и махинации, и выявляли “группы давления” и “лобби”, глубоко пронизавшие и коррумпировавшие политические структуры на местном, региональном и федеральном уровнях»¹.

Возникает необходимость в какой-то дисциплине, которая бы оперативно выявляла отклонения от «автоматического функционирования» механизмов власти и собственности, разоблачала их, выявляла причины и т.д. А поскольку причин отклонений, равно как и отклоняющихся субъектов, очень много и они чрезвычайно разнообразны, то неудивительно, что данная дисциплина будет использовать любой научный арсенал (и любую тень *научного* авторитета), до которого только дотянется. Что закономерно вызывает упреки в ее несамостоятельности и методологической зависимости от других наук.

Будучи тесно связанной с необходимостью мобилизации масс, политическая наука неизбежно пересекается с другим феноменом Модерна – идеологией. Идеологии тоже всегда прибегают к авторитету науки, чтобы легитимировать политические режимы или усилия своих сторонников. Поэтому в определенных обстоятельствах (изменение политической конъюнктуры) политическая наука отчасти превращается в идеологию; и это превращение – резервный вариант для политической науки, в целом не противоречащий ее природе.

¹ Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины ... С. 175.

Страшилка на тему «сворачивание демократии влечет за собой закат политической науки», которой нас нередко пугают сейчас, не имеет под собой оснований. Политическая наука возникает вовсе не вследствие становления демократических институтов (хотя их наличие и благоприятствует ее развитию), но вследствие выхода широких масс на арену публичной политики, после которого становится невозможным легитимировать *любой* политический режим иначе как отсылкой к народному суверенитету. Даже если понятие народного суверенитета осмысливается в рамках не слишком либеральной идеологии.

С этого момента, хотя бы того правящие элиты или нет, запускается постоянная процедура сравнения реально действующего политического режима с тем, как он живописует себя в идеологии и пропаганде. Даже если собственно политической науки еще не существует, как не существовало ее в СССР, отклонения писаного образа от реальности фиксируются всем доступным арсеналом наук об обществе, а это порождает возможность возникновения или «вечного возвращения» политической науки. Другими словами, специфика политической науки всегда позволяет ей мимикрировать под ее исходные составляющие. Многообразие парадигм, заимствуемых политической наукой от того комплекса наук, точкой приложения которого она является, всегда оставляет возможность отступить в области исследования, которые в данный момент не несут непосредственной угрозы для политического режима, но продолжают оставаться потенциальным поставщиком концепций и методов для собственно политической науки. Эти концепции и методы имеют шанс стать актуальными в будущем. На индивидуальном уровне это означает, что политолог по каким-либо причинам может мимикрировать под социолога, историка, политического философа, литературоведа и т.д., не изменяя своему призванию. Даже если политический режим не создает благоприятных условий для развития «настоящей» политической науки, никуда не исчезают властные отношения, исследования которых сами по себе могут служить источником вдохновения для политологов.

Возникнув один раз, политическая наука не может исчезнуть, поскольку не исчезает историческая тенденция, заставляющая любой режим легитимировать себя путем отсылки к народному суверенитету. Не исчезает, один раз возникнув, и указанная выше процедура сравнения идеологического образа с реальностью. В конце концов, речь всегда идет о базовом для политической науки отслеживании отклонений в функционировании опирающегося на одобрение масс режима с «операционализированной идеологией»; меняется лишь сама идеология.

Напротив, если реальность не удовлетворяет политолога, он вполне может играть, как это сейчас и происходит, роль идеолога, конструируя или предлагая сконструировать некий «проект»: «Я бы назвал такой тип политолога, не являющегося ни “миссионером”, ни “фокусником”, – пишет В. Нифонтов, – словом “друид” ... Нужна когорта укоренённых в местных традициях знатоков российских реалий. Которые, фигурально выражаясь, при необходимости будут способны и из лука пострелять, и на коне поездить. И которых будет объединять нечто более серьёзное, чем просто перспектива опубликоваться в иностранной газете.

России нужна политология большого национального проекта. Уже даже неважно, какого по содержанию. Возможно, это будет несколько больших проектов. Как только сообщество, разрабатывающее их, сложится, можно будет сказать, что до превращения российской политологии в науку остался один шаг»¹.

В условиях, когда для *political scientist* теряется практический смысл занятий политической наукой, он не исчезает для понимающих этот смысл иначе. Если политическая наука теперь обслуживает ортодоксально-демократические политические режимы, это не значит, что она возникла именно для этой цели, что другим не вполне демократическим режимам она вовсе не нужна, что она вообще обязана обслуживать какой бы то ни было режим.

¹ *Нифонтов В.* Миссионеры, фокусники, друиды // <http://www.apn.ru/publications/print10932.htm>

Возвращаясь к упомянутым алармистским настроениям по поводу будущего отечественной политической науки, зададимся вопросом: существует ли в современной России настолько мощная тенденция, которая может заставить отказаться и власть, и общество от стратегии легитимации политического режима путем апелляции к воле народа? Заменяя ее, скажем, на какую-то религиозно-политическую доктрину, в которой есть глас Божий, но нет гласа народа? Идеологи, проповедующие такого рода доктрины, мягко говоря, не очень влиятельны. И со стороны власти такого стремления не наблюдается, даже напротив: иначе откуда бы появились концепции *суверенной демократии*?

Свертывание демократической публичной политики в современных условиях, разумеется, является вызовом политологическому сообществу, но не служит угрозой для самой политической науки. Нет, конечно, причины петь «Все хорошо, прекрасная маркиза!», но кричать, что «все пропало» – оснований еще меньше.

§ 2. В ПОИСКАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СУБЪЕКТНОСТИ: ОТ СВОЙСТВ К ОТНОШЕНИЯМ

Все чаще можно слышать, что недолгий период возрождения политической философии в последние три-четыре десятилетия сменился периодом ее очередного кризиса или даже упадка. Среди признаков этого кризиса можно упомянуть отсутствие серьезных ценностных альтернатив политическому либерализму, нехватку новых радикальных идей, а также неспособность политических философов предложить достойные теоретические ответы на вызовы глобализации. Все это приводит к тому, что ставится под вопрос сама возможность политического философствования. Задачи политического философа часто сводятся либо к разработке приложений для теории политического либерализма, либо к обслуживанию некоторого публичного коммуникативного пространства, в котором бы артикулировались разнообразные точки зрения и снимались потенциальные конфликты.

Среди теоретических проблем называется отсутствие согласия по поводу базового понятийного аппарата и нереалистичность предпосылок в отношении природы человека и социальных институтов. Ситуация особенно сложна для политических философов на постсоветском пространстве, вынужденных одновременно с теоретизированием по поводу происходящих в обществе процессов осваивать или выработать новую исследовательскую парадигму и новый понятийный аппарат¹. Это вызвано как внутренними сложностями, связанными с поиском альтернатив марксистской парадигме, так и более общими причинами. Одной из них, например, является тенденция к переопределению и расширению сферы политического, что вовлекает в политическую деятельность все новых агентов и заставляет считать политическими такие пробле-

¹ См., напр.: Материалы «круглого стола»: Политическая философия в России. Настоящее и будущее // Вопросы философии, 2002. № 4.

мы, которые ранее могли обсуждаться и решаться в правовых, культурных или религиозных контекстах.

Характерной чертой кризиса политической философии считается *утрата субъектности*, то есть осознание того, что привычные концептуализации политических субъектов либо весьма приблизительно фиксируют реалии современного общества (например такой субъект как социальный институт,) либо недостаточно хорошо определены (например «политический индивид»), либо сомнительны в силу целого ряда причин, обсуждение которых выходит за рамки настоящей главы (такие субъекты как «классы» или «нации»). Кроме того, в условиях глобализации создаются новые временные и постоянные альянсы, институты и организации с полномочиями и обязанностями, не всегда ясными как с моральной, так и правовой точек зрения, однако участвующие в выработке и принятии политических решений. В дополнение к внешним причинам, ведущим к необходимости уточнения перечня политических субъектов, существуют и внутренние, теоретические трудности. Так, политических философов часто упрекают в неразработанности критериев, позволяющих идентифицировать политически значимые социальные группы, и в отсутствии крупных проектов, которые бы служили объединению воли и усилий отдельных людей, превращая их в заметных политических агентов.

Основная трудность связана здесь с отсутствием единства относительно характеристик субъектности как таковой. В самом общем виде субъектом политики обычно считаются люди (индивиды, агенты, личности, наделенные сознанием, рациональностью), живущие в обществе, действия которых в той или иной степени ограничены социальными институтами или практиками. Иногда такие характеристики как сознание и рациональность дополняются и таким важным условием субъектности как способность к действию. П. Рикер, например, считает, что в качестве своего «антропологического введения» политическая философия нуждается в размышлении над проблемой *«человека могущего»* (*l' homme capable*). При этом, как замечает Рикер, если бы удалось доказать, что человек определяется главным образом своими способностями, которые достигают полной реализации только в условиях полити-

ческого существования, то это явилось бы доказательством и «связи политики с этикой благой жизни»¹.

Однако при всей бесспорности и необходимости учета такой характеристики политического субъекта потенциала воления все же недостаточно для того, чтобы однозначным образом определить субъектов политического действия и политической философии. Сам факт наличия или отсутствия воли и способности к действию не позволяет, например, отличить «человека политического» от «человека морального». Попытка введения таких уточнений как, например, наличие воли к политическому действию или действию в сфере политики, является некорректной отсылкой к тому, что само нуждается в определении, то есть сфере политического. Различение между субъектом моральным и субъектом политическим можно попытаться выдать за несущественное, ссылаясь при этом на радикальное расширение сферы политического или возможность такого расширения. Однако несмотря на то, что многие проблемы, ранее не считавшиеся политическими, все чаще начинают рассматриваться и решаться с использованием языка власти или справедливости, все же трудно согласиться с теми, кто полагает, что в наше время любая моральная проблема может трактоваться как проблема политическая и, соответственно, там, где раньше мы имели дело с субъектом моральным, теперь мы вынуждены взаимодействовать с субъектом политическим².

Каковы же в таком случае существенные различия между субъектом моральным и субъектом политическим? Одним из таких отличий является то, что для политического субъекта *способность к коллективному действию* является необходимым условием его конституирования, в отличие от субъекта морального. Именно спо-

¹ Рикер П. Мораль, этика и политика // Герменевтика, этика и политика. М., 1995. С. 39.

² На уже упоминавшемся «круглом столе» В.Л. Иноземцев, например, защищал позицию, согласно которой политическая философия не просто выделилась из моральной философии, а скорее пришла ей на смену, солидаризуясь с тезисом Б.Г. Капустина о том, что «политическая философия существует там, где мораль бездействует». При этом также обосновывалась возможность «смерти» политической философии в случае появления новой моральной парадигмы, радикально отличной от прежней.

способность индивида к совместным действиям с другими людьми и действиями, которые могут привести к изменению ситуации в обществе, делают его политическим субъектом и, соответственно, субъектом политической философии. Помимо способности к коллективному действию также важна принципиальная возможность перехода субъекта на позиции *коллективной рациональности*. При этом мы согласны с Б.Г. Капустиным в том, что субъектность и коллективность — понятия не тождественные. «Одно дело – субъектность, фиксируемая, например, во фразе «Мы, народ», другое дело – электорат, ...который не только не действует, но и по сути не имеет воли, а лишь выражает «мнения» и «легитимирует» власть» (Материалы «круглого стола»). В этой связи можно вспомнить и различие «класса в себе» и «класса для себя»¹, характеризующее объективное и субъективное выявление сущности класса в историческом процессе, причем переход от «класса в себе» в «класс для себя» в первую очередь определяется развитием самосознания, которое сопровождается появлением организации, социально-политической программы, а завершается действием.

Коллективное действие в соответствии с постулатами коллективной рациональности может (хотя и не всегда) приводить к появлению коллективных субъектов, которые, кроме того, могут создаваться и другим способом. Таким образом, в число политических субъектов обычно включаются не только индивиды, непосредственно организованные для осуществления коллективных действий, но и, например, социальные институты. Методологическая проблема заключается в том, где и как провести границы между коллективным политическим субъектом и неполитической совокупностью индивидов. Что мешает считать субъектами политики и политической философии нацию (как, например, субъект демократии) или даже человечество в целом?

Традиционная философия политики характеризуется двумя основными чертами. Во-первых, она занята размышлениями об идеальных или рациональных общественных институтах. Именно

¹ Маркс К. Ницше философии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 4. С. 83, 84.

оптимальное устройство всего общества посредством должной организации политических институтов и отличает эти философские поиски, от Платона до современных приверженцев общественно-договорной традиции. Вторая черта традиционной политической философии – принятие дихотомии «публичное» – «частное»¹. При этом предметом исследования становилась именно публичная сфера, а частная жизнь оставалась вне сферы внимания, точнее отдавалась на откуп философам морали.

В последнее время ситуация существенно изменилась (в том числе и благодаря философам постмодерна). Уже очевидно, что и в частной сфере существуют ценностные конфликты по поводу прав и обязанностей, проблемы справедливого распределения, вся она пронизана властными отношениями самого разного уровня. Другими словами, частная сфера обременена теми же конфликтами и отношениями, что и сфера публичная. Осознание этого ведет к необходимости пересмотра всей конфигурации политического, то есть всего категориального аппарата, начиная с самых базовых понятий, таких как политический субъект, политические свойства, политические отношения. И, конечно, в первую очередь необходимо размышление о том, что представляет собой само «политическое», так как именно оно задает характеристики соответствующей субъектности и соответствующих отношений.

Исследовательская ситуация осложняется общим настроением скептицизма по отношению к таким понятиям как объективность и истина. Кроме того, вслед за философией науки характерной чертой современных социально-гуманитарных исследований стало признание того факта, что объект исследования выделяется в рамках некоторой общей теории. Какой-то единственно верной или универсальной исследовательской позиции не существует. Для философии политики этот общий тезис трансформируется в тезис об отсутствии единой и неоспоримой политической реальности, частью которой предположительно являются и политические субъекты.

Говоря о политической субъектности в самом общем виде, мы пытаемся отвлечься, насколько это возможно, от известных ре-

¹ *Алексеева Т.А.* «Публичное» и «частное»: где границы политического? // *Философские науки*, 2005. № 3. С. 26-39.

шений и дихотомий. Например, сами термины «субъект» или «субъектность» вовсе не обязательно сразу же предполагают жесткую дихотомию между субъектом и объектом, в рамках которой активный субъект воздействует на некоторый пассивный социальный объект, под которым может пониматься как политический институт, так и социальная реальность в целом. Отвлекаемся мы и от организационно-институционального подхода, в рамках которого под субъектами политики понимаются институты, чаще всего государственные. Не будем пока выделять и «основных» и «производных» агентов политических отношений, что достаточно широко обсуждалось в отечественной политологии.

Нас скорее интересуют сами условия возможности политической субъектности в ситуации переконфигурирования сферы политического, изменения границ между публичным и частным, в условиях отчуждения людей от публичной политики вследствие растущей зависимости политики от экономики, вследствие бюрократизации, смещения центров принятия политических решений в глобализирующемся мире. При этом в качестве «основной клеточки» политической субъектности мы имеем в виду политического индивида, а основной вопрос формулируется следующим образом: что значит быть субъектом политики в современных условиях?

Теоретические трудности усугубляются огромным разнообразием подходов, что подчас ведет к несоизмеримости словарей. Политическая субъектность исследуется при обсуждении проблем и концепций демократии, глобализации, власти, справедливости. Часто эта проблематика обсуждается и на языке (само)идентичности и (само)идентификации. Можно выделить две основные проблемы, связанные с описанием политической субъектности. Первая связана с необходимостью выбора языка описания. Политического субъекта можно описывать либо в терминах свойств (что, хотя и «не модно», но по-прежнему вполне осмысленно), либо в терминах отношений. Вторая и главная проблема заключается в необходимости понять, где проходят границы политического. Лишь поняв то, где пролегают границы публичного и частного, мы можем начинать поиски политического субъекта, как бы мы его ни описывали – либо через свойства, либо через отношения.

Начинать поиски политического субъекта можно с языка. О том, что язык конституирует человека как общественное животное, писал уже Аристотель (Pol. I 2, 1253a7-19): «Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные, ясно из следующего: природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один только человек из всех живых существ одарен речью [...] Но речь способна выражать и то, что полезно и что вредно, равно как и то, что справедливо и что несправедливо. ... Это свойство людей отличает их от остальных живых существ: только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и т. п. А совокупность всего этого и создает основу семьи и государства»¹.

По аналогии с анализом, предложенным П. Рикером в отношении субъекта права, мы также можем сказать, что субъект политики – это прежде всего тот, кто говорит. Точнее, тот, кто может, способен, компетентен пользоваться языком в политических целях. А также брать на себя ответственность фактом авторства². Но для того, чтобы стать подлинным субъектом (права), необходимы условия актуализации способностей: возможность пользоваться языком, оценивать свое поведение, брать на себя ответственность. При этом П. Рикер полагает, что преимущественной средой для реализации этих человеческих потенциалов является именно политическое. А основная этическая ценность, определяющая политическое в качестве такового – справедливость³.

Действительно, если попытаться дать дискурсивную характеристику политического, то можно выделить две основные традиции. В одной политика понимается как борьба за власть или, точнее сказать, по поводу власти. Это не обязательно прямая конкуренция за властные позиции и полномочия, но часто борьба между теми, кто обладает властью или стремится к ней, и теми, кто с этим пытается бороться, ограничивать властное влияние на свою жизнь.

¹ Аристотель. Сочинения. В 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 379.

² Рикер П. Справедливое. М.: Гнозис. Логос, 2005. С. 30-40.

³ Там же. С. 38, 39.

Другое понимание политики, также нашедшее свое отражение в дискурсе, исходит из понимания общества как кооперативной схемы, внутри которой люди стремятся к справедливому сотрудничеству. Таким образом, мы имеем два основных варианта характеристики политического – через власть и через справедливость. При этом обе эти разновидности дискурса могут вполне успешно маскироваться под третий, в котором политическое есть то, что делается ради блага человека. Так, в исследовании, посвященном политическому языку и метаязыку политической науки, В. Мартьянов отмечает, что «центральный дискурсом политики становится борьба идеологий за нормативную интерпретацию сущности человека как «*summum bonum*», именем которого интерпретируется любое политическое действие»¹.

Говоря о том, что политическое и политическая субъектность во многом определяются языком, мы имеем в виду даже не просто язык, а целую систему коммуникаций, которая складывается после того, как другие определяют некоторое речевое поведение в качестве политического языка и признают за индивидом право на такое поведение. Однако описание политического субъекта через политический язык и политический дискурс хотя и может помочь опознать эти субъекты на практике или ограничить их число, но все же не решит основную теоретическую задачу по поиску критериев политической субъектности. Проблема здесь в том, что идентификация того или иного языка как политического также требует выделения внешних критериев.

Конечно, если мы видим животное, пользующееся речью, то скорее всего мы имеем дело с животным разумным. Единственная проблема – опознать некоторый символ или последовательность символов в качестве знаков, имеющих значение и смысл. Эта проблема является фундаментальной для философии языка – по каким критериям мы можем определить, что последовательность звуков, издаваемая человеческим детенышем, является осмысленной, а нарисованная муравьем на песке последовательность линий не яв-

¹ Мартьянов В.С. Метаязык политической науки. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. С. 56.

ляется карикатурой на Уинстона Черчилля?¹ Те же трудности возникают и с идентификацией политического языка именно как политического. Поэтому критерий политической субъектности нуждается в перекрестной проверке на наличие свойств и отношений.

«Новейший политологический словарь» (1997) выделяет две основные характеристики политической субъектности: 1) сознание, необходимое для практического осуществления политических целей и идеалов, которое включает знание об объекте, а также ценностно-оценочную шкалу; 2) активность (само реальное действие). В первом условии речь идет не просто о сознании как существенной характеристике человека разумного, а о сознании специфическом. Однако поскольку такое практическое сознание направлено на реализацию целей, а политические цели предполагают участие в их осуществлении других субъектов, то практическое сознание оказывается обреченным на совместное действие. Существенной характеристикой такого совместного действия является рациональность, причем, как уже отмечалось, рациональность особого вида – коллективная. Таким образом, в качестве минимального требования к политическому субъекту можно полагать наличие способности различать между рациональностью индивидуальной (преследованием личного интереса) и рациональностью коллективной (понимаемой как стремление к достижению общего блага, основанное на ясном осознании издержек и выгод такого поведения).

Воля, переходящая в действие, – необходимое условие, позволяющее выделять из апатичной массы политических субъектов. Однако регулярные и системные действия обычно описываются на языке «участия». Главный вопрос заключается в том, что значит в современном мире политическое участие? Ограничивается ли оно двумя, теперь уже стандартными формами: 1) участием в некоторых формальных процедурах, имеющих целью повлиять на власть, например участием в выборах; 2) участием в публичном и рациональном дискурсе в духе Хабермаса? Основания для сомнений возникают по одной и той же причине – радикальное расширение сферы политического в современном обществе неизбежно ведет к пе-

¹ Патнем Х. Разум, истина, история. М.: Праксис, 2002. С. 14-19.

решению соотношения между публичным и частным. Вполне может оказаться, что политическое участие обнаружится в самых неожиданных сферах, внутри того, что раньше считалось безусловно частным. Можно огласиться с Т. Алексеевой в том, что именно здесь, размышляя о соотношении публичного и частного, и следует искать политическое, а не через определение друзей и врагов¹. А уже внутри сферы политического можно искать и политических субъектов.

Перейдя от таких сущностных свойств политического субъекта как «рациональность» и «воля» к рассмотрению понятия «участие», мы совершили гораздо более общий переход – от описания субъектности через свойства к описанию ее через отношения. Но что такое отношение участия? Чаше философы задаются вопросом о том, почему люди вообще принимают участие в политике, казалось бы, вопреки требованиям инструментальной рациональности, согласно которой неразумно тратить силы и время на действия, отдача от которых невелика. При этом хрестоматийным примером политического участия можно считать участие в выборах. Но все чаще звучит вопрос: «что значит само участие?». Как оно может быть выражено, кем и в каких формах, для того чтобы считаться участием политическим? Можно ли по-прежнему понимать участие как любое действие по отношению к политической системе? Относятся ли к политическому участию сопротивление и гражданское неповиновение? Кроме того, нужно учитывать и тот факт, что в современном мире механизмы принятия политических решений очень сильно бюрократизированы и рационализированы, что уменьшает влияние публики на принятие решений.

Конечно, отношение участия – это не единственное отношение, создающее политического субъекта, хотя, возможно, и ключевое. В общем виде подход к поиску политической субъектности через отношения формулирует современный французский философ Жак Рансьер, который пишет, что политика не может определяться никаким субъектом, который бы ей предшествовал. Именно в фор-

¹ Алексеева Т.А. «Публичное» и «частное»: где границы политического? // Философские науки, 2005. № 4. С.5-15.

ме политических отношений следует искать политическое «различие», позволяющее мыслить субъект политики¹. Идея о том, что человек – продукт общественных отношений, конечно, не нова. Интерес здесь представляет акцент на специфике отношений, формирующих политическую субъектность. Это отношения именно и сугубо политические. До и вне таких отношений политические субъекты не существуют.

Таким образом, поиски политической субъектности ведутся в двух направлениях: как поиски свойств субъекта (сознание, рациональность, способность к коллективному действию) и как поиски отношений, задающих саму область политического. Проблема, однако, заключается в том, что у нас отсутствуют какие-то объективные и надежные средства для приписывания тех или иных свойств и отношений. Конечно, некоторые (политические) отношения кажутся настолько очевидными, что мы принимаем их, просто следуя здравому смыслу, например отношения власти или отношения господства и подчинения. Другие отношения в современном мире по крайней мере начинают требовать уточнения и конкретизации, например такое «классическое» отношение как «управление» (политика – искусство управления государством). Некоторые же отношения, предлагаемые в качестве политических, еще менее очевидны (в качестве примера можно привести отношение «признания»). Ж. Рансьер отталкиваясь от стандартного понимания политики как искусства управления, считает «узлом политического вопроса» точку пересечения между практиками управлениями и формами жизни, полагаемыми в качестве их основания².

Более интересно его предложение разделять политику как искусство управления (полиция) и как попытку реализации в жизни идеалов равенства (и справедливости). При этом субъект управления («полиция») понимается как «субъект нормализации». «Полиция» находится в постоянном и бескомпромиссном противоборстве с «политикой». «Полиция» пытается скрыть проблематику справедливости, в то время как «политика» пытается ее обнаружить. «По-

¹ Рансьер Ж. На краю политического. М.: Праксис, 2006. С. 197.

² Там же. С. 11.

лиция», таким образом, в широком смысле понимается как призыв к очевидности того, что есть, или точнее того, чего нет¹.

Принимая такое разделение, приходится согласиться и с тем, что если «полиция» постоянно пребывает в публичном пространстве, то «политика» существует практически в подполье, периодически выходя на поверхность в виде отдельных акций, манифестаций, иных проявлений политической субъектности. То есть политика не имеет ни собственного локуса, ни естественных субъектов, политическая манифестация является всегда точечной, а ее субъекты – кратковременными. Политическое различие всегда находится на грани исчезновения: народ почти растворен в населении или расе, пролетарии почти смешиваются с трудящимися, защищающими свои интересы, пространство публичной манифестации народа – с агорой купцов и т.д.².

По мысли Раньсера, исключение людей из числа политических субъектов в рамках «полиции» происходит очень просто: мы обычно не видим и не слышим тех, кого не хотим видеть и слышать. Исключаем их из публичного пространства, а значит – из публичной политики. Но в этом случае остается вопрос о том, где находятся эти кратковременные потенциальные субъекты публичной политики, каким образом они приобретают качества, которые позволяют им манифестировать свою политическую субъектность, а затем покидать пространство публичной политики? Как представляется, единственно возможный ответ состоит в том, что политическая субъектность существует одновременно и в публичном, и в частном. Но личность в таком случае все равно вынуждена искать идентификацию с тем или иным способом существования политической субъектности и два этих модуса политической субъектности (кратковременное существование в публичном пространстве и полу-латентное существование в частной сфере) в принципе могут даже не соприкоснуться между собой. Именно этим может объясняться уход в частное, приватное, переосмысление всей специфики политических отношений как «политики». Ведь именно в сфере

¹ Раньсер Ж. На краю политического ... С. 211.

² Там же. С. 214.

частного мы можем искать и достигать желаемых равенства и справедливости, автоматически претендуя таким образом и на политическую субъектность. Эта субъектность продолжает жить и развиваться как за пределами либеральной политической справедливости, вне перекрещивающегося консенсуса Ролза, в котором фиксируется зона публичного политического согласия, так и вне досягаемости нормализующего влияния «полиции». Но тогда для идентификации политической субъектности не имеет особого смысла использовать привычное деление на публичное и частное.

Различие двух аспектов политического не означает, что границы между публичным и частным стираются. Они важны для сохранения как одной, так и другой сферы. Т. Алексеева предлагает следующее условие сохранения частной сферы: по ее мнению, частная сфера сохраняется до тех пор пока люди сохраняют свое право отвергнуть внешнюю интерпретацию своей личности (за исключением случаев, когда человек является пациентом врача, то есть находится в заведомо неравной ситуации, и в ряде аналогичных случаев¹. Остается вопрос о том, что происходит с человеком как с политическим субъектом в том случае, когда он действительно отвергает эту внешнюю интерпретацию? Прекращается ли в этом случае его политическая субъектность или же она продолжает конституироваться отношениями справедливости, в которые человек неизбежно вступает, а также авторством его политических оценок, на которые он сохраняет право? Представляется, что при выходе из публичного пространства политическая субъектность не может полностью исчезать, если сохраняются хотя бы важнейшие ее характеристики – наиболее значимые свойства, отношения и диспозиции.

¹ Алексеева Т.А. «Публичное» и «частное»: где границы политического? ... С. 15.

§ 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО В ПОСТМОДЕРНЕ: МЕЖДУ МИФОМ И НИГИЛИЗМОМ

Распад идентичностей, который часто фигурирует в ряду основных характеристик постмодернистской ситуации, представляет собой существенную проблему для политической теории. Действительно, можно ли мыслить политику без политической идентичности? Даже сама связность сообщества оказывается здесь под вопросом. В этой ситуации требуются новые подходы – необходимость, которую Жан-Люк Нанси, например, формулирует в «Праздном сообществе»¹ как задачу поиска пути между мифом или унитарным субстанциальным сообществом и нигилизмом или отсутствием сообщества. Понимание политики оказывается здесь принципиально важным. В книге «Смысл мира»² Нанси отличает политику от любви или ненависти тем, что не она предполагает никаких связей, заранее установленных или данных³. Это отсутствие связей – кардинальное свойство сообщества, о котором говорит Нанси. Он различает политику гражданства и субъектности. Гражданство указывает на общую область отчужденных идентичностей и есть не что иное, как их разделение/распределение:

...гражданин это комплекс – сам по себе мобильный – прав, обязательств, достоинств и добродетелей. Они не связаны с осуществлением какого-либо основания или цели, помимо самого учреждения полиса. В некотором смысле, гражданин не делает ничего другого кроме разделения с согражданами функций и знаков гражданства, и в этом «делании» его бытие выражено целиком и полностью⁴.

«Вместе» (*L'en-commun*) полиса не имеет никакой другой идентичности кроме места, в котором пересекаются пути граждан, и

¹ Nancy Jean-Luc. *La communauté désœuvrée*. Paris: Christian Bourgois Éditeur, 1986.

² Nancy Jean-Luc. *Le Sens du monde*. Paris: Galilée, 1993.

³ Ibid. P. 163.

⁴ Ibid. P. 165.

он не имеет никакого другого единства кроме внешности их отношений. В некотором роде гражданство, в соответствии с его чистым понятием, всегда является фактически гражданством «мира»¹.

В свою очередь, гражданин не имеет никакой другой идентичности помимо той, что задается связями учрежденного полиса. Нанси называет это свойство субъектов соявлением (*comparution*): они появляются всегда совместно в рамках некоторой системы разделения или распределения (*partage*).

В отличие от политики гражданства, политика субъектности подразумевает «требование субъективного присвоения смысла»². Моделью этого присвоения выступает гегелевская субъективность, которая сохраняет в себе свою собственную негативность³. Соответственно, политический субъект присваивает учрежденную внешность полиса⁴. Субъект поэтому не имеет никакого внутреннего, отличного от присвоенного внешнего. Это означает, что субъект предполагает разделение полиса в качестве чего-то, что субъект должен присвоить. Фактически между гражданином и субъектом имеется полная взаимность. Они «отражают» друг друга как в зеркале.

Гражданин становится субъектом в точке смысла, в точке (ре)презентации смысла. В точке, где *сообщество* дает себе внутреннее или дается как внутреннее, и в точке, где *суверенность* больше не удовлетворяется пребыванием в формальной

автотелеологии «контракта», или в его авто-юрисдикции, но выражает также сущность [...] Аналогично, субъект превращается в гражданина в точке, где выраженная сущность имеет тенденцию выражать себя «в» и «как» гражданское пространство и, если так можно выразиться, «выставляет на показ» субъективную сущность⁵.

¹ Nancy Jean-Luc. *Le Sens du monde ...* P. 165.

² Ibid. P. 166.

³ Ibid. P. 167.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid. P. 167-168.

Из данного фрагмента видно, что концептуально гражданин и субъект содержат один и тот же элемент. А именно – форму полиса, которую Нанси понимает как сеть взаимосвязанных различных элементов. Различие между гражданством и субъектностью оказывается в том, что первое есть фактически случайное учреждение (порождение) этой сети, тогда как второе – ее интериоризация. Более точно, субъектность начинается с предположения (учреждения) сферы внутреннего, в которую может проектироваться внешнее полиса. Этот общий элемент приводит, согласно Нанси, к характерному дефекту обеих политик: и гражданства, и субъектности. Они рассматривают смысл как нечто данное или самостоятельное. Социальные связи в случае гражданства или элементы, которые они связывают, в случае субъектности считаются заранее заданными¹, тогда как проблема как раз в самих этих связях. Поэтому Нанси формулирует задачу разработки политики, не являющейся больше политикой ни субъекта, ни гражданина², и находит ее в самой деятельности установления связей: Именно *завязывание* узла должно стать решающим, заняв место пустой истины демократии и избыточного смысла субъективности³.

Связанное понимается здесь в двух смыслах – узлов и их связей. Связывание устанавливает как узлы, так и сеть связей узлов. Это жест связывания и сцепления, от каждого к каждому, связывающий каждый раз единичности (индивидуумов, группы, нации или народы), которые не имеют никакого другого единства кроме единства узла, единства, сцепленного с другим, причем это сцепление всегда распространяется на весь мир, а мир не имеет никакого другого единства, помимо самого этого сцепления»⁴. Мы можем распознать в связывании дальнейшее развитие понятия соявления из «Праздного сообщества». Сообщество понимается в рамках дистрибутивной модели со-являющихся единичностей. Теперь, однако, оно приобретает дополнительный аспект – оно интерпретируется как поиск смысла. В самом начале «Смысла мира» Нанси утверждает принципиальное отсутствие этого смысла. Он определяет

¹ Nancy Jean-Luc. Le Sens du monde ... P. 173.

² Ibid. P. 171.

³ Ibid. P. 173.

⁴ Ibid. P. 175.

задачу книги в том, что единственный шанс для смысла и его единственный возможный смысл лежат или по эту или по ту сторону присвоения означаемых и презентации означающих, в самом открытии отказа от смысла как открытия мира¹. Отсутствие смысла является для Нанси его ключевой чертой. В то же время, политика связывания может быть суммирована во фразе «ни миф, ни нигилизм». Эта формула противопоставлена двум режимам смысла: его абсолютности (миф) и его произвольности и растворению (нигилизм). Оба, заявляет Нанси, находятся в плену режима означаемого смысла, режима, предполагающего либо присутствие, либо отсутствие смысла.

Здесь смысл – это означающее подлинного и присутствующего означаемого, означающее подлинности и присутствия как таковых². Не слишком важно, полагается ли это означаемое как стабильное и постоянное (миф) или как отсутствующее и иллюзорное (нигилизм). Отказываясь от обеих возможностей, Нанси тем не менее понимает смысл как некоторым образом презентированный, а именно презентированный в точности как нечто, что должно быть установлено. Поиск смысла – не неудобство или неудача, он – не изъян, а условие существования³. Нет никакого недостатка в нашем бытии: недостаток заранее данного смысла и есть как раз то, что его исполняет⁴. Сообщество, таким образом, существует как не данное. Составлять сообщество – праздное сообщество – означает двигаться к сообществу, причем так, что это движение есть в точности то, что составляет сообщество. Эта специфическая темпоральная структура конституирует характер «прибытия-и-убытия» сообщества. Отсюда следует задача восстановления сообщества, восстановления его связей – грядущее сообщество является, таким образом, задачей. Нанси сравнивает сообщество/прибытие с прокладыванием пути (*frayage*) или созданием мелодии в джазовой импровизации. В любом случае это установление связей, которые ни в каком смысле не существуют заранее. Прибытие указывает не на обязательство, а на задание, на постановку проблему. Этика су-

¹ Nancy Jean-Luc. Le Sens du monde ... P. 12.

² Ibid. P. 12.

³ Ibid. P. 30.

⁴ Ibid. P. 230.

ществует не как правила, которым нужно следовать, или заповеди, которые нужно исполнять, а как этическая проблема, которую необходимо решить: абсолютное предписание обязательства установления связи¹. Его безусловность состоит в невозможности уклонения.

Нанси связывает эту направленность смысла с транзитивностью бытия. Последнее определяет нечто, что еще не закончилось: то, что находится не *в* конце (отсрочивая себя в своем конце, отсрочивая свой *конец* сам по себе), а в направлении *к* себе. Нанси схватывает это «ненахождение в конце» как прокладывание пути (*frayage*), в котором каждый новый момент является открытием нового пространства. Акт бытия не продуцируется. Он «продуцируется» в примечательном смысле «имения места», «случая». Отсутствие смысла поэтому указывает скорее на рождение нового смысла и невозможность удержания того, что было при этом рождено (это то, что Нанси называет изъятием бытия в самом событии бытия). Однако «случай» бытия анонимен. Бытие просто случается, тогда как поиск смысла должен, вероятно, подразумевать кого-то, кто ищет. Пока не ясно, как Нанси справляется с этой анонимностью бытия, когда он вступает в область сообщества. Фактически именно в этом переходе изложение Нанси становится наиболее неоднозначным. Попробуем разобраться с этой двусмысленностью, рассмотрев подразумеваемую Нанси теорию субъективности.

Итак, мы имеем политику непрестанного установления и разрушения идентичности – третий путь между жесткой неизменной идентичностью и отсутствием идентичности. Нанси опирается здесь на темпоральную структуру субъекта. Именно нестабильность постмодернистской идентичности предлагается им в качестве решения проблемы политического. Но единственное ли это решение? Рассмотрим иной (четвертый?) путь, избегающий как субстанциальности, так и произвола.

Будем исходить из той же схемы, что и Нанси. У нас имеется формальная (политическая) структура, представляющая собой элементы, которые я буду называть означающими, и отношения между ними. Имеются также субъекты, идентифицирующиеся с эле-

¹ Nancy Jean-Luc. Le Sens du monde ... P. 187.

ментами структуры. Две описываемые Нанси политики соответствуют двум различным отношениям субъектов с формальной структурой. Политика гражданства означает, что субъект не имеет никакой предрасположенности идентифицироваться с той или иной структурой. В этом смысле его связь со структурой произвольна, никак не связана с его «сущностью», которой у него просто нет. Политика субъектности, напротив, предполагает, что внешняя формальная система является точным соответствием внутреннего сущностного строения субъекта – «сущность» субъекта выражается в политических институтах, где он предстает как рабочий, ученый, избиратель, вождь и так далее. Проблема, как ее представляет Нанси, состоит тогда в том, что политика субъектности сегодня уже невозможна, тогда как отказ от нее приводит к политике формального гражданства, которая если и создает какую-то социальную связь, то только ущербную (в смысле ее произвольности). Решение Нанси состоит тогда в переходе к постоянно трансформирующимся связям. С одной стороны, сообщество не может не иметь структуры, так или иначе оно основывает себя на некотором мифе. Но с другой стороны, эта структура неустойчива вследствие неустранимо темпорального характера ее бытия (здесь Нанси опирается на онтологию Хайдеггера) – сам способ ее существования не только допускает отказ от мифа, но и неизбежно к нему приводит. В этой ситуации Нанси вместо возврата к устойчивости предлагает идентификацию с самим темпоральным потоком. Эта политика состоит в отказе от всякой идентичности, но не в пользу «парящего в пустоте субъекта», а в пользу поиска все новых идентичностей в качестве еще одного, пусть и столь же неустойчивого, основания для сообщества. Согласно Нанси, этот совместный поиск снимает вопрос о его направлении, а также о критериях адекватности (да и чему?) той или иной идентичности, поскольку в конечном счете основанием сообщества является само это движение, которое Нанси описывает в терминах литературы: как обмен произведениями, не имеющий цели, но служащий основой единства сообщества авторов.

Возможно, однако, иное отношение между субъектом и формальной системой, которое мы находим в книге А. Бадью «Бытие и событие»¹. При этом оказывается возможным использовать неко-

¹ *Badiou Alain. L'être et l'événement. Paris: Édition du seuil, 1988.*

торые результаты исследования формальных теорий из математики. Схему, на которую опирается Нанси, можно рассматривать как пример применения теории моделей к анализу (политической) идентичности. Действительно, мы можем тогда различить формальные теории, выраженные в некотором языке, и их интерпретации, возникающие в результате идентификации субъектов с терминами теории. С точки зрения теории моделей, субъекты являются элементами модельного множества, что означает, что Бадью различает субъектов нумерически, без приписывания им тех или иных дифференцирующих свойств или предикатов. Уже это выводит его за пределы точки зрения Нанси. Нанси мыслит идентичность исходя из языка, точнее говоря, исходя из формальной дифференциальной системы. Субъекты не только впервые различаются лишь в рамках этой системы, но и возникают именно благодаря ей. Говорить о различии субъектов с «нулевой» мерой идентичности, как выражается Бадью¹, в рамках теории Нанси вообще невозможно – субъект, предшествующий мифу, немислим.

При этом Бадью интерпретирует теорию множеств как онтологию или теорию «сущего, поскольку оно сущее», то есть того, что значит быть вообще. Единственным «свойством» сущего оказывается множественность, которую он интерпретирует в терминах основного отношения теории множеств: *быть* означает быть элементом некоторого множества. Разумеется, Бадью приходится упрощать ситуацию, ограничиваясь только одним языком – языком логики первого порядка. Однако это позволяет ему использовать совсем нетривиальные математические результаты, касающиеся отношения теории и ее интерпретации. Важнейшие из них связаны с понятием вынуждения, разработанного Полом Коэном². Метод вынуждения – это метод построения моделей теории множеств, в которых истинны те или иные заранее заданные утверждения. Сам Коэн использует его, например, для доказательства независимости некоторых аксиом теории множеств от других ее аксиом: если мы сможем построить две модели теории множеств, в которых некото-

¹ *Badiou Alain*. Theoretical Writings. London; N.-Y.: Continuum, 2004. P. 233.

² *Коэн П.* Теория множеств и континуум-гипотеза / Пер. с англ. А.С. Есенина-Вольпина. М.: Мир, 1969.

рая аксиома будет истинна и ложна, то данная аксиома независима от аксиом теории множеств. Таким способом Коэн доказывает, например, независимость аксиомы выбора. Нам, однако, интересны не эти математические приложения, а то, какую интерпретацию дает методу вынуждения Бадью.

Сам по себе метод схематически выглядит так. Мы начинаем со стандартной модели теории множеств и набираем в ее модельном множестве особое подмножество, которое Коэн называет генерическим, родовым или общим (*generic*). Это множество не должно само быть элементом исходной модели, и Коэн показывает, что это всегда возможно. Затем генерическое множество присоединяется к исходной модели в качестве элемента. В результате мы получаем новую модель с другими свойствами. Оказывается, что подходящим выбором генерического множества можно обеспечить истинность заранее данных утверждений (например аксиомы выбора) в новой модели. Точнее говоря, существует прямая связь между принадлежностью тех или иных элементов генерическому множеству и истинностью соответствующих утверждений в новой модели: из того, что такой-то элемент принадлежит генерическому множеству, следует, что в расширенной модели истинно такое-то утверждение. Именно эту связь Коэн называет вынуждением или форсингом (*forcing*): отбор объекта в качестве элемента генерического множества вынуждает истинность определенного утверждения в расширенной модели.

Важнейшим для наших целей свойством генерического множества является то, что его элементы не имеют никакого общего признака. Оно построено так, что для любого элемента, обладающего любым наперед заданным признаком, всегда найдется элемент, обладающий противоположным признаком. Не существует свойства или понятия, объемом которого являлось бы генерическое множество. Оно не описывается языком нашей формальной структуры и поэтому может быть образовано исключительно прямым отбором элементов.

Именно эта особенность генерического множества позволит нам вернуться, наконец, к постмодернистскому политическому субъекту. Для Бадью генерическое множество соответствует выходу на политическую сцену субъекта, который не описывается сред-

ствами текущего политического режима или дискурса. Это люди, которые с позиций данного режима просто не существуют. Тем не менее, они обладают общностью, пусть понятийно и не ухватываемой. Они не только имеют имя, но и утверждают нечто о мире, в котором признаются как группа (в расширенном мире), несмотря на то, что значение их имени полностью не известно. Понятие вынуждения, устанавливающее связь между локальным фактом (принадлежностью элемента генерическому множеству) и глобальным утверждением (истинным для модели в целом), показывает, что они вправе это делать.

Парадигмальным примером для Бадью является христианство, которое он рассматривает прежде всего как политическое образование. Никогда до конца не известно, что означает быть христианином, каждая новая ситуация требует решения относительно того, кто им является и кто не является. Тем не менее, субъект вправе делать утверждения о грядущем христианском мире, в котором понятие христианина станет полностью определенным. Решения о принадлежности поступков или событий христианскому образу жизни подтверждают истинность таких утверждений.

Мы видим, что субъект у Бадью не сводится к эффекту дифференциальной системы означающих. Его явление, конечно, невозможно без этой системы, но оно также предполагает множество, предшествующее языку. Хотя идентичность такого субъекта невыразима языком политического дискурса, она от этого не становится менее реальной. Более того, выступая от имени группы, добиваясь признания группы как полноправного элемента политической системы, такой субъект трансформирует мир, оказываясь двигателем политического процесса.

Теория Бадью также предполагает иной тип идентификации, не основывающейся ни на свойствах, ни на отношениях, выражаемых языком. Единственный способ ее «описания» состоит в простом перечислении входящих в нее элементов. Субъект у Бадью основывается на решениях относительно принадлежности того или иного явления, события, индивида к генерическому множеству. Напротив, у Нанси идентичность прямо связана с языком и никакая другая идентичность невозможна. Именно эта зависимость от языка и позволяет Нанси говорить о рождении субъекта в самом собы-

тии установления дифференциальной системы означающих и об отсутствии субъекта прежде этого события. Нанси, скорее, делает ставку на, так сказать, текучую идентичность, на постоянный отказ от имеющейся идентичности, который он называет прерыванием мифа.

Это, в частности, означает, что субъект у Бадью обладает имманентной конечностью, не связанной с темпоральностью. Структура этого субъекта такова, что он выходит за пределы всякого сформулированного утверждения об его идентичности. С точки зрения математики, это свойство субъекта связано с невозможностью фиксировать множество подмножеств модели средствами формальной теории – выбор подмножества не подчиняется языку и зависит от выбора субъекта. При этом, будучи произведен, этот выбор может изменять некоторые глобальные свойства модели, такие как мощности тех или иных множеств. Таким образом, эти свойства оказывается невозможно фиксировать средствами языка теории, поскольку они зависят от произвольного субъективного выбора.

Итак, какой вывод мы можем сделать относительно политик субъектности и гражданства с точки зрения теории субъекта Бадью? Прежде всего можно согласиться, что исходить следует из существования некоторой формальной (политической или социальной) дифференциальной системы означающих, а также с тем, что отношение субъекта с ней не строится по схеме означающего-означаемого. Однако это отношение различно у Нанси и Бадью. У Нанси субъект конституируется дифференциальной системой и либо сводится к ее системе отношений (пустота гражданства), либо интернализирует ее (субстанциальность субъектности). Единственный выход из этой дилеммы предоставляет время как постоянный переход от стабильности к нестабильности. При этом субъект исчезает в потоке, который сам по себе не имеет ни устойчивости, ни направления. Мы видим, однако, что как дилемма, так и выход из нее являются следствием упрощенного понимания отношений субъекта с формальной системой. Субъект, избегая двух указанных Нанси альтернатив, обладает, тем не менее, устойчивостью, которая, однако, основывается не на языке или сущности, а на субъективном решении и верности этому решению.

§ 4. ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ К ИМПЕРИИ: ПРИРОДА, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Сакральное отношение к некоторым политическим ценностям в определенных случаях по-прежнему способствует сохранению ряда «табу» в российской политической науке. В настоящее время проблемы распада империи или державы (далее будет обособлено определенное тождество данных понятий применительно к российским реалиям) настолько актуальны в контексте идейно-политических исканий в современном российском обществе, что сама постановка темы постимперской адаптации в любом ее варианте не может не вызвать в ряде случаев болезненно-обостренной реакции протеста. Причиной служит то, что воспринимается она как подразумевающая сохранение в дальнейшем нынешнего статуса страны, отказ от борьбы за «возрождение державы». Констатация же возможности дальнейшего развития процессов дезинтеграции зачастую рассматривается как призыв к подобному развитию событий с немедленным навешиванием соответствующих политических ярлыков. Характерно, что некоторые принадлежащие к ученому сообществу авторы по сей день открыто и категорично утверждают, что при рассмотрении проблемы империи в нашей стране «потребно хладнокровие, однако с сердцем сопряженное»¹, таким образом, фактически отказываясь в данном случае от принципа научной объективности.

В первой половине 1990-х гг. инициаторы дискуссий на имперские темы на страницах российских журналов задавались, правда больше уже для вида, вопросом: «Можем ли мы, находясь *внутри* того, что так недавно не без оснований называлось империей, адекватно воспринимать эту систему?»² Иногда подобные оговорки

¹ *Осипов Ю.М.* В нас, над нами, впереди нас... Мерцающие контуры российской государственности // Независимая газета, 2001. 7 июня.

² *Олейников Д., Филитпова Т.* Мы – в Империи. Империя – в нас // Родина, 1995. № 1. С. 37.

можно было услышать и десятилетие спустя. Однако ни для кого из желающих действительно подступить к имперской теме такие соображения, как представляется, не послужили препятствием. Поэтому вполне закономерно, что большинство публикаций на данную тему российских авторов и людей, с Россией связанных, несет на себе отпечаток не столько политической конъюнктуры (хотя, безусловно, и это имеет место), сколько полемического запала, не позволяющего объективно рассматривать те или иные феномены и процессы. Категоричные полярные оценки в таких условиях встречаются значительно чаще, нежели взвешенные суждения. В результате даже при условии широкой эрудиции автора большинство выводов оказываются однобокими, поверхностными и легко уязвимыми для серьезной критики. Наука в таких случаях зачастую вырождается в довольно слабую политическую публицистику, в то время как публицистика в своих лучших образцах поднимается до высот науки. Недаром грань между ученым-политологом и политическим публицистом в сегодняшней России часто трудно различима.

Сразу оговоримся, что «империя», с нашей точки зрения, представляет собой прежде всего историческую и политологическую категорию, определяющую один из типов государственных образований, характерные черты которого:

- потенциал, соответствующий «великой державе», выявляемый путем сопоставления с другими государствами;
- гетерогенная природа данного образования;
- организация данного образования по типу отношений «центр-периферия», при котором все компоненты находятся в более или менее жесткой зависимости от «центра», причем именно «центр» определяет права «владений» (всех вместе и каждого из них), а не наоборот¹.

СССР, таким образом, точно так же, как и Царская держава, и гитлеровский Рейх, как господствовавшие над колониями европей-

¹ Подробнее см.: *Подвицнев О.Б.* Сложности постимперской адаптации консервативного сознания: постановка проблемы и опыт классификации // ПОЛИС («Политические исследования»), 1999. № 3. С. 52-61; *Он же.* Постимперские проблемы и геополитический выбор России // Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Ядова. М.: Флинта: МПСИ, 2005. С. 474-504.

ские страны, и владения Габсбургов, как США, по крайней мере в определенные периоды своего существования, как государственная система, созданная Наполеоном, и еще множество других существовавших и, возможно, существующих государств подпадает под это определение.

Имперский тип государственных образований слишком значим и сложен, создается с огромными затратами, чрезвычайно многообразен в результатах своего функционирования и неизбежно глубоко затрагивает самые сильные политические инстинкты – патриотизм, стремление к независимости, чувство превосходства и т.д. Поэтому «империя» как таковая редко вызывает взвешенно-нейтральное отношение к себе и в массовом, обывательском сознании, и среди интеллектуалов. Характерным является ценностно-окрашенное полярное отношение к ней. При этом многообразный круг известных истории имперских феноменов неизбежно сужается до «обожаемых» («обожаемого») или «ненавистных» («ненавистного»).

В то же время аргументация «за» и «против» империи достаточно стандартна.

Какое-то примитивное идеологическое обоснование экспансионистской политики сопровождало процесс строительства империй с очень давних времен. Достаточно вспомнить крестовые походы, газават, теорию «Москва – третий Рим» и т.п. Однако при этом надо было доказать тем, кто населял историческое ядро будущей империи, необходимость и/или желательность экспансии, показать ее конкретную выгоду.

В свое время отечественная исследовательница М.М. Яброва провела анализ английской литературы XVI–XVII вв. (времен зарождения империи), пропагандирующей колониальные захваты. В результате она пришла к вполне обоснованному выводу, что авторы данного периода, выдвигая идею экспансии, «приводили массу аргументов ... вполне материальных и осязаемых и только на основе этого говорили о “славе нации”, “величии короля” и т.д.». Среди таких аргументов – экономическая выгода, включая захват богатств и сокровищ, возможность удаления с Британских островов «избыточного» населения, необхо-

димось противостоять Испании, которая уже обзавелась обширными владениями за морем¹.

Задача оппонентов при таком подходе к обоснованию начала имперской экспансии либо более позднего периода, необходимости поддержания и сохранения империи, предельно ясна – доказать ненужность и вредность имперского бремени для страны-метрополии, титульной нации и всех тех сил, к которым обращаются апологеты. В этой плоскости спор, таким образом, сводится к попыткам соотнести выгоды и потери лишь одной стороны – той, которая ассоциируется с имперским «центром», а точкой отсчета и единственным критерием служат «национальные интересы». Заинтересованность в империи определяется и материальными (благополучие, стабильность), и духовными («величие», «статус») факторами. Теми же по сути факторами, но в иной трактовке, обуславливается и противоположная позиция. И та, и другая сторона апеллируют в данном случае к реально существующим в обществе настроениям. Энтузиазм и скепсис неизбежно идут в этом отношении рука об руку. Мысль о том, что отказ от империи представляет собой благо для метрополии и господствующей нации, имеет хождение даже во времена имперского бума.

Успех экспансии быстро убеждает большую часть скептиков. Однако при малейших серьезных трудностях в управлении империей (а они возникают неизбежно) среди определенной части населения метрополии вновь распространяются настроения в пользу изоляции от своих собственных владений и связанных с ними проблем. Бернард Шоу еще в начале нашего века позаботился о том, чтобы с иронией отобразить подобную «узконационалистическую» позицию. В его пьесе «Другой остров Джона Буля» англичанин, обращаясь к ирландцу, желающему свободы и справедливости для своей родины, произносит такую тираду: «Я, видишь ли, хочу, чтобы и моей стране тоже уделили, наконец, хоть капелючку внимания. А этого не будет, пока ваша кампания галдит в Вестминстере, словно только и есть на свете, что ваши драгоценные персоны...

¹ *Яброва М.М.* Очерки истории колониальной экспансии Англии в эпоху первоначального накопления. Саратов, 1966. С. 19.

Хватит! Отчаливайте! Подарить бы вас Германии, чтобы у кайзера хлопот стало выше головы. А старушка Англия занялась бы, наконец, своими собственными делами. Вот вам!».

Идея пользы в немалой степени лежала в основе концепции «национального государства», выдвинутого французской революцией. Стремясь поднять ту или иную подвластную нацию на борьбу против имперского «центра», внешние или внутренние противники конкретной империи зачастую также апеллировали к понятиям «интерес» и «польза». Примером может служить выдержка из обращения Наполеона к венграм в 1809 г.: «Союз ваш с Австрией сделался вашим несчастьем. Вы проливали кровь за нее в чужих странах, а дорогие вам интересы постоянно приносились в жертву интересам наследственных земель. Венгрия составляет самую лучшую часть ее империи, но она считается не более как простой провинцией ее, всегда подчиненная вожделениям, ей чуждым»¹.

Однако в условиях, приближенных к современности, на этапе распада империй, спор о «выгоде» и «невыгоде» империи для «титальной» нации и для прочих населяющих ее народов, для «центра» и для «периферии» в основном носил уже односторонний характер. Противники империи активно старались убедить ее нацию в том, что распад созданного ею образования будет благом для нее же самой. Но сторонники империи к настоящему времени обычно избегают аргументации, связанной с открытым обоснованием корыстной национальной пользы, прибегая к более изощренной системе доказательства своей позиции.

О формировании развитой системы проимперской аргументации можно говорить лишь применительно к XIX в. и особенно к XX в., то есть к той эпохе, когда для необходимости сохранения, развития либо восстановления какой-либо из империй, стало особенно важно обосновать сам принцип такой организации общества, его полезность не только для метрополии, но и для народов, населяющих ее колонии и провинции, а также для всего человечества в целом. Параллельно и, очевидно, с некоторым опережением шел

¹ Цит. по: *Борецкий-Бергфельд Н.* История Венгрии в Средние века и Новое время. СПб., 1908. С. 181.

процесс формирования и противоположной, антиимперской системы аргументации. «Литература по империализму возникла тогда, – пишет известный американский историк А.М. Шлезингер, – когда демократизация внешней политики сделала для политиков необходимым, а для интеллектуалов возможным представить на суд избирателей свои соображения в пользу или против экспансии»¹.

С нашей точки зрения, все многообразие доводов и аргументов к которым прибегали с этой целью «империалисты» разных стран, можно свести к трем основным группам.

1. *Империя как гарант безопасности и мира*. Наиболее распространенное положение – имперское владычество и имперская мощь – избавляют покоренные народы и соседние страны от постоянных набегов и вторжений противника, от завоевания более страшным врагом и полного уничтожения.

Разновидностью данной аргументации является также обобщение тезиса «*империи служат делу мира*». С одной стороны, речь идет о предотвращении «центром», имперской государственной машиной конфликтов, прежде всего вооруженных, между населяющими империю народами, различными компонентами имперской периферии. Рассказы о том, как включение тех или иных земель в состав империи способствовало прекращению на них усобиц, входят в школьные учебники, наверное, всех стран мира, переживших имперскую стадию развития.

С этих позиций апологетами империй обычно подвергается критике тезис о праве наций на самоопределение. Яркий образец подобного рода рассуждений содержится в работе российского монархиста-державника, бывшего черносотенца И. Солоневича, бежавшего из СССР в 1930-е гг. «“Империя – это мир”, – пишет Солоневич. – Внутренний национальный мир. Территория Рима до империи была наполнена войной всех против всех. Территория Германии до Бисмарка была наполнена феодальными междунемецкими войнами. На территории империи Российской были прекращены всякие междунациональные войны, и все народы страны смогли жить и работать в любом ее конце»².

¹ Шлезингер-младший А.М. Циклы американской истории. М., 1992. С. 174.

² Солоневич И. Народная монархия. Минск, 1998. С. 14.

В современных условиях тот же тезис развивает, например, автор одного из читательских писем журнала «Дружба народов»: «...империя – это мир. Право же наций на самоопределение – это бесконечная война. Потому что нации живут не в четко очерченных границах, а иногда, как в Боснии, и попеременно. И вообще в мире существует несколько тысяч языков, а государств – менее двухсот. Могут ли все народы образовать независимые государства?»¹ «Наши американские партнеры и их отечественные единомышленники не устают говорить о зловещем возрождении русского империализма... На антиимпериалистические речи какого-нибудь сенатора Лугара только и остается ответить: “О, если бы!” Ибо империя – это мир, а имперская политика – это прежде всего принуждение разноплеменных народов к миру, то есть к безусловному соблюдению общих для империи правил совместного проживания», – писал, откликаясь на межнациональные столкновения в Кондопоге, публицист Максим Соколов².

Затрагивается и сфера межгосударственных отношений. Известен тезис о том, что глобальные катастрофические последствия столкновений великих держав сдерживают возникновение таких столкновений. Кроме того, согласовать интересы нескольких крупных государств легче, чем множества мелких. Компромисс при желании здесь может быть найден быстрее. В. Шульгин, один из столпов дореволюционной российской имперской идеологии и политики, в конце концов примирившийся с возрождением империи в новом, советском варианте, писал по этому поводу: «Мир при всех своих заблуждениях ищет единства. Ибо только единство может спасти земной шар от самоубийственных распрей. В этом смысл создания великих империй. Всякому ясно, что несколько огромных кусков земли легче придут к соглашению, чем бесчисленное количество мелких лоскутов»³.

Российский историк В. Мохнач обобщал исторический опыт: «...западнохристианская империя и восточнохристианская с прием-

¹ *Негретов П.* Мелкодержавный национализм (письмо читателя) / Дружба народов, 1995. № 12. С. 186.

² *Соколов М.* Империя – это мир // <http://www.izvestia.ru/sokolov/article3096248/> (проверено 1.10.2008 г.).

³ *Шульгин В.В.* Три столицы. М., 1991. С. 378.

ствующей ей Россией лучше выполняли функцию примирителя и восстановителя равновесия в мире, чем это делали Лига Наций между мировыми войнами и Организация Объединенных наций»¹.

Те же по сути аргументы приводили и британские «империалисты». Дж. Чемберлен в свое время утверждал: «Великим империям принадлежит будущее, а второстепенные государства, которые не прогрессируют, по-видимому, обречены на подчиненное положение. Такова характерная черта и преобладающая тенденция современной эпохи»². Сесиль Родс полагал, что целью Британской экспансии является «создание, наконец, настолько могущественной державы, что она сделает войны невозможными и поможет осуществлению лучших чаяний человечества»³. Наконец Я.Х. Смутс также считал, что «прошли времена малых независимых государств»⁴, что они не могут обеспечить безопасность и процветание населяющих их народов и неизбежно будут служить «яблоком раздора» для великих держав. Он сумел, как известно, подвести под этот тезис солидное теоретическое обоснование – философское учение, получившее название «холизма». Примеры подобного рода можно продолжить.

2. *Созидающая роль империй*. Имеется в виду способность империй аккумулировать огромные ресурсы и средства, необходимые для осуществления грандиозных по своим масштабам проектов. Тезис о «возможности великих свершений» играет не менее важную роль в идеологическом обосновании существования империи, чем тезис об их миротворческой миссии. Перечислением «великих строек» той или иной империи полны апологетические труды и выступления в их защиту. Ранее речь шла только о прокладке путей сообщения, линий связи, возведении имперских столиц и т.п. В новейшее время к этому добавилось осуществление особо доро-

¹ Мохнач В. Бремя Третьего Рима. Родина, 1995. № 9. С. 31.

² Цит. по: Узнардов И.М. Джозеф Чемберлен – радикал-империалист / Викторянцы: Столпы британской политики XIX века. Ростов н/Д., 1996. С. 152.

³ Цит. по: Давидсон А. Сесил Родс – строитель империи. М.; Смоленск, 1889. С. 56-57.

⁴ Smuts J.C. Plans for a Better World. L., 1942. P. 277.

гостоящих и амбициозных научно-технических начинаний (например полетов в космос). «Может ли империя созидать? – вопрошает публицист Юрий Осипов – Тогда кто же в России что-либо великое созидал, если не империя?»¹.

3. **Цивилизаторская миссия империй.** Естественно, что тезис о «цивилизаторской миссии» империи предполагает принадлежность ее метрополии к более высокоразвитой или просто в чем-то лучше устроенной цивилизации. Все прочие же, составляющие империю страны, а также, и особенно, населяющие ее народы, выстраиваются в той или иной иерархии. В отношении одного и того же народа идеологи одной и той же империи, живущие в один и тот же период времени, могут весьма существенно расходиться во взглядах. Однако сам принцип иерархии наций является неотъемлемой частью имперского подхода как такового. С этой стороны концепция «цивилизаторской миссии» стыкуется с той частью проимперской аргументации, которая согласовывает существование и развитие империи с неизбежным эгоизмом господствующей в ней нации. Деятельность во благо цивилизации и извлечение метрополией банальной и очевидной выгоды для себя самой, могут рассматриваться как дополняющие друг друга компоненты, две стороны одной и той же политики. Это, в частности, нашло воплощение в концепции «двойного мандата» Ф. Лугарда. Согласно ей, один «мандат» на управление колониями вручает британскому правительству долг перед собственным народом, другой – долг перед развитием и распространением цивилизации².

В современную эпоху, когда соображений практической выгоды для метрополии в большинстве случаев, как уже отмечалось, стали стыдиться, а «цивилизаторской миссии» уделять все больше внимания, роль проводника цивилизации отводили уже не метрополии, а всей империи в целом. Соответственно, тезис о «приобщении к более высокой культуре» господствующей нации стал вытеснять тезис о «вхождении в братскую семью народов». Стремясь

¹ Осипов Ю. В нас, над нами, впереди нас... Мерцающие контуры российской государственности ...

² См. об этом: Глуценко Е.А. Ф. Лугард, его критики и последователи // Африка: колониальное общество и политика. М., 1993. С. 62-109.

избежать все усиливающихся обвинений в унифицирующей роли, сторонники империи начали утверждать, что «цивилизаторская миссия» в основном сводится к стремлению помочь отсталым народам быстрее идти своим собственным путем.

В развитой системе проимперской аргументации компонент, связанный с обоснованием «цивилизаторской миссии», наиболее важен. Если два предыдущих рассмотренных компонента напрямую слабо связаны между собой, то этот, наоборот, тесным образом стыкуется с ними обоими. Действительно, недопущение междоусобных войн на присоединенных к империи и колонизируемых территориях, а также защита их населения от агрессии извне, почти всегда фигурирует в качестве одного из важнейших показателей привнесения сюда цивилизации. С другой стороны, осуществляемые в рамках империй крупные экономические проекты (прокладка транспортных магистралей и линий связи, создание новых промышленных зон и т.п.) в основном связаны именно с процессом освоения прежде малонаселенных или слабо развитых территорий, а также способствуют ломке барьеров, мешавших ранее установлению тесных контактов между различными сообществами, а следовательно и взаимообогащению культур. Однако все это, конечно же, не исчерпывает содержания «цивилизаторской миссии», точно так же как и значимость двух других аргументов.

Таким образом, концепция «цивилизаторской миссии» не только тесно связана с двумя другими компонентами системы проимперской аргументации, но и выполняет роль мостика между теми из них, которые не соединены напрямую. Отсюда следует, на наш взгляд, что ее положение в данной системе является центральным. В этом отношении можно согласиться с тезисом А.М. Шлезингера о том, что утверждение о цивилизаторской миссии – суть апологии империализма¹.

Необходимо признать, что все аргументы «империалистов» имеют под собой объективную основу. Конечно, приведенные выше суждения Солоневича в отношении истории России и Германии не вполне соответствуют действительности. Однако формирование империй действительно приводит к прекращению многих воору-

¹ Шлезингер-младший А.М. Циклы американской истории ... С.174.

женных конфликтов. А. Тойнби констатировал, в частности: «Когда местные государства пожирают одно другое, проливая моря крови, когда жестокость и нетерпимость становятся общественными добродетелями, универсальные государства возникают, чтобы остановить войны и заменить кровопролитие кооперацией»¹. «Империализм разделяет и порождает мировую войну. Но он же объединяет человечество, приводит его к единству», – полагал Н.А. Бердяев². Эпоха, наступившая после второй мировой войны, когда термина «великая держава» оказалось уже недостаточно для оценки той мощи и влияния, которыми обладали США и Советский Союз, возникло понятие «супердержава». Это имело немало доказательств, что соперничество данных государств порождало определенную стабильность в мировых делах и служило сдерживающим фактором для развития локальных конфликтов. В. Дегоев, например, пишет о «беспрецедентной стабильности в мире, поддерживаемой за счет биполярной системы, силового паритета, раздела сфер влияния, четких правил глобальной игры в конфронтацию и сотрудничество»³. Так это или иначе, но в истории цивилизованной Европы, включая и «пороховую бочку» Балкан, время с 1945 г. по 1990 г. – действительно не имеющий пока аналогов по своей продолжительности мирный период.

Вполне реальные и материально ощутимы результаты созидательной деятельности империй, будь то система орошения на Ближнем Востоке или полеты в космос, Суэцкий канал или Великая китайская стена, египетские пирамиды или транссибирская магистраль. Осуществление подобных начинаний связано как с ображениями престижа (империи стремятся создать материальное воплощение своего величия), так и с потребностями экономического развития, геополитическими и военно-стратегическими интересами. Российский историк Ю.Е. Березкин, пытавшийся на основе империи Инков заклеймить имперский феномен как таковой, тем не менее признает, что «сама по себе возможность концентрации ресурсов приводила в отдельных случаях к созданию выдающихся

¹ Тойнби А. Постигание истории. М., 1991. С. 500.

² Бердяев Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и национализма. М., 1989. С. 100.

³ Дегоев В. Самоослепление // Политический журнал, 2006. № 45/46. С. 5.

культурных ценностей, впечатляющих памятников человеческого творчества и труда». При этом он, правда, оговаривается, что творения эти сводятся к «гробницам правителей», «имперским столицам» и «магистральным путям сообщения»¹. В любом случае, однако, результат имеет тот или иной смысл для всего человечества.

Реальную основу имеет под собой и «цивилизаторская» аргументация. Тот же А.М. Шлезингер констатирует, что «цивилизаторская миссия не абсолютно пустая выдумка»². Действительно, объединение в рамках одного обширного государственного образования народов, имеющих разную историю, культуру и находящихся на разных ступенях развития цивилизации, уже само по себе создает объективные предпосылки для их сближения и выравнивания. При этом чаще менее развитые народы «подтягиваются» к более развитым, чем наоборот. Неудивительно, что «свое убедительное толкование цивилизаторской миссии», как отмечает Шлезингер, выдвинул даже Карл Маркс³. Осуществление цивилизаторской миссии в данном отношении, безусловно, было свойственно и Царской России, и СССР. Как отмечает политолог Д. Орешкин, «империя строила на Кавказе то, что было не под силу Шамиллю, – железные дороги, нефтяные прииски, города, создавала систему здравоохранения и образования, посылала учителей, инженеров, врачей»⁴.

Таким образом, речь по сути идет о трех реально выполняемых империями позитивных функциях. Причем значимость этих функций может быть осознана как многочисленными современниками, так и в исторической ретроспективе. Более того, нельзя пока с полной уверенностью утверждать, что сейчас с этими функциями успешно справляется мировое сообщество (в том виде, в каком оно сформировалось), какие-либо международные организации или что-либо еще. Именно поэтому аргументацию «империалистов» до настоящего времени невозможно ни полностью опровергнуть, ни отбросить в сторону.

¹ Березкин Ю.Е. Инки. Исторический опыт империи. М., 1991. С. 210.

² Шлезингер-младший А.М. Циклы американской истории ... С. 174.

³ Там же. С. 175.

⁴ Орешкин Д. Последний боец империи / Московские новости, 2005. 30 сент. – 6 окт.

Однако и аргументацию противников империи тоже пока никто еще не смог опровергнуть с достаточной долей убедительности. Причем подвергаемые критике пороки имперской формы политической организации общества фактически представляют собой ни что иное, как оборотную сторону ее достоинств. Во многом это проблема цены, которую приходится платить за имперские достижения.

Империям ставят в вину:

1. *Неизбежно насильственный характер экспансии и чрезвычайно разрушительные последствия империалистических войн, если таковые все-таки развязываются.*

2. *Бюрократизацию управления, элементы паразитизма со стороны «центра», неэффективное и волюнтаристское использование аккумулируемых ресурсов, ведущее зачастую к их разбазариванию.*

3. *Национальный, расовый и прочий гнет, тенденции к всеобъемлющей унификации, уничтожающей неповторимое своеобразие, традиции и культуру народов.*

Именно последний тезис занимает главное место в данной системе аргументов и симметричен по отношению к «цивилизаторской миссии», являясь ее зеркальным отражением. Яркий пример критики «цивилизаторской миссии» дал Г.К. Честертон. Герой его «Ноттингхилльского Наполеона», низвергнутый президент стертого с политической карты Никарагуа, отвечает своему оппоненту: «Провозглашая объединение народов, вы на самом деле хотите, чтобы они все как один переняли бы ваши обыкновения и утратили свои». И далее: «Вы действительно полагаете, будто эскимосы научатся избирать местные советы, а вы тем временем научитесь гарпунить моржей?» (Перевод Муравьева В. – *О.П.*). Вероятно, любой современный антиглобалист подписался бы под этими высказываниями.

Не в состоянии парировать обвинения в унифицированном смысле, апологеты империй стихийно научились перехватывать у своих оппонентов довод о недопустимости разрушения всякого неповторимого своеобразия и использовать его в своих целях. Каждая империя, как и любой другой сложный, исторически сложившийся социальный организм, имеет свои собственные традиции, обычаи, культуру, свои уникальные институты и свой непо-

вторимый опыт. Как уже отмечалось, она не может быть сведена к простой сумме составивших ее стран и народов.

Впрочем, в большинстве случаев речь ведется не столько о неповторимом своеобразии, присущем каждой из империй, сколько о якобы уникальном характере одной конкретной – той, которая ближе всего пишущему о ней автору. Заодно, как правило, отбрасывается весь комплекс общей антиимперской аргументации: к данному исключительному случаю он, якобы, не может быть применен.

Интересно, что уникальность «своих» империй их апологеты зачастую видят в одном и том же. Противопоставляя «свою» всем прочим, защитники одной империи наделяют ее теми же чертами, что и защитники другой. Весьма распространена, например, версия о «преимущественно мирном», в отличие от других империй, пути образования той или иной державы. Великое множество раз этот тезис применялся к истории России. Приведем типичное утверждение такого рода, взятое из статьи Э. Володина в газете «Литературная Россия»: «Империи создаются путем присоединения, захвата, завоевания земель, государств, народов (особый случай США, продельвавшие все это вместе, но еще и объявившие весь мир сферой своих жизненных интересов). В истории России наблюдается один постоянный процесс – добровольное вхождение, добровольное присоединение национальных общностей, не имеющих государственности, и государственных образований, стремившихся сохранить свою этническую основу перед угрозой национального геноцида....»¹. Даже либерально настроенные и хорошо эрудированные исследователи первоначально весьма осторожно полемизировали с подобного рода позицией. И.К. Пантин, например, в ходе дискуссии 1992 г. высказался по поводу одного из таких рассуждений следующим образом: «Россия была империей. Свообразной, оригинальной, но империей»².

Но фактически тот же тезис о добровольном присоединении подвластных народов выдвигался и в отношении Британской импе-

¹ Цит. по: Несостоявшийся юбилей: Почему СССР не отпраздновал своего 70-летия. М., 1992. С. 421.

² Национальное государство: теория, история, политическая практика // ПОЛИС, 1992. № 5-6. С. 29.

рии. Рассказывая историю становления французской колониальной империи, благожелательно настроенные к ней авторы также стремились подчеркнуть, что в отличие от представителей других держав французы-первопроходцы устанавливали владычество своей страны на новых землях «мирными средствами», «так сказать, без боев и без денежных расходов»¹. Если верить позиции официальной австро-венгерской историографии, то и Габсбурги при строительстве своей державы руководствовались девизом: «Пусть другие ведут войны, а ты, счастливая Австрия, заключай браки»².

Столь же часто выдвигается утверждение об «особом» характере колонизации, освоения присоединенных территорий. С точки зрения генерала Смэтса, британские политические лидеры вовсе не стремились «стандартизировать» подвластные им народы. Напротив, они хотели «продвинуть их дальше и больше по пути национального своеобразия». Все прочие же империи, включая США, утверждал он, имели в своей основе идею ассимиляции³.

Насколько могут разниться мнения на этот счет, на наш взгляд, можно хорошо проиллюстрировать двумя цитатами, взятыми из произведений, вышедших в свет почти одновременно (в 1992–1993 гг.) и трактующих один и тот же процесс – освоение русскими территорий угро-финских народов, то есть самый ранний этап становления Российской Империи. С точки зрения Ю.Г. Алексеева, явно придерживающегося державнической позиции, русская колонизация «не знала ни истребления покоренных народов, ни изгнания их с исконной территории, ни превращения их в рабов, ни насильственного разрушения их хозяйственного уклада, ни принудительной языковой и культурной ассимиляции»⁴. Как будто отвечая ему, марийский историк В.С. Патрушев, столь же явно склонный к другой позиции – национал-сепаратистской – пишет: «Теория мирной ассимиляции наиболее удобна для оправдания великорусской нации. Ведь любой порядочный человек при мысли о том,

¹ См. об этом: *Субботин В.А.* Колонии Франции в 1870–1918 гг. Тропическая Африка и острова Тихого океана. М., 1973. С. 15.

² *Балакин В.Д.* Тысячелетие Австрии // Вопросы истории, 1997. № 2. С. 158.

³ *Smuts J.C.* Plans for a Better World ... P. 39.

⁴ *Алексеев Ю.Г.* Государь вся Русь. Новосибирск, 1991. С. 85.

сколько людей и народов исчезли с лица земли по вине своего народа, должен почувствовать моральную ответственность за свой народ»¹. Характерно, что эти авторы придерживаются и противоположных точек зрения и на соотношение уровней развития русского и финского народов в период колонизации. Следует отметить, что Патрушев (как и Алексеев) далеко не одинок в своих оценках. Так, заместитель председателя Всемарийского Совета В. Яналов утверждал: «Нашествие славянских племен с Дона и Днепра на северо-восток континента ... застало финно-угорские народы на стадии формирования государственности, так что усилившаяся Московская Русь в XV–XVI веках встретила на востоке сопротивление отнюдь не диких финно-угров. Они имели укрепленные города и хорошо организованные многотысячные военные формирования, руководимые опытными предводителями – князьями, знали ремесленные искусства, кузнечное, торговое и военное дело. Огнем и мечом пришлось присоединять эти мятежные земли. ... Последующие три века в составе Российской империи не дали возможности восточным финно-угорским народам достичь заметного прогресса в национальном развитии»². В учебнике истории для марийских школьников говорится: «Царизм с самого начала проводил по отношению к марийцам политику национально-колониального гнета. Более того, само их присоединение сопровождалось неслыханными жесткостями по отношению к местному (как к мятежному, так и к мирному) населению»³.

Одним из распространенных мифов, связанных с имперским строительством, является миф о «добровольном вхождении» тех или иных народов и государств в состав империи. Как правило, он основывается на апологизации того или иного эпизода в истории взаимоотношений между имперской системой и соответствующим народом или государством. Зеркальным его отражением служит противоположный миф о том, что все население того или иного

¹ Патрушев В.С. Финно-угры России (II тыс. до н.э. – начало II тыс. н.э.). Йошкар-Ола, 1992. С. 181.

² Яналов В. Финно-угорский мир на пороге XXI века // Дружба народов, 1999, № 1. С. 172.

³ Иванов А.Г., Сануков К.Н. История марийского народа. Йошкар-Ола, 1999. С. 24.

имперского владения всегда изо всех сил стремилось к выходу из имперской системы. На самом деле в имперской истории очень редко встречается как то, так и другое.

Уникальность империи часто видят в ее особом «свободном» устройстве. В «Краткой истории США», подготовленной правительственным агентством информации Соединенных штатов (ЮСИА) говорится в связи с экспансией на рубеже XIX–XX вв.: «Будучи, однако, страной, которая на протяжении своей истории сама боролась с империями, и обладая уникальной демократической традицией, Соединенные Штаты проводили иной курс, чем их соперники из Европы. Эти “антиимперские” чувства породили другой тип империи, когда в подвластных США странах либо поощрялось установление демократической формы власти и со временем независимости, либо, как это произошло с Аляской и Гавайскими островами, имело место их добровольное вхождение в союз в качестве штатов»¹.

Но почти то же самое в отношении своей державы утверждал английский историк А. Зиммерн, выступивший в середине 1920-х гг. с концепцией «Третьей Британской империи». Он писал о том, что Британская империя выжила в войне, поскольку в ней заложен жизненный принцип, которого лишены другие империи. И принцип этот, содержащий в себе зерно продления жизни, есть дух свободы. Британская империя живет сегодня потому, что ее институты суть свободные институты. Она выжила как один из стражей свободы во всемирном масштабе². Еще в большей степени «дух свободы», по мнению данного автора, должен был соответствовать новой имперской модели, которая, как он полагал, приходила на смену предшествующим в истории Британии – первой, существовавшей до 1776 г., и второй, кульминационным пунктом развития которой стала первая мировая война.

Преемственность, таким образом, согласно Зиммерну, не отрицала новизны, а наследование былого величия должно было сочетаться с освобождением от прошлых несовершенств. Новому детищу, которое венчало собой предшествующее развитие, должна

¹ Краткая история США. М., 1993. С. 130.

² *Zimmern A. The Third British Empire. L., 1934. P. 1-2.*

была быть уготовлена совершенно особая судьба. В этом смысле характерен прямо-таки сакральный смысл, который идеологи различных империй вкладывали в число «три»: «Третий Рим», «Третий Рейх», с идеей и обоснованием которого А. Мёллер ван ден Брук выступил фактически одновременно с А. Зиммерном. Лозунг «третьей России – народной империи» появился тогда же и в кругах русских эмигрантов-националистов¹. Несколько лет назад автор этих строк высказал предположение, что в новом виде концепция «третьей империи» может возникнуть и в постсоветской России. Данный прогноз довольно быстро сбылся².

Интересно также, что противники той или иной империи тоже могут настаивать на ее уникальности. Происходит это обычно на первом, самом примитивном уровне полемики и связано с опровержением тезиса о выгоде, получаемой от империи создавшим ее народом. Во времена распада СССР и после довольно широко было распространено мнение о нем как о единственном в истории имперском образовании, в котором «метрополия» (под ней, как уже говорилось, чаще всего в таких случаях понимается Россия как таковая) жила хуже «колоний».

Отголоски подобного подхода появлялись и в некоторых серьезных исследованиях, авторы которых как раз и стремились занять максимально объективную и беспристрастную позицию. Так, Л.С. Гатагова, не удержавшись, сорвалась в своей статье на следующий публицистический пассаж: «И если заморские колонии зачастую не приносили метрополиям ожидаемых дивидендов, то и убытков особых не чинили (?! – *О.П.*). Россия же постоянно несла непосильные расходы, не справляясь в сущности с бременем имперства и нивелируя все подневольные народы, в том числе и русский народ, в хронической и беспросветной нужде. В какой еще метрополии уровень жизни коренного этноса был бы сопоставим с

¹ *Дмитриевский С.В.* Сталин: Предтеча национальной революции. М., 2003. С.18. Существуют, правда, достаточные основания предполагать, что автор этой книги, впервые вышедшей в Берлине в 1931 г., был тайным советским агентом-provokatorом.

² См. об этом: *Паин Э.* Россия между империей и нацией // Pro et Contra, 2007. № 3(37), май-июнь. С. 52.

условиями существования жителей колоний?!»¹. Для сравнения можно привести отрывок из рассуждений А.М. Шлезингера о европейском колониализме, возможно тоже содержащий в себе некоторую долю преувеличения: «Был ли империализм выгоден империалистам? Попытка подвести баланс наталкивается на непреодолимые трудности с подсчетом. Некоторые отдельные лица и корпорации получили от империализма большую пользу. С другой стороны, правительства потратили на создание местной администрации, инфраструктуры, обороны и прочие общественные усовершенствования в колониях больше, чем получили взамен. С течением времени соотношение издержек и выгод стало явно не в пользу метрополии»².

В несколько иной плоскости суть уникальности отношений между «центром» и «периферией», якобы характеризовавшей советскую империю, обозначил в одной из передач НТВ Егор Гайдар: «Советская империя была явлением весьма необычным в мировой экономической истории. Метрополии обычно создают сырьевую базу в колониях. В данном случае сама метрополия – Советский Союз – была сырьевой базой для своих восточноевропейских колоний». Само по себе это утверждение соответствует действительности. Однако, с нашей точки зрения, речь в этом отношении должна идти лишь о частном случае, а не о характеристике всей империи в целом. Советский Союз как таковой в немалой степени действительно являлся, или по крайней мере выглядел, огромной «метрополией» для восточноевропейских сателлитов. Но в рамках самого СССР, поставляющие сырье районы – это тоже части имперской периферии.

В своем обличии конкретной империей ее критики могут также выставить ее «самым страшным» имперским образованием всех времен и народов. Курьезным образом в вину данной империи можно ставить черты, которые в иных случаях могут быть предметом гордости апологетов. Так, А. Авторханов, развивая свой тезис о СССР как «идеократической империи», не имевшей аналогов в

¹ *Гатагова Л.* Империя: идентификация проблемы / Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 1996. С. 337.

² *Шлезингер-младший А.М.* Циклы американской истории ... С. 183.

прошлом, писал: «Колониальная система классического империализма в покоренных странах интересовалась в первую очередь и главным образом материальным фактором – выкачкой из колоний материальных ценностей; советский социалистический империализм интересуется в первую очередь и главным образом человеческим фактором – как привести в свою веру покоренные народы, как перековать людей, хорошо понимая, что после этого остальное приложится само собой...»¹.

Однако еще Чингис-хан, согласно легенде, поучал: «Прежде чем собирать народы, / Надо душой овладеть у них. / Если душой у них овладеешь, / То тела их куда же денутся?»² Вряд ли также сторонники «классического империализма», столь усердно стремившиеся доказать позитивную роль своих империй в привнесении на периферию ценностей цивилизации, могут счесть утверждение Авторханова лестным. Одновременно данный тезис Авторханова есть ни что иное как зеркальное отражение приведенного выше суждения Смэтса о Британской империи – единственном имперском образовании, в рамках которого не проводилась политика культурной ассимиляции.

Иной, более мягкий вариант полемики апологетов и критиков империи не предполагает столь категоричного расхождения их взглядов на сущность данного феномена. Империя подается апологетами как меньшее зло по сравнению с другими возможными альтернативами развития общества. Пороки империи уже не отрицаются, а наоборот приписываются всем и вся: времени, человеческой природе, законам общества. Таким образом, акцентироваться может уже не «уникальность», а «всеобщность». Стендаль писал в своей «Жизни Наполеона»: «Утверждают, будто Наполеон насаждал в Италии свободу теми же способами, которыми действовал Магомет, проповедовавший Коран с мечом в руках. Новообращенных восхваляли, им покровительствовали, расточали им милости, а неверных безжалостно подвергали всем ужасам войны: грабежу, непосильным поборам... Упрекать в этом Наполеона – значит упре-

¹ Авторханов А. Империя Кремля. Минск, 1991.

² См.: Шастина Н.П. Образ Чингис-хана в средневековой литературе монголов // Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1972. С. 474.

кать его в том, что он пользовался порохом, чтобы стрелять из пушек»¹. Вопрос о цене, заплаченной за строительство империи, в данном случае не отрицается, но ответ на него дан позитивный – выгода (как правило, не сиюминутная) значительно превышает потери. Тот же Стендаль писал далее: «Привычный для этого милого народа (венетянцев – *О.П.*) уклад жизни был нарушен, но следующее поколение оказалось бы в тысячу раз более счастливым под властью короля Италии»². По сути, Стендаль предвосхищает здесь все рассуждения о цивилизаторской миссии и цивилизаторском бремени, получившие широкое распространение, как уже говорилось, в конце XIX и в XX столетии.

Еще одна «мягкая» разновидность подачи проимперской аргументации – признать пороки империи и не перекладывать их на чужие плечи, но выделить некий позитивный момент, который, возможно, перевесит все остальное. Таким позитивным моментом, если руководствоваться тезисом, что «худой мир лучше доброй ссоры», может стать упоминавшийся уже факт отсутствия вооруженных конфликтов внутри империи. Дж. Оруэлл писал в одном из очерков в 1944 г.: «Британская империя в целом, при всех ее вопиющих безобразиях, застоём здесь, эксплуатацией там, по крайней мере имеет заслугу в том, что сохраняет внутренний мир. Вбирая в себя четверть населения планеты, Империя всегда ухитрялась обходиться самым небольшим количеством вооруженных сил»³. Как видим, речь в данном случае вновь идет об «уникальности».

Резюмируя состав противостоящих «империализму» идейно-политических сил, можно выделить в их числе «национализм-патриотизм» в многочисленных своих вариантах (причем опирающийся как на подвластные народы и имперскую периферию, так и на «титულную нацию» и на «историческое ядро»); «либеральный космополитизм» и «социалистический интернационализм», а также иной «империализм» и «духовный коллаборационизм», предполагающие следование за более сильным имперским соперником. Несмотря на эту пестроту против империи с разных сторон выдвига-

¹ Стендаль. Жизнь Наполеона // Собр. соч. В 15 т. Т. 11. М., 1959. С. 16.

² Там же.

³ Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М., 1992. С. 334.

ются достаточно сходные обвинения, имеющие в целом объективную основу.

Проимперский лагерь на первый взгляд кажется не менее пестрым и разнообразным по составу. Однако фактически он объединен одной основополагающей идеей и ценностью – самой империей, и все внутренние различия сводятся лишь к ее интерпретации и степени сопряжения с другими ценностями и идеологическими компонентами. «Да» в подобных случаях всегда имеет более узкие границы мотивации, нежели «нет». К разобщенности, зачастую весьма глубокой, ведет лишь наличие нескольких различных имперских традиций, рождающих враждующие друг с другом системы идентификаций.

Ранее сторонники империи, наделяя какую-то одну из них позитивными качествами, в большей степени чем оппоненты, склонны были подчеркивать ее уникальность, непохожесть на другие имперские образования. В то же время противники империи чаще прибегали к широким обобщениям и стремились к обличению данного феномена как такового. Неудивительно, что в течение нескольких десятилетий до настоящего времени термин «империя» в своем звучании имел негативный оттенок.

До конца девятнадцатого века слова «империя» и «империализм» использовались в основном в хвалебном, а не в уничижительном смысле, – констатирует американский политолог Х. Кон¹. Несколько иной точки зрения придерживается Р. Кёхнер, опубликовавший в 1960-х гг. труд «Империя». Известный австралийский историк У.К. Хэнкок, написавший рецензию на эту работу, полагал, что суть книги Кёхнера заложена в двух срединных главах, которые протоколируют гигантскую эмоциональную революцию: в Америке слово «империя» становится в конце концов словом порочащим, а не прославляющим; в Британии оно слишком поздно окружается почетным ореолом².

На самом деле отношение к слову «империя» в США всегда было противоречивым, но преимущественно с преобладанием нега-

¹ *Kohn H. Reflections on Colonialism / The Idea of Colonialism. Ed. by R. Strausz-Hupe and H.W. Hazard. N.-Y., 1958. P. 2.*

² *Hancock W.K. Perspective in History. Canberra, 1982. P. 50.*

тивных коннотаций. Бренд штата Нью-Йорк включает в себя определение «имперский штат», что символизирует гордость за его обширные (по меркам Новой Англии размеры). Слово «империя» употреблялось также в отношении некоторых внутренних районов США. Однако, как отмечает в отношении американских консерваторов П.Ю. Рахшмир, «само слово “империя” у большинства из них если и не табу, то во всяком случае близко к этому»¹. Показательно, что олицетворение империи с диктатурой и противопоставление ее демократии и свободе характерно для американской фантастики². А она оказывала и оказывает значительное воздействие на массовое сознание, одновременно стремясь отвечать на его запросы.

Что касается Англии, то еще в мае 1917 г. генерал Смэтс, с почетом принимаемый в этой стране, заявил, что тот, кто найдет для Британской империи новое определение, сослужит ей хорошую службу³. Случившееся вскоре крушение трех основных империй (так и именуемых) континентальной Европы только подтвердило его слова. Возникновение, развитие и крушение «Третьего рейха» также не способствовало росту популярности слова «империя».

После второй мировой войны на отношении к термину сказывалось не только всеобщее осуждение колониализма на фоне происходившего распада колониальной системы, но и господство супердержав, в лексиконе каждой из которых слово «империя» в силу различных исторических причин приобрело негативное звучание.

В России, как в частности убедительно показал М.В. Ильин, слово «империя» тоже всегда было не особенно популярно⁴, Догматизация ленинской концепции «империализма» в советские времена резко усилила его негативное звучание.

Более того, концепции империализма, предложенные левыми силами, оказались наиболее детально разработанными и в период

¹ Рахшмир П.Ю. Американские консерваторы и имперская идея. Пермь, 2007. С. 218.

² См., например: Клиффорд Саймак. Империя (написан перед второй мировой войной, опубликован в 1951 г.), Можно вспомнить и «Звездные войны» Д. Лукаса.

³ Smuts J.C. Plans for a Better World ... P. 38.

⁴ См.: Ильин М.В. Слова и смысл. Деспотия. Империя, Держава / ПОЛИС, 1994. № 2. С. 128.

распада колониальных держав выглядели наиболее убедительно для многих западных интеллектуалов. «К сожалению, наиболее эффективно популяризированные истории империй написаны в марксистских терминах», – сокрушался в конце 1950-х гг. один из авторов изданного в США сборника статей по проблемам колониализма¹.

Даже если в труде историка речь шла о глубоком прошлом, представлявшем для изучения лишь чисто академический интерес, любое хоть сколько-нибудь отличающееся от традиционного использование термина, сопровождалось осторожными комментариями. Например, английский автор пухлого тома, посвященного исследованию «морских» империй Средневековья, писал в предисловии к своей книге, что слово «империя» нами используется намеренно несмотря на семантические опасности, которые это влечет за собой. Оно использовано нами в значении состояния владения, осуществляемого одним народом или государством над другими народами, землями или государствами, где оно возникает вследствие военного завоевания либо вследствие установления или навязывания экономического господства². Точно так же и в 1960-е гг. оговаривался советский историк Н.П. Соколов, посвятивший свое исследование колониальной экспансии Венеции: «Вместо термина “держава” мы пользуемся в дальнейшем предпочтительно термином “империя”, отнюдь не связывая с ним чего-либо “империалистического” в современном значении этого слова»³. При этом в качестве индальгенции приводилось высказывание В.И. Ленина о том, что колониальная политика и империализм существовали и до новейшей ступени капитализма и даже до капитализма. Нетрудно, впрочем, заметить, что и в том, и другом случае речь опять-таки шла скорее об определении «империализма», а не «империи».

¹ *Saxe Jo W.* Dilemmas of Empire: The British and French experience // *The Idea of Colonialism*. N.-Y., 1958. P. 46.

² *Scamell G.V.* *The World Encompasser: The first European maritime empires*. Berkeley, 1981. P. XIII.

³ *Соколов Н.П.* Образование Венецианской колониальной империи. Саратов, 1963 // http://annals.xlegio.ru/evrope/sokolov/pred_skr.htm (проверено 01.10.2008 г.).

Однако постепенно термин «империя», сохраняя однозначно негативное звучание, стал все чаще использоваться в политической риторике на Западе применительно к Советскому Союзу. В начале 1980-х гг. администрация Р. Рейгана в США по сути провозгласила «крестовый поход» против «империи зла», превратив этот лозунг в мощный идеологический штамп. Возможности для объективного и политически нейтрального подхода к исследованию имперского феномена стали еще менее благоприятными.

Многим, из тех, кто писал на эти темы, по-прежнему казалось, что в научном плане проблемы могут возникать с использованием и трактовкой понятия «империализм», но не с понятием «империя»¹. Известный американский историк А.М. Шлезингер в середине 1980-х гг. в очерке «Америка и империя» подробно рассмотрел и проанализировал классические и новые концепции «империализма», но нигде не дал определения «империи» как таковой².

Исследователям современности, стремящимся занять взвешенную позицию, употребление термина «империя» вообще казалось более подобающим для политической риторики или публицистики, чем для серьезного научного исследования. Один из британских советологов рассказывал автору этих строк, что когда в начале 1980-х гг. он использовал слово «империя» в названии одной из своих книг, многие коллеги настоятельно советовали ему не делать этого, утверждая, что таким образом он отдает дань «холодной войне». Устав с ними спорить, автор книги взял с полки словарь, зачитал, что было в нем сказано относительно значения слова «империя», и попросил своих оппонентов указать, какой из перечисленных признаков может быть оспорен применительно к Советскому Союзу. Никто не нашелся что ответить.

В ряде случаев специалисты по Советскому Союзу из стран Запада занимали двойственную позицию: не желая зачислять СССР в число «империй», они тем не менее признавали его сходство с последними. Так, французский историк-советолог А. Безансон в

¹ См. например: *Wesselling H.L. Imperialism and Empire: An Introguction. // Imperialism and After. Continuities and Discontinuities. Ed. by W.J. Mommsen and J. Osterhammer. L., 1986. P. 1.*

² *Шлезингер-младший А.М. Циклы американской истории ... С. 173-236.*

сообщении, сделанном на прошедшем в 1977 г. в Париже коллоквиуме «Концепция империи», заявил, что «советское владычество не является империей, но само по себе как таковое оно приводит к тем же последствиям»¹.

В условиях резко возросшей после второй мировой войны критики колониальной политики стран Запада аналогичное советскому понимание термина «империализм» получило широкое распространение и за пределами советского блока, особенно в странах третьего мира. Хотя и здесь были примеры более расширенного понимания при сохранении негативности оценки. Так, в конце 1950-х гг. эфиопский историк Ильма Дэреса писал, что «народ Эфиопии начал сопротивление империализму еще во времена величия фараонов, Персии и Рима»².

Учитывая сказанное, неудивительно, что на рубеже 1980–1990-х гг. в нашей стране велись яростные и бесплодные дискуссии о том, можно ли считать империей Советский Союз. Ни одна из сторон не желала вслушиваться в аргументы другой. А отстаиваемый вариант ответа означал однозначные политические выводы: если Советский Союз империя, он должен прекратить свое существование, если же нет, его необходимо сохранить. Г.М. Дерлугьян совершенно справедливо охарактеризовал эту полемику как «чисто схоластические ожесточенные до крайности споры по поводу не существующих в реальности противоречий»³.

На этом фоне одним из немногих проявлений объективного и непредвзятого подхода к проблеме стала статья А.Ф. Филиппова «Наблюдатель империи», опубликованная сначала в виде брошюры фондом ИНДЕМ, а затем в только что созданном журнале «Вопросы

¹ Безансон А. Советское настоящее и русское прошлое. М., 1998. С. 109.

² Цит. по: *Дыпкин Г.В.* Эфиопоцентризм и эфиопское общество // Европоцентризм и афроцентризм накануне XXI века: африканистика в мировом контексте. М., 2000. С. 88. Автор статьи говорит о «своеобразном представлении» эфиопского историка «относительно понятия “империализм”, являющегося для него синонимом любой территориальной экспансии». Однако из приведенной цитаты можно понять, что речь идет лишь об экспансии великих держав.

³ *Дерлугьян Г.М.* Была ли Российская империя колониальной // *Международная жизнь*, 1991. № 2. С. 88.

социологии». Данный автор совершенно справедливо обратил внимание на полярно различную эмоциональную окраску в русском языке понятий «империя» и «держава», обозначающих в сущности один и тот же феномен. «Говорить плохо о державе и хорошо об империи у нас было не принято. Значит, и говорить не о чем. Оба понятия приобретали функцию не столько объяснительных средств, сколько блокирующих устройств», – писал А.Ф. Филиппов¹.

Действительно, русскому понятию «держава» фактически невозможно отыскать точный эквивалент в других языках. Легко найти английский эквивалент термину «великая держава», но крайне сложно перевести на тот же английский известную фразу героя кинофильма «Белое солнце пустыни» «мне за державу обидно», сохранив все оттенки ее смысла. Проблема таким образом не в феномене как таковом, а в том сложном эмоциональном комплексе, который с ним связывается, либо связывался до недавнего времени. Заметим также, что слово «держава» является общим для ряда славянских языков, но подобный смысл приобрело только в русском, например в украинском оно означает просто «государство».

А.Ф. Филиппов выделил четыре возможных варианта «риторических фигур» в полемике вокруг имперской сущности СССР: «Империя – это плохо. Советский Союз – это не империя»; «Империя – это плохо. Советский Союз – это империя», «Империя – это хорошо. Советский Союз – это империя»; «Империя – это хорошо. Советский Союз – это не империя»².

Дальнейшее развитие дискуссии, уже в постсоветской России, подтвердив правоту А.Ф. Филиппова, включило в себя каждое из выделенных им построений. Часть авторов несмотря на все более широкое использование термина «империя» по отношению к СССР по-прежнему считают это неправомерным, придавая слову «империя» негативный оттенок. Так, автор аннотации к изданию, подготовленному движением «Духовное наследие», отвечая на

¹ *Филиппов А. Ф.* Наблюдатель империи. Империя как понятие социологии и политическая проблема // Вопросы социологии, 1992. Т. 1. № 1. С. 90.

² Там же.

вопрос «был ли СССР империей, а Россия метрополией в ней?», утверждает: «Факты противоречат этому расхожему мнению. Россия поднимала окраины, нередко страдая больше других»¹. На той же позиции фактически стоит такой серьезный исследователь как Г. Мирский: «Российская империя и сменивший ее Советский Союз были уникальными государственными образованиями, гораздо более спаянными внутренне во всех отношениях, чем, например, Британская империя. Это был не только хозяйственный организм (последствия распада которого столь болезненно ощущаются в наши дни), но и – в основном – держава, имевшая ряд черт общей цивилизации»².

Сохранился и прежний однозначно негативный подход к природе как Советского Союза, так и империй в целом. Одним из примеров может служить выдержка из «Записок президента» Б.Н. Ельцина: «Я считаю, что XX век закончился 19-21 августа 1991 года ... XX век по большей части был веком страха. Таких кошмаров как тоталитаризм и фашизм, кошмар коммунизма концентрационных лагерей, геноцида, атомной чумы, человечество еще не знало ... И вот в эти три дня кончился один век, начался другой. Быть может, кому-то такое утверждение покажется слишком оптимистическим, но я в это верю. Верю, потому что в эти дни рухнула последняя империя. А именно имперская политика и имперское мышление в самом начале века сыграли с человечеством злую шутку, послужили детонатором всех этих процессов»³.

Такое же отношение к слову «империя» сохранилось в тех бывших советских республиках, которые наиболее активно боролись за свою независимость. Так, латышский писатель М. Чаклайс писал, отвечая на вопросы журнала «Дружба народов» и ручаясь за весь свой народ: «Во всяком случае, для любого латыша, будь он крестьянином, рабочим или интеллигентом, слово “империя” – это что-то злое. Что-то, что высасывает, убивает, придавливает дух к

¹ Россия на пороге XXI века. (Современные проблемы национально-государственного строительства РФ). М., 1996.

² *Мирский Г.* Еще раз о распаде СССР и этнических конфликтах // *Мировая экономика и международные отношения*, 1997. № 2. С. 15.

³ *Ельцин Б.Н.* Записки президента. М., 1994. С. 67.

земле. И как бы “научно” не рассуждали защитники империи, они ничего, кроме отвращения, в латышах вызвать не могут”¹.

После распада СССР в нашей стране разворачивается также весьма характерный процесс «реабилитации» слова «империя», который, в частности, включает и признание его тождества понятию «держава». «Имперская политика не что иное, как державная политика», – утверждал В. Гушин, озаглавивший свою «реабилитирующую» статью в «Независимой газете» следующим образом: «Быть России имперской. Чем скорее это случится, тем лучше»². В следующей статье «И все-таки имперской России быть. Иначе на ее месте возникнет “черная дыра”», тот же автор вразрез с приведенным выше рассуждением Б.Н. Ельцина, выдвигал предположение, что «мир вступает в эру имперского гегемонизма»³. Основной политический оппонент президента России, Г.А. Зюганов также стал ставить знак равенства между «империей» и «державой», считая все это «исторически и геополитически обусловленной формой развития Российского государства»⁴.

Процесс «реабилитации» развивался настолько быстрыми темпами, что вскоре стало реальностью появление четвертой (первоначально, вероятно, чисто гипотетической) «риторической фигуры» из выстроенного А.Ф. Филипповым ряда: утверждения, что СССР был недостаточно «хорош» для того, чтобы претендовать на высокое звание «империи». Так, историк культуры В. Мохнач, участвуя в дискуссии, развернувшейся на страницах журнала «Родина», уже именно с этих позиций попытался доказать, что «по всем возможным параметрам, за исключением декораций, Советский Союз не был империей»⁵.

Профессор МГУ Н.И. Цимбаев, развивая тот же подход, выдвинул уже совершенно неожиданное положение: «фундамен-

¹ *Чаклайс Марис*. Хочется и может дышать. Ответы на вопросы «Дружбы народов» // Дружба народов, 1996. № 11. С. 147. Вероятно, подобное, чрезмерно окрашенное эмоционально, отношение к слову «империя» свойственно все же прежде всего латышской интеллигенции.

² *Гушин В.* Быть России имперской // Независимая газета, 1993. 23 июля.

³ Там же. 1993. 17 сент.

⁴ *Зюганов Г.А.* Держава. М., 1994. С. 30.

⁵ *Мохнач В.* Бремя Третьего Рима ... С. 33.

тальный принцип империи – принцип многообразия или полное отсутствие какой-либо административно-политической, правовой, национальной, культурной или конфессиональной унификации»¹. Проводя различие, между Царской Россией и Советским Союзом, данный автор утверждал: «Внешне похожий на погибшую империю, СССР по сути своей – принципиально иное государственное образование отнюдь не имперского типа. Дело, понятно, не в идеологических отличиях. Для советского периода нашей истории была характерна жесткая унификация, предельная централизация и высокая степень огосударствления политической, экономической и общественной жизни. Исходя из тенденций мирового развития распад такого государства был предопределен, хотя формы, в которых это происходило, были столь же иррациональны, как и имперская экспансия»².

Публицист Ю. Каграманов, попытался сформулировать суть происходящего процесса «реабилитации» понятия, вклад в который вносила и его статья: «С развалом страны, известной под псевдонимом СССР (и распадом “новой исторической общности” как она именовалась на “новоязе” – “советского народа”) бывших советских людей от этих искусственных, хотя и ставших привычными терминов потянуло к каким-то другим – общепринятым, “человеческим”. Так само собой всплыло слово “империя”... Называя Россию империей, мы обнаружим в этом понятии сложное переплетение смысловых линий, обязывающее нас рассмотреть его в контексте мировой истории, равно как и мировой культуры»³. Перевод термина в разряд «человеческих» означал, в частности, что существуют «более хорошие» и «более плохие» империи. Фактически именно по этой линии Ю. Каграманов противопоставлял Цар-

¹ Цимбаев Н.И. До горизонта – земля! (К пониманию истории России) // Вопросы философии, 1997. № 1. С. 31.

² Там же. С. 28. Идеализация Царской империи в противоположность СССР стала присуща и многим другим авторам. Так, Ефим Бершин утверждает, что в советские времена «напрочь был проигнорирован опыт царской России, умудрявшейся удерживать национальные окраины в мире в течение столетий. Бершин Ефим. Дикое поле. Приднестровский разлом. М., 2002. С. 51.

³ Каграманов Ю. Империя и Ойкумена // Новый мир, 1995. № 1. С. 140.

скую Россию и Советский Союз. То же проделывает в упомянутой работе и Н.И. Цимбаев, однако он, как уже говорилось, вообще отказывал СССР в праве называться «империей».

Ряд авторов все же постарались сделать акцент на то, что любой империи присуще наличие как положительных, так и отрицательных черт. Наиболее четко, обобщенно и лаконично сформулированно суть такого подхода выразил Д.Е. Фурман: «Империи – отнюдь не только нечто плохое, и соответственно распад империй – это не только хорошее»¹. Учитывая рассмотренное выше тождество, в отношении «державы», с нашей точки зрения, можно ту же мысль сформулировать так: держава – отнюдь не только нечто хорошее, и соответственно распад державы – это не только плохое. Соответствующим должно быть и отношение к постимперским реалиям. По этому поводу имеется суждение: «Нам достался Дом, где когда-то кипела жизнь. По правую руку – золоченый ларец для драгоценностей, по левую большое мусорное ведро. Пора разбирать наследство»².

А. Филиппов через полтора десятка лет после появления «Наблюдателя империи» с удовлетворением констатировал, что «разговор об империи стал разумным разговором: этот термин перестал вызывать однозначные политические эмоции, будь то критические или апологетические»³.

Спокойное отношение к слову «империя» и возможности его применения к характеристике Советского Союза постепенно стало настолько привычным, что уже экстраполировалось в прошлое. Например, Валентин Черных в сценарии телесериала «Брежнев», счел возможным вставить во внутренний монолог главного героя следующие слова: «А я, первый человек в империи, почти что император, по зарубежным меркам, живу как обыкновенный человек...»⁴. Реальный Брежнев вряд ли мог даже

¹ Фурман Д.Е. О будущем «постсоветского пространства» // Свободная мысль, 1996. № 6. С. 50.

² Филиппова Г., Олейников Д. Мы – в Империи. Империя – в нас ... С. 37.

³ Дискуссия «От империи к нации?». Научный семинар под руководством Е.Г. Ясина. М., 2005. 28 сент.

⁴ Валентин Черных. Брежнев. Сумерки империи. СПб., 2005. С. 278.

мысленно, называть себя «императором», а государство, которое возглавлял, «империей».

Тем не менее и во второй половине 2000-х гг. некоторые авторы с претензией на новый взгляд все еще предлагают читателю «на пару минут забыть о стереотипах, допустив хотя бы как гипотезу, что это не есть абсолютное зло»¹.

«Оценочные» дискуссии вокруг термина «империя», которые велись в России в 1990-е гг., несмотря на значительный прогресс в научном осмыслении феномена продолжают вестись до сих пор. Более того, в период правления В.В. Путина они постепенно все больше активизировались.

Причины актуализации темы заслуживают отдельного подробного рассмотрения. Однако кроются они, по нашему мнению, не столько в самом курсе державного возрождения страны, провозглашенном и осуществляемом при В.В. Путине и Д.А. Медведеве, сколько в противоречивости и сомнительной успешности этого курса. В период, когда согласно версии официальной идеологии Россия «встала с колен», она выступила хозяйкой нескольких помпезных мероприятий мирового уровня, стала занимать больше места, по сравнению с 1990 гг. в новостных лентах мировых СМИ, но не приобрела ни одного нового союзника, лишилась почти всех старых и существенно растеряла возможность воздействовать на решение ключевых вопросов мировой политики. Война с Грузией и ее итоги обнажили противоречивость достижений особенно ярко.

В этих условиях сторонники проводимой политики стремятся подкрепить ее как можно более громкой и жесткой имперской риторикой. На том же языке стремятся разговаривать и многие их критики.

Оценочное отношение к понятию «империя» в результате все больше запутывается. Примером может служить такой частный вопрос как различие в трактовках получившего сейчас распространение определения «малая империя».

¹ Романов П. Станет ли Россия снова империей? / Российское информационное агентство «Новости» // <http://www.rian.ru/authors/20070122/59469925.html> (проверено 01.10.2008 г.).

С одной стороны, этот термин в ходу среди российских экспертов в отношении Грузии, при этом его авторство приписывают академику А.Д. Сахарову¹. Соответственно, Грузия в данном случае выступает в негативном виде, Россия же, напротив, оказывается в роли борца с «империализмом».

Однако подобное же применение используется и апологетами России как империи, вкладывающими в данное слово позитивный смысл. Естественно, это требует применения весьма замысловатых логических схем. Так, современный российский публицист Егор Холмогоров, представитель радикальной части державно-патриотического лагеря, утверждает, что единственный рецепт решения проблем грузинской «малой империи» – это включение в состав прежней-новой «большой» империи: «Единственное решение, которое всерьез может предложить Грузии Россия, – это реинтеграция в покинутую (но отнюдь не исчезнувшую *de facto*, хоть и покоцанную и распущенную *de jure*) империю. Тем самым проблемы “малой империи” растворяются в проблемах империи большой, не имеющей никаких оснований ни абхазов вынуждать быть грузинами, ни грузин – абхазами, ни как-то еще, но при этом не позволяющей бегать по горам с автоматами ни грузинам, ни абхазам, ни чеченцам. В большой империи большая часть нынешних конфликтов станет попросту неактуальна, причем их снятие отнюдь не требует признания поражения ни одной из сторон»².

Мода на имперскую риторику у историков некоторых малых народов России в современных условиях может проявляться как стремление трактовать тот или иной период истории своего народа в качестве «имперского». Так, кабардинские историки используют термин «малая феодальная империя» отношении истории Кабарды XVI–XVII вв. Это, в свою очередь, вызывало гнев-

¹ См., например: *Маркедонов С.* Будни «малой империи» / Агентство печати «Новости» // <http://www.apn.ru/publications/article1348.htm> (проверено 01.10.2008 г.).

² *Холмогоров Е.* Империя – это мир ... А «малая империя» – это перманентная война. Там же // http://www.globalrus.ru/all_discussions/georgia/74495

ную отповедь балкарского историка Н.М. Будаева, заявившего, что суть этих попыток в одном: «оживить старый миф, поднять рейтинг своему народу, причем не важно какими методами»¹. Таким образом, и та, и другая стороны рассматривали имперское прошлое (пусть даже «малой империи») как предмет возможной гордости.

Имперский синдром прорастал и продолжает прорастать у самых разных политических сил. В настоящее время в развитых странах большинство людей по-прежнему озабочены престижем своей державы, и их бывает не так уж трудно подтолкнуть к выражению этих чувств в той или иной форме. В то же время следует учитывать, что имперское строительство требует жертвенности и подвижничества, по крайней мере на этапе первоначального, рождающего империю импульса. Но жертвовать своим благополучием или тем более жизнью ради державно-имперских амбиций жители развитых стран не очень расположены. Кроме того, важнейшим фактором в международной политике стало мировое общественное мнение, которое, как правило, находится на стороне «слабого» и восстает против жестоких методов подавления со стороны «сильного».

Но феномен империи процветает в виртуальном мире, в формируемом образе прошлого, как предмет национальной гордости (в том числе и для ряда относительно малых народов) в виде эксплуатации и развития культурного наследия и системы символов прошлых империй, наконец как продукт творчества беллетристов, самовыражающихся социальных конструкторов и просто разного рода мечтателей. Соотношение между реальным и виртуальным миром в данном случае достаточно сложно. Виртуальный мир может быть прибежищем и выступать в качестве источника вдохновения.

¹ Будаев Н.М. Очерки политической истории народов Северного Кавказа в XVI-XX вв. / Агентство печати «Новости» // <http://www.balkaria.info/library/b/budaev/opinsk/opinsk02.htm> (проверено 01.10.2008 г.). При этом Будаев утверждает, что у Кабарды в данный период «не было не одного из характерных признаков государственности» и задает ехидный вопрос: «Очень любопытно было бы узнать, кто был первый император этой не известной в истории империи?».

Обостренно-болезненное отношение к слову «империя» и его публицистическое звучание в современный период, как представляется, в значительной степени ослабнут, когда настанет «момент истины» для проводимого курса на державное возрождение: он либо приведет к неоспоримым результатам, либо потерпит очевидный крах. Есть основания предполагать, что это должно произойти в не очень отдаленном будущем.

§ 5. НЕГАТИВНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РОССИЯН: ЭФФЕКТЫ ПРОПАГАНДЫ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Историческая политика

Признание того, что формирование исторической памяти происходит не только, а часто и не столько, спонтанно, сколько через сознательно реализуемую политику государственных и околосударственных институтов, в социальных науках уже давно стало общим местом. А. Миллер вообще предлагает помимо традиционного, «фонового» стремления элит к политизации истории выделять историческую политику, определяемую им как намного более интенсивное «вмешательство в трактовку истории той части политической элиты, которая контролирует власть в данный момент, для борьбы с внутренней оппозицией и для достижения определенных целей в деле «нациестроительства», а также для получения определенных преимуществ в международных отношениях»¹. Таким образом, проблема не в конструировании истории, целенаправленном создании образов прошлого, а в стремлении государства максимально монополизировать этот процесс через монополизацию СМИ, кинематографа и иных коммуникативных механизмов.

Повышенное внимание к истории у современной правящей элиты естественно, ибо налицо стремление легитимизировать, в том числе апелляциями к истории, изменение курса, проводимого в период реформ 90-х гг. XX в. В этом отношении роль истории проста. История выдает санкцию на решения и действия в настоящем. Именно так работает механизм памяти, в том числе памяти исторической. Механизм меморизации и воспоминания (напоминания) от имени прошлого санкционирует определенные образцы поведения,

¹ Историческая политика и ее особенности в Польше, Украине и России // Отечественные записки, 2008. Т. 44. № 5. С. 66.

установки, оценки в настоящем и еще более широко в будущем, с проекцией на будущее¹. Именно с целью получения санкций на настоящее проводятся разнообразные действия: от объявления 4 ноября Днем народного единства, до государственного (или «по поручению» государства коммерческими структурами) финансирования значительного количества исторических фильмов (из последних «1612», «Адмираль», «Слуга государев» и др.). Одной из акций, вполне вписывающейся в мейнстрим проводимой исторической политики, является проект «Имя Россия», реализуемый совместно государственным телеканалом «Россия», Институтом российской истории РАН и фондом «Общественное мнение».

Проект «Имя Россия»

Суть проекта «Имя Россия. Исторический выбор 2008» хорошо известна читающей и/или любопытствующей публике. Нужно путем электронного, а с недавнего времени также телефонного и SMS, голосования выбрать исторического персонажа, внесшего наибольший вклад в развитие России, который может считаться ее символом. После того, как довольно неестественно на первых местах стали меняться фамилии (В. Высоцкий, И. Сталин, Николай II и т.д.) организаторов обвинили в фальсификации и стремлении к политкорректности. Соответственно голосующие оказались виноваты в организации флешмобов и хакерских атаках на сайт. В результате такого рода пикировок были изменены правила голосования.

Проект тем временем вступил во вторую фазу, в которой из 500 великих остались 50 величайших. Затем и в третью, в которой участвует всего лишь дюжина славных имен. Теперь уже с голубых экранов известные личности убеждают зрителей голосовать за того или иного великого человека: Н. Михалков за П. Столыпина, В. Варенников за И. Сталина, Г. Зюганов за В. Ленина, П. Капица за Д. Менделеева и т.д.

¹ Дубин Б. Память, война, память о войне. Конструирование прошлого в социальной практике последних десятилетий // Отечественные записки, 2008. Т. 43. № 4. С. 9.

Сами результаты во втором и третьем туре также стали выглядеть более или менее пристойно, ибо И. Сталин с В. Лениным покинули рейтинговый Олимп, хотя и остались в числе двенадцати. А в лидерах пока достаточно прочно обосновался вполне политкорректный герой, собиратель и защитник земель, святой и прочее, и прочее благоверный князь Александр Невский. Такова известная всем фабула. Проблема в ином.

Проект, если верить его же статистике, стал действительно массовым, свой выбор сделали во втором этапе более 40 миллионов человек! Даже с учетом того, что многие голосовали по несколько раз, число выглядит весьма внушительно. А это значит, что проект и/или его организаторы стали конструировать общественное сознание. В этой связи возможны два предположения. Первое, цель проекта изначально была конструирующей, воздействие на массы оказывается самими организаторами, результат контролируется, а данные голосования фальсифицируются. Если дело обстоит именно так, то по итогам можно будет судить о том, куда нас пытаются вести и вывести власть предрежащие, на кого они символически ориентированы, какую систему символов они считают пригодной к распространению, наконец, что они хотят сделать со страной.

Второе предположение, все чисто, голосование реально, результаты истинны, а конструирование сознания идет за счет отношения к проекту и его результатам, фундированным изначально стереотипами и современной «повесткой дня». В этом случае по итогам голосования можно делать выводы о реальных процессах, протекающих в головах россиян. И это, конечно, много интереснее. Кстати напомним, что любопытные данные были получены во многих странах, где проект был реализован. Например, в США, Великобритании, Франции и Германии победы одержали политические звезды Р. Рейган, У. Черчилль, К. Аденауэр и Ш. де Голль. В Португалии победа досталась тоже политику, но уже «диктаторской» ориентации, А. Салазару. В Украине все было скандально. Здесь конкурировали неоднозначный Степан Бендера и политкорректный Ярослав Мудрый. Приз симпатий достался последнему.

В любом случае корректность реализации проекта «Имя Россия» вполне возможно проверить. Дело в том, что практически

мгновенно были созданы альтернативные проекты. Ряд из них были идеологизированы, некоторые позиционировались как независимые. Среди последних своими масштабами выделяются: «Имя России. Исторический выбор России»¹ и «Имена России. Исторический выбор 2008 (2009)»². Однако эти проекты проводились по иной методике и иным набором «исторических персонажей», а потому могут служить лишь косвенными ориентирами для оценки «основного» проекта. Много более интересен для исследования проект «Анти имя России».

«Анти имя России»

В конце июля 2008 г. заработал сайт³, идея создания которого напрашивалась с самого начала проекта «Имя Россия», – «Анти имя России». Действительно, анализируя спорные результаты первоначального проекта по персонажам, имеющим неоднозначную репутацию (И. Сталин, В. Ленин и др.), в том числе у самих историков, волей или неволей напрашивался проект, позиционирующий современную Россию и россиян не только позитивно, но и по отношению к «историческому злодейству». Более того, с точки зрения технологической такой «анти-проект» просто обязан был случиться, ибо он способен продуцировать смыслы, недоступные позитивному проекту.

Создатели проекта «Анти имя России» декларировали: «Так как проект носит название АНТИ, список кандидатов полностью повторяет список проекта www.nameofrussia.ru. Мы понимаем, что многие фигуры из этого листинга никоим образом не могут рассматриваться как отрицательные персонажи российской истории, но для полной чистоты эксперимента мы решили повторить список без каких-либо коррективов». Однако удержаться в рамках пяти сотен имен не удалось. Укажем на два случая отступления от требований чистоты эксперимента. Во-первых, в список для голосования

¹ <http://www.nameofrussia.org/>

² <http://www.nameofrussia.su/>

³ <http://www.antinameofrussia.ru/>

после своей смерти был включен А. Солженицын, который на начало ноября уверенно занимал шестую позицию. Правда, в список позитивных персонажей он также вошел. Во-вторых, список антигероев был дополнен фамилией М. Горбачева, что нарушило правила проекта кардинально, ибо по условиям в список героев не могут попасть ныне живущие великие россияне. Предлог для включения М. Горбачева был явно надуманным. «Количество желающих видеть его (М. Горбачева – *К.К.*) в данном рейтинге, – писали администраторы проекта, – превзошло все мыслимые пределы». И практически сразу же после появления в рейтинге последний президент СССР занял почетное 3-е место.

При этом ограничение списка антигероев пятьюстами представителями имеет и определенные минусы. Среди российских антигероев нет таких исторических фигур как Л. Берия, Н. Ежов, В. Абакумов и им подобных, ибо они просто-напросто не были включены в список героев проекта «Имя Россия». Именно по этой причине в списке антигероев также не нашлось места Малюте Скуратову, Григорию Отрепьеву, Лжедмитрию II (Тушинскому вору) и иным лицам, вполне достойным негативной оценки современности.

Проект дополнительно не «раскручивался» в электронных СМИ, а потому активность голосования была явно более низкой, чем в основном проекте. В первой декаде ноября фиксировалось примерно 110-120 тысяч голосований. С учетом того, что голосование ограничивалось правилом «один пользователь – одно голосование в сутки», что ликвидировало возможности взрывного наращивания рейтинга, наметившиеся примерно за 3,5 месяца, тенденции можно считать сложившимися.

За обозначенный период проект вступил во второй этап, из более, чем пятисот персонажей, была выделена сотня «победителей». Предполагается и третий этап, в котором соревноваться будут двадцать главных «антигероев». Однако именно эта сотня представляется наиболее ренпрезентативной для научного анализа негативной персонификации, ибо, с одной стороны, в силу объема информации дает больше возможностей для выявления закономерностей, с другой – сглаживает наиболее резкие эффекты пропаганды.

Основные группы

Все персонажи первой сотни достаточно легко укладываются всего в четыре категории:

– 18 человек из недавнего прошлого, того, что называется перестройкой, либерализацией, демократизацией и т.п., а также связано с ее подготовкой. Здесь и политические деятели (Б. Ельцин, А. Яковлев, А. Собчак, М. Горбачев), и лидеры партий (С. Федоров), и правозащитники (В. Шаламов, А. Сахаров). Обращает на себя внимание большой процент в этой группе ученых и представителей культуры, чья деятельность достаточно однозначно либо была политизирована, либо связывалась с политическими процессами в массовом сознании (А. Соженицын, М. Растропович, Б. Окуджава, И. Бродский, Д. Лихачев, А. Галич, А. Рыбаков, Д. Лихачев). Кроме того, к этой группе с полным основанием можно отнести и тех, кто не дожил до либерализации 1980–1990-х гг., но чьи имена с либерализацией связываются, ибо они стали известны широкой публике в эти годы, а их деятельность события этого времени объективно готовила (А. Платонов, Е. Замятин, И. Солоневич, И. Шмелев). Сразу заметим, что доминирование интеллектуалов по большому счету связано с тем, что большинство политиков перестроечного времени еще живы, что не позволило их включить в список для голосования. Судя по рейтинговой судьбе М. Горбачева, многих из них (А. Чубайс, С. Шахрай, Е. Гайдар, В. Черномырдин и др.) ждали бы весьма «почетные» места в списке антигероев;

– 15 человек связаны с советским прошлым от Н. Хрущева до Ю. Андропова. Большая половина из них – политики (Н. Хрущев, Ю. Андропов, Л. Брежнев, А. Громыко, Г. Маленков, Н. Булганин, Н. Подгорный, Д. Устинов), меньшая – деятели науки и культуры (В. Астафьев, М. Шагал, А. Райкин, Б. Пастернак, В. Высоцкий, Л. Ландау), а также полководец Великой Отечественной – Г. Жуков. Естественно, что деятельность многих начиналась гораздо раньше хрущевской «оттепели» (наиболее спорная в этом отношении фигура Г. Жукова), но все же их деятельность имеет непосредственное отношение к периоду более близкому к современному;

– 31 человек связан с периодом, который можно условно обозначить как «ленинско-сталинский». В эту группу входят собственно организаторы революции и участники гражданской войны со стороны большевиков (В. Ленин, Л. Троцкий, И. Сталин, Н. Бухарин, А. Рыков, А. Луначарский, С. Буденный, С. Киров и др.), деятели культуры, большинство из которых были непосредственно связаны с политикой (З. Гиппиус, И. Бабель, О. Мандельштам, Д. Мережковский, К. Малевич), а также анархист Н. Махно и левый эсер М. Спиридонова;

– 18 человек можно условно отнести к периоду с условным названием «время Николая II». Среди участников этой групп и те, кто не дожил до октябрьского переворота, но входил в окружение последнего императора (П. Столыпин, К. Победоносцев, С. Витте, Г. Распутин и др.), и те, кто активно боролся с большевизмом в период гражданской войны и заслужил признание (А. Колчак, П. Врангель, Л. Корнилов, Н. Юденич, А. Деникин и др.), и те, кто пережил и переворот, и войну, но прежде всего известен своей деятельностью именно в этот период (П. Струве, М. Кшесинская и др.);

– 18 человек принадлежат еще более ранней истории. Из них 11 государей (по рейтингу от Анны Иоанновны до Екатерины I, включая В. Шуйского), 4 человека из государева окружения (А. Бенкендорф, А. Аракчеев, А. Курбский и А. Меньшиков), а также святой Сергей Радонежский, бунтовщик и «народный царь» Е. Пугачев и «Божиею милостию великий господин и государь, архиепископ царствующаго града Москвы и всеа великия и малья и белья Росии и всеа северныя страны и помориа и многих государств патриарх» Никон.

Антигерои и историческая повестка

Анализ численности антигероев по группам показывает, что бесспорное лидерство принадлежит представителям «ленинско-сталинского» поколения – 31%. Более того, если учесть, что большинство относящихся ко «времени Николая II» связаны с «ленинско-сталинской группой» и одним историческим периодом, и одними событиями, то эта объединенная большая группа численно займет

практически половину (49%) всех мест в первой сотне. Иные группы примерно равны по численности (15-18%). Однако с учетом того, что в группу антигероев времен перестройки не вошли ныне живущие, то при возможности голосования за них численная конфигурация выделенных групп наверняка бы изменилась в пользу самой современной.

Таким образом, уже даже численный анализ позволяет сделать вывод, что Интернет-сообщество, которое в определенной степени отражает ситуацию в общественном мнении всей страны, выделяет два наиболее проблемных периода в истории России, отношение к которым, также как к лицам, действующим в эти времена, является актуальным и по сей день. Позиционирование массового сознания происходит по отношению, во-первых, к октябрьскому перевороту 1917 г. (Великой Октябрьской социалистической революции), во-вторых, к событиям 80–90-х гг. XX в. (перестройка, распад СССР, либерализация и т.д.). Это подтверждается и данными о количестве голосов, полученных антигероями выделенных выше групп. Если группы «исторических персонажей» и антигероев из советского прошлого получили всего по 7-8%, группа «время Николая II» – 16-17%, то «пламенные революционеры» и лидеры 1980–1990-х гг. имеют примерно по одной трети голосов. Таким образом, количественный перевес оценок у этих двух наиболее резонансных групп составляет примерно 18-26% от трех других.

Такой разрыв есть безусловное подтверждение актуальности в современном российском массовом сознании и событий 1917 г., и много более поздних событий 1990-х гг. Более того, вполне допустима гипотеза о связанности этих двух исторических периодов. При этом доминирующим по актуальности, судя по количеству голосов на одного персонажа, является более близкий по времени к сегодняшнему дню период 1980–1990-х гг. Именно актуальность событий этого периода осовременивает и события прошлого.

В то же время, судя по результатам негативного позиционирования россиян, преодолеть эту точку разрыва в истории путем отнесения исторических идентификатов в прошлое (проект «Имя Россия»: А. Невский, Петр I, Екатерина II, Александр II и т.д.) не представляется возможным. Однако вполне допустима иная гипо-

теза: преодоление наиболее актуальной исторически негативной памяти и формирование новой идентичности лежит как раз в символическом преодолении революционного «наследия» начала прошлого века. Другими словами, закрывая октябрьский переворот как позитивную тему при конструировании современной идентичности, возможно преодоление негативного отношения к современным модернизационным процессам, начало которым было положено либерализацией 1980–1990-х гг.

Кстати заметим, что примерно такая же ситуация происходила на рубеже веков. Одной из проблем исторической политики, проводимой командой В. Путина, которая активно воспроизводила символические практики советского времени, была проблема позитивного «усвоения» исторической памятью советского периода. И эта задача, как показывают исследования, была решена. Примирение россиян с советским прошлым «как своим» в 2000-е гг. произошло¹. Отныне, в отличие от времен перестройки и первого срока ельцинского президентства, это прошлое не воспринимается как ошибка. Произошло «новое воссоединение общей истории как целого», что «повлекло за собой смысловую переакцентировку ряда значимых моментов внутри этого «целого». К ним относятся, например, явное понижение значимости сталинских репрессий и всего с ними связанного в коллективном сознании нынешних жителей России. Если в 1989 г. на них как событие века указывали 30% опрошенных, в 2003 г. – 17%, а сегодня и вовсе порядка 10%². Такое примирение с советским прошлым вполне закономерно актуализировало события, ограничивающие во времени «советскую историю»: октябрьскую революцию 1917 г. и либерализацию второй половины 80-х – первой половины 90-х гг. XX в.

Наблюдается любопытный факт. Лидеры антирейтинга – Б. Ельцин, М. Горбачев, А. Яковлев и другие в качестве героев проекта «Имя Россия» занимают далеко не первые места. А. Сахаров в

¹ Дубин Б. Память, война, память о войне. Конструирование прошлого в социальной практике последних десятилетий // Отечественные записки, 2008. Т. 43. № 4. С. 20–21.

² Там же.

списке из 50 имен занял лишь 28 место, а Б. Ельцин – 33. Кроме того, в позитивном рейтинге на первые места вышли лица, которые в принципе не интересны для голосующих в антирейтинге, они не вызывают никакого особо окрашенного отношения. Они не в актуальной повестке. Ни А. Невский, ни Петр I, ни А. Суворов, ни Александр II и т.д. для негативного позиционирования не актуальны. При этом рейтинги В. Ленина и И. Сталина представляются вполне ожидаемыми. Эти исторические персонажи находятся в актуальной повестке и для негативного голосования. Судя по всему смещение в пользу исторических персонажей и деятелей культуры в «рейтинге героев», во-первых, связано с их меньшей известностью, во-вторых, зависит от голосующих за них от своеобразной «электоральной безысходности»¹, в-третьих, вполне вероятно, является наведенным и, в-четвертых, является эффектом пропаганды организаторов акции.

Сравнение позитивных рейтингов проекта «Имя Россия» и негативных рейтингов «зеркально» противоположного проекта «Анти имя России» позволяет предположить существование любопытных корреляций:

– те, кто считает революционеров прошлого века героями, считают врагами России Б. Ельцина и его окружение. Высокие места в рейтинге героев И. Сталина и В. Ленина вполне закономерно коррелируют с верхушкой списка антигероев;

– те, кто считает революционеров прошлого века врагами России, далеко не всегда считают либерализацию 1990-х гг. благом, а «героев перестройки» героями;

– те, кто считает либералов 1990-х гг. героями, считают врагами России революционеров прошлого века;

– те, кто считает либералов 1990-х гг. врагами России, далеко не всегда считают революционеров прошлого века героями.

То есть более устойчивое и рациональное позиционирование в этом отношении именно позитивное. Позитивная позиция логично задает негативные оценки, тогда как негативные оценки далеко не всегда логично предполагают позитивные выводы.

¹ Проверить это предположение можно было бы, введя для голосующих графу «против всех».

Эффекты пропаганды, или откуда исходит угроза миру

В связи с конфликтом в Южной Осетии, появился сайт от создателей проекта «Анти имя России», который хоть и косвенно, но тоже поставил вопрос о негативном позиционировании россиян. Правда, уже по отношению к наиболее активным действующим персонажам международных отношений. На этот раз вопрос формулировался следующим образом: «Кто же, по-вашему, наиболее опасен? Кто из мировых политиков может в любой момент принести в жертву целые народы и страны?»¹. На выбор было представлено 20 фамилий. Из них 2 российских политика – В. Путин и Д. Медведев, 2 украинских – В. Ющенко и Ю.Тимошенко, но зато 5 американских: Дж. Буш, Р. Чейни, Б. Обама, К. Райс и Д. Маккейн. Белоруссия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Грузия, Иран, Казахстан, Китай, Польша, Северная Корея, Франция были представлены своими лидерами. И в то же время в списке отсутствовали, например, лидеры Италии, Израиля, Палестины, Индии и Пакистана, которые заслуживают присутствия в рейтинг явно не меньше, чем поляк Л. Качиньский. Не нашлось места террористам, в том числе лидеру Аль Каиды Усаме бен Мухаммеду бен Аваду бен Ладену. Таким образом, уже на этапе формирования списка в него была заложена предвзятость, которая с очевидностью влияет на результаты голосования. И тем не менее имеющийся материал вполне достоин анализа.

На начало ноября 2008 г. на сайте было зарегистрировано чуть больше 9 тысяч голосований и ежедневный рост был очень незначительным. Однако и в этом случае итоги показательны. В первую пятерку вошли три американца: Дж. Буш (1 место примерно с 1 000 голосов), К. Райс (2 место примерно с 900 голосами) и Р. Чейни (5 место примерно с 700 голосами). Между американцами вклинились М. Саакашвили (3 место и около 850 голосов) и В. Ющенко (4 место примерно с 800 голосами).

Американцы в совокупности по всем пяти кандидатурам собрали примерно 3 600 – 3 700 голосов или около 40%. 14-15% получили украинцы с их 4-м и 9-м местами. Российские политики

¹ <http://danger.antinameofrussia.ru/>

обосновались чуть ниже середины рейтинга. В. Путин занял 11-е место, а Д. Медведев 13-е. Вместе они получили примерно 780 голосов.

Косвенным доказательством того, что анализируемый рейтинг служит проявлением эффекта пропаганды, оказались слабые позиции Ким Чен Ира (16-е место и примерно полторы сотни голосов), М. Ахмадинежада (17-е место и те же примерно полторы сотни голосов) и Уго Чавеса (19-е место и примерно 120 голосов). Другими словами, для вынесения оценки реальная угроза миру (попытка реализации ядерных программ, участие в гонке вооружений, воинственная риторика, авторитарность режима) была незначима. Кроме того, очевидно, что для голосующих важно было отношение к стране, а не собственно к политику. В результате вполне можно выдвинуть гипотезу, что россияне и поныне далеки от реальных международных проблем, не осознают реальных глобальных опасностей и рассматривают международную политику исключительно через призму отечественной пропаганды. И в этом отношении вполне реалистично выглядит предположение, что если бы в списке появились лидеры прибалтийских государств, то они явно в российском антирейтинге по своей «опасности для мира» легко бы опередили упомянутых М. Ахмадинежада и Ким Чен Ира.

Таким образом, внешнее позиционирование Интернет-сообщества, которое в данном случае, вполне вероятно, довольно репрезентативно описывает настроения россиян в целом, идет в основном по отношению к США и ее лидерам, а также к странам, с которыми, по мнению голосующих, существует конфликт, моделируемый прежде всего и главным образом СМИ.

Некоторые выводы

Сравнительный анализ трех проектов («Имя Россия», «Анти имя России» и «Опасность. Анти имя России») позволяет сделать вполне определенные выводы о негативном позиционировании россиян.

Во-первых, существует разрыв между позитивным и негативным позиционированием. Поиск положительного героя для массового сознания оказывается намного более трудным, чем определение исторических антигероев. Дело прежде всего в том,

что поиск героя затруднен в силу регулярной смены направлений исторической политики. Кроме того, если антигерой в массовом сознании всегда оказывается рядом, то во времени «близко живущий» герой всегда наделяется недостатками, ибо этот период оказывается для большинства еще актуальным, не пережитым, «не закрытым». Другими словами, герой всегда дальше по времени отстоит от настоящего, тогда как антигерой к этому настоящему близок.

Во-вторых, результаты анализируемых проектов доказывают факт сознательной политизации истории. Например, большое количество в негативном рейтинге ученых, писателей, художников, а также принципиальное доминирование в позитивном рейтинге политиков, есть прямое доказательство политизированности массового сознания.

В-третьих, внешнее негативное позиционирование является практически абсолютной калькой штампов официальной пропаганды, а историческое негативное позиционирование есть результат трактовки истории, направленной на «возвышение» политики, проводимой в «нулевые» годы через противопоставление ее «лихим» 90-м и «оправдание» советского периода.

Наконец, историческая политика, в том числе в ее проявлении в анализируемых проектах, в результате которой происходит негативная актуализация либеральных реформ, есть, как минимум, свидетельство слабости модернизационного потенциала современной российской элиты, предпочитающей использовать в историческом позиционировании символы далекого прошлого как наиболее «простые в употреблении», как максимум, доказательство сознательного отхода от политики политической модернизации.

§ 7. ФЕНОМЕН НОВОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Эпоха новейшего времени стала инновационной во многих отношениях. Трансформации культурного поля практически в равной мере нашли свое выражение во всех сферах социальной жизни. Конфессиональное пространство не стало исключением и в полной мере было вовлечено в процессы изменения его внутренних и внешних параметров. К последним, наиболее затронутым новациями, на наш взгляд, относятся соотношение мифологического, религиозного и светского компонентов в современной культуре, актуальные формы обрядности и категориальный аппарат религиозной мысли. Что касается содержательной составляющей, то здесь прежде всего стоит говорить о появлении феномена, закрепившегося в религиоведении в виде категории «новая религиозность». Формы обновленной религиозности обрели свои сущностные черты и были реализованы в границах так называемых новых религий, многочисленные разновидности и представители которых стали неотъемлемой, количественно и качественно значимой чертой мирового конфессионального континуума.

В полной мере явление «новой религиозности» затронуло и российский социум. Ее распространение совпало с эпохой начавшихся социально-экономических и политических преобразований и способствовало усилению мировоззренческого плюрализма. Раскол единой идеологической парадигмы был усугублен трансформациями конфессиональной сферы – как по общесоциальном, так и сугубо религиозным параметрам. Произошедшие изменения были синхронно апплицированы на социальное пространство, способствуя формированию одного из новых типов гражданина и создавая еще один очаг противостояния среди общественных групп. Одновременно религиозные образования нового толка стали субъектами управления значительными финансовыми потоками как из

отечественных, так и зарубежных источников. Российские политики, общественные деятели, представители гуманитарных наук заговорили о феномене инокультурной экспансии, могущей повлечь за собой необратимые изменения всего социального поля, не столько включая страну в общемировое культурное пространство, сколько лишая ее традиционных констант как самобытной цивилизации.

Стоит отметить, что новое явление не является абсолютно однородным. Чаще всего относимые сюда образования делят на пять основных разновидностей: неохристианские, неоориенталистские, неоязыческие, квазинаучные, сатанистские, обладающие каждая своей спецификой. Определяющим в названии той или иной группы, как правило, является специфика новаций, вносимых в традиционные формы религии.

К *неохристианским* относятся системы, претендующие на истинность трактовки новозаветной (в редких случаях – ветхозаветной) традиции, фактически предельно модернизирующие исходное учение и делающие акцент на мистическом компоненте в отношении верующего к сакральному началу. Здесь заслуживают упоминания Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), «Свидетели Иеговы», Церковь унификации христианства (Сан Мен Муна), «Виноградник», «Благодать», «Часовня на Голгофе», многочисленные региональные Церкви Иисуса Христа, а также возникшие на отечественной почве Богородичный центр, Белое Братство (ЮСМАЛОС), Церковь Последнего Завета и др. Новые пророки претендуют не только на обращение к своему учению неверующих и, по их мнению, неправильно верящих, но и на своеобразную «рехристианизацию» традиционно христианских регионов. В лучшем случае поводом для этого объявляется неактуальность «классического» христианства, в худшем – утверждение об историческом искажении истинного учения Христа. Это положение может быть периферийным для самого нового учения, но в наиболее показательных случаях оно становится основой и базовым оправданием для существования общины нового типа.

Достаточно разнообразны *неоориенталистские* течения восточного толка, неожиданно ставшие популярными на Западе и в России. Самыми известными из них можно считать «Обще-

ство сознания Кришны», последователей Раджниша, «Центр Трансцендентальной медитации», Холософское общество (Сурат Шабд йога), «Центр Сатьи Саи Бабы», «Центр медитации Шри Чинмоя», «Омкар Шива Дхам Ашрам», а также весьма специфическое объединение «Русская йога». Идеино-понятийный анализ показывает, что неоориенталистские учения в своей вероучительной части представляют собой синкретические образования, в которых элементы западной культуры даже количественно доминируют над восточными. Это делает объяснимым распространение учений на Западе и популярность практически среди всех слоев населения, потому как они сочетают в себе реализацию потребности в ответе на вопрос о смысле жизни с сохранением достижений западной цивилизации.

Нельзя не учитывать присутствие в современном конфессиональном пространстве мира религиозных течений, которые чаще всего называют *неоязыческими*. Само это название отчасти указывает на содержание данных учений, в настоящее время распространенных практически повсеместно. Данные организации в равной мере присутствуют практически во всех традиционно христианских странах. Это «Фереферия», «Церковь всех миров» и «Языческий путь» в Соединенных Штатах, последователи Викки и Британский орден друидов в Англии, датское «Общество Асов и Ванов», «Братство Исиды» в Ирландии, «Группа галльских друидов» во Франции, исландское «Асатру», «Rodzima Viara» в Польше, латвийское объединение «Dievturi», «Ромува» в Литве, многочисленные поклонники Перуна и Сварога, последователи Порфирия Иванова и «Анастасии» в России. Все подобные течения в качестве основной стратегии существования предлагают возврат к дохристианским верованиям, сопряженный с пропагандой естественного образа жизни в гармонии с природой. Характерен упор на архаичность верований («возвратиться к своим корням»), акцент на единстве человека и окружающего мира, а также попытка изменения смысла понятия «традиционные религии». Новая трактовка исключает такую характерную черту религиозного учения как универсальность, потенциальную возможность повсеместного распространения, надэтничность и внерегиональность.

Квазинаучные (паранаучные) системы верований также неотъемлемый компонент религиозного пространства современности. Они являются одним из вариантов реализации современным человеком потребности в наличии у него системы веры. Их сравнительно малое количество свидетельствует о том, что наука – достаточно элитарный способ отношения к миру, но данная особенность в какой-то мере сохраняется во всех учениях, где задействована определенная доля научной информации. Из известных нам систем представителями этой разновидности новых религий можно считать печально известную «Сайентологию» Р. Хаббарда и гораздо менее популярную, возникшую на российской почве «Радастею», основатель ее – Е. Марченко (Змеюшина). Оба учения роднит попытка использовать научную терминологию и элементы научных методов в качестве своеобразной культовой практики.

Как уже упоминалось, в особое направление выделяются современные *сатанинские культы*. Саму группу учений нельзя считать абсолютно новой, поскольку корни сатанизма прослеживаются уже с периода средних веков. В ее границах воспроизводятся традиционный для религиозных систем дуализм и линейность исторического времени, точно так же особое внимание уделяя свободе выбора верующими собственного жизненного пути. Скорее всего, базовыми характеристиками современного сатанизма являются эклектичность учения и культовой практики, эсхатологизм и апокалиптичность доктрин, акцент на индивидуально-личностный подход к религиозной практике, привлечение элементов научного мировоззрения, активная социальная позиция. В отличие от других религий нетрадиционного типа сатанистские группы постоянно находятся в маргинальном положении по отношению к официальной культуре и к «бытовым» культурным феноменам. Это единственное направление в современной конфессиональной картине мира, по отношению к которому никогда не ставилась проблема межрелигиозного диалога и партнерства.

Фактически новые религии и порожденная ими «новая религиозность» стали одним из значимых индикаторов тех изменений в российском обществе, осуществление которых позволяет говорить об еще одном шаге, сделанном страной в сторону постиндустри-

ального общества с его культурным плюрализмом, отказом от систем унификации в сфере общественной жизни и доминированием сетевых структур. Однако для российской науки о религии новые вероучительные системы стали еще и своеобразным методологическим вызовом, поставившим под вопрос потенциал отечественных исследователей в оценке нового феномена и определении перспектив его эволюции. Закрепившийся изначально за «новыми религиями» и долгое время широко использовавшийся термин «культы» был призван подчеркнуть наличие некой «фальши» в самом явлении, его несоответствие традиционным религиозноведческим стандартам в том, чтобы быть типологически отнесенными к религиям.

Если оставить в стороне проблемы классификации данного явления применительно к существующим формам традиционных верований, а также их потенциал в преобразовании социального континуума, то остаются две характерные черты, сделавшие новую религиозность – и отчасти ее носителей – методологической проблемой для религиозноведения как науки. Речь идет о синкретизме и тотальной природе учений новых религий, с одной стороны, и о новых принципах отношения к сакральному началу, вылившихся в формирование нового облика религии и нового типа верующего.

Новые религии, вместившие в себя значительную долю светских и мифологических компонентов, уже по формальным признакам не соответствуют принятым в отечественном религиозноведении характерным чертам религии как общественного явления. Здесь мы не будем касаться тех сущностных черт религии как системы, которые выделяются носителями религиозной мысли. Отметим только изменения, ставшие знаковыми для новых образований религиозного типа. Прежде всего это новое понимание объекта религиозного отношения. Сакральное начало в ряде случаев теряет свою метафизическую природу, начинает совпадать с объектами научного внимания, реалиями светской культуры, феноменами, описываемыми фольклором. Некоторые из новых учений в своих объектах поклонения настолько утрачивают даже внешнее впечатление сакральности, что получают у ряда исследователей и представителей традиционных религий наименование «квазирелигиозных». Иногда обращение даже к привычным сакраль-

ным феноменам сочетается с очень слабым знакомством с его пониманием даже внутри самого нового канона, что ставит вопрос о сомнительном уровне приобщенности неофита к той вере, с которой он себя идентифицирует.

Очень часто такое отношение сочетается с неинституциональностью субъекта религиозного культа. Верующий зачастую полагает себя приверженцем того или иного учения, не всегда полностью воспроизводя необходимые требования культового характера, практически не участвуя в обрядности (в большей степени это касается представителей неоориенталистских и неомифологических объединений). Подобная позиция может находить свое выражение в таком феномене как дрейф верующих (постоянный переход из одной религиозной группы в другую при сравнительно коротком периоде пребывания внутри самой общности), а также идентификация себя одновременно как последователя двух и более учений, иногда имеющих совершенно разные источники происхождения. У религиоведов последнее получило название «двоеверия», хотя на самом деле здесь не всегда имеет место именно наличие веры как способа связи с сакральным. Ее достаточно успешно вытесняют прагматизм, утилитаризм, следование моде.

В исключительных случаях такой верующий становится сторонником собственного учения, которое можно обозначить как «индивидуальную религию». Она формируется как совершенно независимый личностный конструкт, чье существование обеспечивается реалиями светской культуры, допускающей волевое сочетание элементов разных типов мировоззрений. В большей степени возникновение подобных индивидуалистических форм характерно для неофитов с высоким уровнем образования, принадлежащих к гуманитарной интеллигенции. Для них проблема религиозного выбора, предоставляемого светской культурой в полной мере, реализуется путем самостоятельного синтеза либо образования содержательно эклектических построений.

Если добавить ко всему вышеперечисленному факт несуществования в реальности чистой религиозной формы, всегда отягощенной мифологическими построениями и в значительной степени трансформирующейся под напором феноменов, принадле-

жащих к светской культуре, то встает вопрос о том, что именно мы можем связывать с понятием религиозности и в какой мере последнее отражает специфику современной конфессиональной ситуации в мире.

О понятии религиозности прежде всего следует сказать, что оно является центральным для большинства религиоведческих проектов. Несмотря на наличие значительного числа определений данной категории «вопрос о критерии религиозности разными социологами решается по-разному, он нуждается в дальнейшем обсуждении и согласовании»¹. Большинство исследователей сходятся в оценке ее сущностной природы. Внешне различающиеся, все суждения по данному поводу сводятся к пониманию религиозности как специфического состояния индивида и группы, имеющего отношение к объектам религиозного характера:

– «религиозность – качество индивида и группы, выражающееся в совокупности религиозных свойств сознания, поведения, отношений» (И.Н. Яблоков)²;

– «воздействие религии на сознание и поведение как отдельных индивидов, так и социальных и демографических групп», «определенное состояние отдельных людей, групп и общностей, верующих в сверхъестественное и поклоняющихся ему» (Д.М. Угринович)³;

– «определенное состояние индивидов и человеческих общностей различного масштаба, отличительной чертой которого является вера в Бога (и сверхъестественное) и поклонение ему, их приверженность к религии и принятие ее вероучения и предписаний» (Р.А. Лопаткин)⁴;

¹ Дубов И., Ослон А., Смирнов Л. Экспериментальное исследование ценностей в Российском обществе (1994) // Десять лет социологических наблюдений. М., 2003. С. 195.

² Яблоков И.Н. Религиоведение: учебное пособие и словарь-минимум по религиоведению. М., 1998. С. 460.

³ Угринович Д.М. Введение в религиоведение: Изд. 2-е, доп. М., 1985. С. 127.

⁴ Государственно-церковные отношения в России (опыт прошлого и современное состояние) / Отв. ред. Ф.Г. Овсиенко, М.И. Одинцов, Н.А. Трофимчук. М., 1996. С. 194.

– «конкретное проявление религии в индивидуальном и групповом сознании и поведении», «определенное качество личности и даже группы» (Л.Н. Ульянов)¹;

– субъективная приверженность людей к религиозному миропониманию, мироощущению, к выполнению соответствующих религиозных (культовых) действий, характерных для современных конфессий (Н.П. Алексеев)².

Существуют и корреляции описываемой категории с другими религиоведческими понятиями: «Понятие “религиозность” следует соотносить с понятиями “фидеистичность”, “принадлежность к религиозной группе”, “ритуалистичность”. Термин “фидеистичность” употребляется в специальном смысле – для обозначения наличия религиозной веры. “Принадлежность к религиозной группе” означает формальную или неформальную включенность индивида в систему отношений в религиозной группе. “Ритуалистичность” – это присутствие у индивида свойств религиозного поведения. В качестве критериев религиозности наряду с фактами сознания и поведения должны браться также и показатели включенности в религиозные отношения»³.

Тот же И.Н. Яблоков в одной из своих работ разворачивает и динамические характеристики состояния религиозности: «Под “степенью религиозности” понимается определенный уровень интенсивности религиозных свойств (признаков) индивида и группы. Термином “распространенность религиозности” обозначается определенная величина экстенсивности разброса религиозных свойств (признаков) среди населения в целом и внутри различных социальных и демографических групп (доля обладающих религиозными свойствами индивидов среди населения или в группе). *Состояние религиозности* – это рассматриваемая синхронически, относительно устойчивая система субординированных религиозных свойств (признаков) индивида, группы, населения. *Динамикой ре-*

¹ Цит. по: Яблоков И.Н. «Социология религии» // <http://nounsivers.narod.ru/bibl/teosl3.htm#endnote70#endnote70> (проверено 05.08.2008).

² Там же.

³ Там же.

лигиозности правомерно назвать рассматриваемый диахронически переход одного ее состояния в другое. Наконец, характер религиозности можно определить как качественную и количественную особенность, специфику черт религиозности индивида, группы, населения»¹.

Очевидно, что большинство религиоведов сходятся в том, что стоит считать действительно неотъемлемым свойством религиозного субъекта отличие, прослеживающееся лишь в понимании того, что для религии будет считаться наиболее значимыми характеристиками. Именно так называемые «религиозные признаки», их перечень, содержание и значимость, на наш взгляд, и становятся основным камнем преткновения в исследовании сущности и динамики религиозности как свойства субъекта – ее носителя. Необходимость и достаточность критериев религиозности должна определить и то, что следует считать религиозным явлением, и те параметры, по которым необходимо характеризовать соответствующие общины и индивидов.

Украинский исследователь А.А. Панков выделяет ряд признаков, которые могут играть роль соответствующих критериев.

«1. Самоидентификация респондента. Это наиболее распространенный и популярный среди исследователей религиозности критерий определения отношения к религии, но он является сложносоставным. В нем, в свою очередь, выделяются: а) определение отношения человека к религии вообще – религиозная самоидентификация, обычно определяемая по инвариантной шкале типа «верующий – индифферентный – неверующий» или «верующий – колеблющийся – неверующий – атеист»; б) определение отношения человека к конкретному религиозному вероисповеданию – конфессиональная самоидентификация. Первая компонента считается базисной, вторая – «важным конкретизирующим признаком религиозности, получающим выражение и в религиозном сознании, и в религиозном поведении».

2. Определенный круг мировоззренческих представлений, характерных для данного вероисповедания. В качестве соответству-

¹ Яблоков И.Н. «Социология религии» ... Там же.

ющего критерия чаще всего употребляется следующий набор признаков: вера в Бога (представление или допущение существования Бога как сверхъестественного субъекта, влияющего на мир и человеческую жизнь); вера в прочие сверхъестественные реалии, как то: ангелов, бесов, рай, ад, реинкарнацию, возможность магического воздействия на предметы и явления мира; признание основных положений (догматов) того или иного религиозного вероучения.

3. *Совокупность определенных практик* (повторяемых социальных действий, элементов поведения и образа жизни), свойственных данной религиозно-культурной традиции. К данному критерию чаще всего относятся: факт и частота молитвы; посещение храма (молитвенного дома); чтение вероучительной литературы; исполнение основных ритуалов (таинств); практика обращения за советом к духовному наставнику; практика посещения святых мест (паломничество); участие в особых культовых действиях, таких как крестные ходы в христианстве; наличие дома предметов культа»¹.

В условиях современного общества, когда сложно осуществлять принцип неучастия в социальных практиках, хочется добавить к вышеперечисленному еще и участие во внекультовой деятельности, осуществляемой соответствующей общиной. Далее мы еще вернемся к специфике религиозности современного этапа существования культуры.

В этой связи актуальным представляется замечание о том, что «использование всего набора признаков для установления религиозности индивида излишне» и что в качестве ее критерия достаточно выделить «либо один определяющий признак, либо минимальный набор таковых»². Особенно важно это для новых религиозных форм, которые изменили представления о том, что считать религией и сделали особенно актуальным вопрос об изменении самой методологии

¹ Подробнее см.: *Панков А.А.* К вопросу о критериях современной религиозности // http://www.rusnauka.com/11_NPRT_2007/Psihologia/22420.doc.htm (проверено 05.08.2008).

² *Дубов И., Ослон А., Смирнов Л.* Экспериментальное исследование ценностей в Российском обществе (1994) // Десять лет социологических наблюдений. М., 2003. С. 194.

религиоведения как дисциплины. Отсутствие у ряда общин общепринятых характеристик религиозных учений и сообществ спровоцировало широкое употребление таких терминов как «секта», «культ», «квазирелигия». В интересах методологической корректности проблема определения религиозности субъекта сводится к тому, какой признак (совокупность признаков) следует считать определяющим для признания за феноменом статуса «религиозного».

Именно этот ракурс в определении религиозности и становится причиной разделения исследователей на два основных направления в соответствии с методологической позицией, что отмечается в большинстве обзоров религиоведческих школ¹.

Первая позиция представлена Д.Е. Фурманом, С.Б. Филатовым, Р.Н. Лункиным, Л.М. Воронцовой, Н.А. Митрохиным и др. Условно ее можно определить как основанную на примате мировоззренческого компонента религиозной системы. «Для них, прежде всего, таким критерием выступает постоянное внешнее подтверждение религиозной позиции субъекта, выражающееся в регулярном отправлении культовых действий любого рода: «когда вера приводит к регулярному посещению церкви, причащению, соблюдению постов и т.д., то есть когда человек ради нее готов чем-то поступиться, если его поведение как-то меняется»². Напротив, «культурная религиозность, или религиозная самоидентификация», по мнению исследователей данной группы, «является мировоззренческой, идеологической позицией, но не религиозностью в прямом смысле этого слова. Самоидентификация не предполагает, что данный человек разделяет соответствующие религиозные верования и следует религиозным практикам»³. Стоит отметить, что данная группа исследователей чаще использует комплексные критерии. В частности Н.А. Митрохин не считает православными лю-

¹ Панков А.А. К вопросу о критериях современной религиозности ... Там же.

² Чеснокова В.Ф. Воцерковленность: феномен и способы его изучения // Десять лет социологических наблюдений. М., 2003. С. 27.

³ Фурман Д.Е., Каарийайнен К. Религиозная стабилизация: отношение к религии в современной России // Свободная мысль-XXI. Теоретический и политический журнал, 2003. № 7. С. 39-40.

дей, всего лишь регулярно посещающих богослужения, поскольку они воспринимают православные святыни, требы и таинства чисто магически, не проявляют интереса к их аутентичному содержанию¹. Для характеристики такой стратегии поведения иногда используют термин «наивно-магическое» восприятие². Таким образом, исследователи данной группы считают критерием религиозности полноту религиозного образа действий и образа мысли.

Выразителями второй позиции в отечественной социологии являются такие исследователи как В.Ф. Чеснокова, Ю.Ю. Синелина, З.И. Пейкова и некоторые другие. Мы будем трактовать ее как использующую критерий вовлеченности в религиозную жизнь. Исследователи склонны считать ключевым признаком религиозности именно самоидентификацию, осознание человеком себя как принадлежащего к данной конкретной религии. В этой связи, по словам Ю.Ю. Синелиной, даже «вопиющая религиозная безграмотность не может служить основанием, чтобы отказывать людям в праве именовать себя православными, если они так себя определяют, поскольку эти люди на пути к целям, установленным Церковью (целям, которые они сами для себя обозначили, назвав себя православными), находятся в процессе духовного самосовершенствования»³. В.Ф. Чеснокова объясняет такую позицию тем, что главным измерением религиозности является ее направленность. Что же касается таких признаков религиозности как поведение, знание догматов, благочестие, которые другие исследователи обычно квалифицируют как показатели уровня и степени религиозности, то они относятся «к глубине и формам верования, а не к его направленности»⁴. Глубина верования, со-

¹ Митрохин Н. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. М., 2004. С. 43

² Панков А.А. Современные трансформации религиозного сознания и религии как социального института // Проблемы розвитку соціологічної теорії. Матеріали першої Всеукраїнської соціологічної конференції. Київ, 2001. С. 218-224.

³ Синелина Ю.Ю. О критериях определения религиозности населения // Социологические исследования, 2001. № 7. С. 95.

⁴ Чеснокова В.Ф. Число православных в России увеличивается // <http://club/fom/ru/article/php?id=10> (проверено 29.09.2008 г.).

гласно концепции этого автора, описывается применительно к православному христианству другим понятием – «воцерковленностью» – и выявляется целым рядом признаков (в идеале их может быть великое множество). Направленность же содержит только одно измерение: православный – неправославный¹. В соответствии с этим критерий религиозности заключается в самоидентификации: так, «православные» – это те, кто: а) признал, что верует в Бога; б) сам отнес себя к православным².

Согласно Панкову, «и первая, и вторая позиции имеют как существенные недостатки, так и существенные достоинства. Так, к достоинствам первой позиции относится комплексный характер критерия религиозности и требование подтвердить самоопределение респондента аргументами объективного характера. Слабое место – это сам предлагаемый ее сторонниками способ такого подтверждения – увеличение числа фильтров в виде формальных требований к верующему. Подобный метод, во-первых, на практике зачастую ведет к произвольности выбора таких критериев, во-вторых, не имеет принципиальных ограничений на их количество. Логика данного подхода закономерно приводит к выводу, что «настоящих» верующих ничтожно мало.

Соответственно к недостаткам второй позиции следует отнести односторонность, одномерность предлагаемого критерия религиозности. Здесь имеет место смешение категорий необходимого и достаточного оснований. Самоидентификация, действительно, выступает необходимым условием отнесения человека (группы) к верующим и в этом качестве – к субъектам данной конфессиональной религиозной культуры, но для достаточности этого основания требуется дополнить его другими весомыми аргументами. Достоинство же этой позиции видится во внимании к особенностям конкретной, например православно-христианской или исламской религии, к поиску адекватных «инструментов» ее изучения, которого сегодня, по мнению И.В. Налетовой, «очевидно недостает» социологии^{3,4}.

¹ Чеснокова В.Ф. Число православных в России увеличивается ... Там же.

² Панков А.А. К вопросу о критериях современной религиозности ... Там же.

³ Налетова И.Н. «Новые православные» в России: тип или стереотип религиозности // Социологические исследования, 1999. № 5. С. 135.

⁴ Панков А.А. К вопросу о критериях современной религиозности ... Там же.

В нашем представлении некоторый «срединный» путь в определении сути религиозности как неотъемлемой характеристики субъекта, относящегося к религиозной сфере, выбран И.Н. Яблоковым, причем вполне обоснованно¹. Отправной точкой в установлении критериев религиозности становится религиозная вера. «Последняя включает знание и принятие в качестве истинных определенных религиозных идей, понятий, представлений (догматов и т.д.) и уверенность в объективном существовании существ, свойств, связей, которые составляют лишь предметное содержание религиозных образов»².

Базовый критерий не претендует на исключительность в характеристике религиозного пространства. У Яблокова он дополняется так называемыми специальными критериями, одним из которых становится исследование религиозного сознания, включающее «в себя и изучение религиозных мотивов различных видов деятельности. Религиозный мотив, как правило, действует в совокупности с другими стимулами. Отсюда важность определения места религиозных мотивов в системе мотивации поведения»³. По нашему мнению, данный критерий является не столько специальным, сколько вторичным, поскольку само наличие веры определяет – пусть и не полностью – мотивы социального поведения индивида. Религиозное сознание, для которого определяющим является состояние веры, вряд ли в качестве доминирующих составляющих будет содержать нерелигиозные феномены.

Внимание уделяется и показателям религиозного поведения: «Совершение таких обрядов как крещение, участие в религиозных праздниках, посещение церкви нельзя брать в качестве таковых критериев. При поисках поведенческих показателей религиозности следует, на наш взгляд, ориентироваться прежде всего на те акты поведения, которые непосредственно связаны с религиозным сознанием. Именно они совершаются под влиянием религиозных представлений,

¹ Яблоков И.Н. «Социология религии» // <http://nounsivers.narod.ru/bibl/teosl3.htm#endnote70#endnote70> (проверено 05.08.2008 г.).

² Там же.

³ Там же.

чувств, настроений. Только в том случае, если совершение обряда, участие в религиозном празднике, посещение богослужений определяются религиозными мотивами, эти виды поведения свидетельствуют о религиозности. К главным и основным критериям могут быть отнесены: совершение молитвы, исповедь, пропаганда религии, религиозное воспитание в семье и т. д. Кроме основных показателей в зависимости от исследуемой проблемы выделяется ряд специальных критериев. Ими могут быть совершение обрядов, посещение богослужений, чтение религиозной литературы и др.»¹.

Опора на внутреннее, а не внешнее отношение к сакральному вполне справедливо признана автором концепции одним из ведущих критериев религиозности. Сами по себе формы коллективной культовой практики, особенно в регионах с доминированием традиционной культуры и слабо развитой идеей свободы выбора для человека, свидетельствуют лишь о наличии развитого культа и тех устойчивых групп, которые составляют его социальную основу. В последнем случае речь скорее идет о традиционно-мифологическом восприятии священного начала. Однако и индивидуальная обрядность требует весьма вдумчивого отношения, поскольку может являться следствием системы воспитания, стереотипов общественного мышления и т.п. Кроме того – как показывают проводимые нами исследования – участие в некоторых обрядах может осуществляться по мотивам следования моде, из интереса, из коммерческих соображений. По нашему мнению, индивидуально-личностное содержание религиозной веры является наиболее трудно фиксируемым и верифицируемым фактором. Все вытекающие из него факты участия человека в жизни религиозной общины и отправлении любых культовых действий в равной мере могут быть подтверждением как религиозности индивида, так и других его качеств.

Рассматривается и система определенных отношений с людьми как внутри религиозной группы, так и вне ее, для субъекта – носителя религиозности: «критерии религиозного сознания и поведения должны быть поставлены в связь с показателями включенности индивида в религиозные отношения. Важным показателем яв-

¹ Яблоков И.Н. «Социология религии» ... Там же.

ляется членство в религиозной общине, в исполнительных органах. О включенности или невключенности индивида в систему религиозных отношений можно судить по составу той неформальной контактной группы, членом которой данный индивид является. Должно приниматься во внимание и отношение члена религиозной группы к светским общностям, к нерелигиозным коллегам по работе, к соседям»¹.

Данные положения одного из самых авторитетных отечественных религиоведов представляются нам весьма спорными, поскольку в условиях современной культуры членство в религиозной группе уже перестало быть обязательным для самого индивида, зачастую воспитанного в традициях светского индивидуализма. Наличие элементов светской культуры приводит к атомизации общественной жизни и все более четком очерчивании сферы частного пространства, за пределы которого состояние веры может и не выходить. Именно поэтому и участие во внекультурной деятельности нельзя считать определяющим в оценке индивида.

Что касается использования количественных характеристик для изучения религиозности, то тут предложенная И.Н. Яблоковым методика оценки является в полной мере исчерпывающей: «В этом случае достаточно выделить такие показатели, которые свидетельствуют хотя бы о “минимуме религиозности”, причем можно отвлечься от измерения интенсивности религиозных свойств. Интенсивность религиозной веры, степень религиозной информированности, уровень религиозной мотивации, частота совершения того или иного акта религиозного поведения свидетельствуют не о наличии или отсутствии свойства, а о его мере. Мера выясняется тогда, когда наличие свойства уже установлено. “Интенсивность”, “уровень”, “частота”, “объем” не являются критериями религиозности, они характеризуют ее степень. Учет степени интенсивности религиозного свойства важен при построении шкал, при разработке типологии»². Последнее помогает развитию такой отрасли религиоведческих дисциплин, как сравнительное религиоведение.

¹ Яблоков И.Н. «Социология религии» ... Там же.

² Там же.

Таким образом, оптимальным при фиксации и характеристике религиозности приходится признавать комплексный подход: «учет объема, содержания и уровня религиозного сознания, степени включенности индивида в религиозные отношения, интенсивности религиозного поведения»¹. Это находит свое выражение в следующих параметрах: содержание и интенсивность религиозной веры, интенсивность религиозного поведения и его место в общей системе деятельности человека, роль индивида в религиозной группе, степень активности в распространении религиозных взглядов, место религиозных мотивов в структуре мотивации религиозного и нерелигиозного поведения.

Оригинальный вариант разрешения проблемы критерия религиозности предложен С.Д. Лебедевым². Его критика приведенных выше парных концепций имеет междисциплинарный уклон: «На наш взгляд, обе сложившиеся в российской социологии религии концепции религиозности, на наш взгляд, абсолютизируют различные системные свойства религиозной культуры. Социологи – сторонники первой концепции религиозности, фактически руководствуясь системным принципом, взяли за образец системы идеальный законченный вариант ее развития и не учли при этом самого момента развития и становления, самоорганизации религиозной культуры. Их оппоненты, напротив, абсолютизировали момент развития, вынеся за скобки понятия «религиозность» практически все ее культурные объективации и попытавшись обосновать в качестве такого репрезентанта «голую» самоидентификацию респондента. Для последовательного проведения принципа системности необходимо найти баланс, «золотую середину» между той и другой концепциями»³.

Фактически исследователь смещает акцент с сугубо религиозно-ведческой трактовки данного явления в сторону культурологического подхода: «Нам представляется, что тем полем, на котором

¹ Яблоков И.Н. «Социология религии» ... Там же.

² Лебедев С.Д. В дискуссии «Статьи и суждения» 01.03.2006 // <http://club.fom.ru/entry.html?entry=2538> (проверено 05.08.2008 г.).

³ Там же.

обе эти концепции могут быть сопоставлены, является религиозная культура. Именно отношение к культурному измерению религиозности выступает здесь тем «пробным камнем», который лежит в основе их принципиального различия»¹.

Автор предполагает, что в основу критерия религиозности целесообразно положить тот «подход, который в наибольшей степени учитывает закономерности формирования и развития религиозной культуры в «реальном режиме» ее социальной репрезентации. Таковым нам представляется системный подход»². Стоит отметить, что означенный подход не столько самостоятельно сформулирован автором, сколько сконструирован на основе ряда культурологических концепций, для которых религия как феномен является одним из частных проявлений культуры³.

На основе ряда характеристик выделяются следующие, связанные с религиозным мировосприятием: 1) религиозность основана на прогрессирующем усвоении (инкультурации) социальным субъектом определенной религиозной культуры; 2) культура, в том числе религиозная, является самоорганизующейся системной целостностью, которая развивается из некоторого субминимального состояния до состояния относительно полного и завершенного; 3) религиозность современного человека есть результирующая взаимодействия секуляризованной светской культуры, изначально определяющей его жизненный мир, и конфессиональной религиозной культуры, помещаемой им в центр своего жизненного мира и трансформирующей его.

Как видно, автор данной концепции претендует на реализацию принципа взаимного дополнения субъективного признака религиозности (религиозная и конфессиональная самоидентификация) и ее объективного признака как «минимального репрезентанта соответствующей религиозной культуры, с которым в решающей степени связан ее потенциал самоорганизации»⁴. При этом степень

¹ Лебедев С.Д. В дискуссии «Статьи и суждения» 01.03.2006 ... Там же.

² Там же.

³ Астафьева О.Н. Синергетический подход к исследованию социокультурных процессов: возможности и пределы. М.: Изд-во МГИДА, 2002. С. 60.

⁴ Лебедев С.Д. В дискуссии «Статьи и суждения» 01.03.2006 ... Там же.

развития данного репрезентанта – количество его структурных элементов и сложность связей между ними, выражаемые понятием «воцерковленность», рассматриваются как не играющие принципиальной роли. Доминирующим фактором объявляется «способность культуры достичь в перспективе такой степени развития, чтобы интегрировать вокруг себя наличное социальное знание субъекта и таким образом осуществить культурный синтез светского паттерна, исходного для этого субъекта, и религиозного паттерна, осознанно культивируемого этим субъектом. В оптимальном варианте такой синтез будет напоминать в своих ключевых чертах сорокинский тип интегральной системы культуры»¹.

Тем не менее, хочется отметить, что предложенный выход из ситуации разногласий в методологии религиоведения на самом деле не является решением проблемы. Процесс усвоения религиозной культуры тоже требует некой шкалы для замера. Большей частью при этом приходится опираться на внешние признаки, которые, как отмечалось выше, не могут служить исчерпывающим аргументом в пользу искренней религиозности субъекта. Уровень развития самой культуры тоже никоим образом не свидетельствует о наличии в ней определенной доли религиозного компонента. Что касается специфики современной религиозности, то в этом отношении мы готовы полностью согласиться с автором, зафиксировав только в мировоззрении современного индивида еще и мифологическую составляющую.

Далее фактически С. Лебедев возвращается к тому, что было ранее предложено Яблоковым – к пониманию веры как центрального звена религиозного мировосприятия, хотя и использует для этого на первый взгляд сугубо специфические термины: «Объективный субминимум религиозной культуры предполагает, на наш взгляд, три свойства. Во-первых, он должен представлять «ядерный» элемент религиозной культуры – такой, который определяет направленность ее развития и образует ее смысловой «эпицентр», на раскрытие, усиление и упрочение которого должно быть в идеале направлено функционирование всех интегрирующихся вокруг него элементов. Иначе говоря, данный элемент должен представ-

¹ *Лебедев С.Д.* В дискуссии «Статьи и суждения» 01.03.2006 ... Там же.

лять собой некий «стержень» воцерковленности человека, без которого эта последняя теряет свой смысл, становясь, по словам А. Дж. Тойнби, историческим псевдоморфозом. Во-вторых, этот элемент должен обладать высоким потенциалом доминирования среди других подобных ему элементов. В-третьих, данный элемент должен быть в своем роде универсален – он должен выражать саму сущность религии и религиозности, то «всеобщее» в ней, что объединяет и спаивает остальные ее элементы»¹.

Внимательное прочтение вышеприведенного текста показывает, что его автор не добавляет ничего нового в существующие методологические построения религиоведения как дисциплины. Собственно и сам автор – возможно не желая того – указывает на свою принадлежность к уже существующим взглядам: «С нашей точки зрения, всем этим требованиям отвечает одна вполне конкретная ценностная ориентация, которая может быть обозначена как ориентация на ценность религиозной веры. Именно религиозная вера, возведенная в ранг ценности, выступает тем универсальным индикатором, который позволяет отличить религиозного (верующего) человека от человека арелигиозного (неверующего). Евангельская крылатая фраза «Верую, Господи, помоги моему неверию!» выражает эту ценностную ориентацию как нельзя более точно. Она означает, что ценность религиозной веры имеет для человека терминальный (смысложизненный) характер: он не ощущает себя достигшим должного состояния веры, но стремится к ней как к очень важной, если не важнейшей цели своей жизни. Такая тяга к вере – это та константа религиозности, одновременно предполагающая тот минимум принадлежности к религиозной культуре, которые характеризуют человека как «уже принадлежащего религии»².

Позволим себе не согласиться с представлением о вере как некой целевой точке, к которой стремится религиозный индивид. Сам факт зафиксированного отношения к сакральному уже говорит о наличии веры как феномена, а приведенная выше фраза отмечает скорее то положение, которое занимает в религиозном пространстве человек относительно Бога. Говорить о вере как о ценности

¹ Лебедев С.Д. в дискуссии «Статьи и суждения» 01.03.2006 ... Там же.

² Там же.

также представляется не совсем корректным, поскольку само состояние веры для религиозного индивида имеет не просто более высокое существование. Оно ограничивает два континуума – религиозных и нерелигиозных людей и в качестве неотъемлемой части для первых не может быть оценена в количественных параметрах как значимая более или менее. Вера играет не только смыслонаделяющую роль, она конструирует пространство, переводя мифологическую космогонию в иное измерение.

Это и последующие построения, по нашему мнению, относят самого исследователя ко второй группе религиоведов, признающих приоритет внутренних факторов в определении религиозности как феномена: «Что же касается показателей религиозной и конфессиональной самоидентификации, то их функция заключается в конкретизации той религиозной культуры, «зерно» которой, проявляющееся в форме ценности религиозной веры, прорастает в сердце и голове верующего человека. Оба эти момента связаны с самореференцией культуры. Так, признание себя «верующим» свидетельствует в данном случае об осмысленности религиозного выбора, а соотнесение себя с определенной конфессией указывает на конкретный религиозно-культурный «генотип», который в конечном итоге будет определять специфику сакрального отношения и путь развития религиозной культуры данного субъекта. Если человек, для которого религиозная вера является ценностью терминального характера, в то же время субъективно считает себя верующим и идентифицирует себя, например с православной традицией, то можно говорить о присутствии в его сознании минимального репрезентанта православной религиозной культуры»¹.

Базовые параметры религиозности как явления у исследователя не зависят от реализации реальных культовых практик и разного рода религиозных отношений, соотносясь исключительно с самоопределением индивида как сугубо субъективным действием: «субминимальным (необходимым и достаточным) критерием религиозности является наличие в сознании человека (группы) следу-

¹ Лебедев С.Д. в дискуссии «Статьи и суждения» 01.03.2006 ... Там же.

ющих трех признаков: 1) терминального характера ценности религиозной веры; 2) положительной самоидентификации субъекта в отношении религии; 3) положительной самоидентификации субъекта в отношении какой-либо конкретной конфессии»¹.

Остановимся на том, что само явление религиозности должно рассматриваться как сочетающее внешние (социальные) и внутренние (социализированные индивидуальные) характеристики с верификацией верующего как такового на основе самовосприятия с дополнительной коррекцией такого рода утверждений через внешние стороны учения, культовой и внекультовой деятельности.

Дополнительные сложности в характеристике конфессий, в их содержательной и формальной сторонах создает то обстоятельство, что традиционно выделяемые внутри религиозной системы религиозные составляющие: сознание, деятельность, институты, отношения и организации в границах объединений нового типа не всегда имеют четкое определение. Отечественным исследователям приходится признать, что специфическая природа этих составляющих религии как социального феномена (смешение организационных форм, доминирование внекультовой деятельности над обрядностью, слабое развитие или отсутствие ряда институциональных образований и т.п.) требует формулировки более гибких критериев характеристики религиозности в современном мире. Явления религиозной природы помещаются в те сферы, которые с эпохи Нового времени были отнесены к пространству секулярной культуры. В свою очередь, секулярные феномены, как уже отмечалось выше, наделяются сакральной природой, беатифицируются. Очевидно, что в социумах позднеиндустриального и постиндустриального типов, к каковым скоро можно будет отнести и российское общество, религия как сфера общественного бытия не только изменяет свою природу, но и становится объектом междисциплинарного анализа. Для российского религиоведения это означает необходимость не только корректировки категориального аппарата, но и задействования инструментария смежных дисциплин.

¹ Лебедев С.Д. В дискуссии «Статьи и суждения» 01.03.2006 ... Там же.

Глава 3

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА В ПОИСКЕ НОВЫХ ПАРАДИГМ

§ 1. НАТУРАЛИЗАЦИЯ ЭПИСТЕМОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аналитическая философия права на рубеже веков развивается в большей степени под воздействием не отраслевых юридических наук, а под влиянием общих закономерностей научного познания, изменением научных представлений о моделях объяснения и научной рациональности в целом. Одним из важнейших факторов развития аналитической философско-правовой традиции в настоящее время становятся попытки прямого применения философской и научной аргументации основных концепций философии науки к анализу традиционной философско-правовой проблематики. В этом смысле классические вопросы о понятии и сущности права, соотношении права и государства, природе правовой системы и способах изучения правовой реальности в настоящее время могут быть сведены к постановке наиболее значимой теоретико-методологической проблемы – какие *модели юридического объяснения* используются в процессе изучения философско-правовых вопросов и каковы теоретические ограничения и постулаты, формирующие научные представления о правовой реальности. Конкуренция основных методологических подходов в философии права XX в. (натурализм, позитивизм, реализм) превращается в научную дискуссию о поиске наиболее обоснованной аргументации, модели юридического объяснения и оценки процесса «*натурализации юриспруденции*», что выступает основанием для появления эпистемологии права как специфической области философско-правового знания.

Впервые использование философской программы «натурализации эпистемологии» в сфере юриспруденции наблюдается в работах Б. Лейтера, который стремится дать собственную оценку достижениям американского правового реализма с позиции формирования натурализованной эпистемологии права. При этом Б. Лейтер

полагает, что реалисты приводят аргументы в пользу необходимости создания натурализованной юриспруденции, которая избегает анализа понятий в пользу постоянства эмпирического исследования¹. Обоснование такого утверждения в данном случае требует существенного изменения юридической аргументации и исследования различных значений термина «натурализм» в области философии науки и философии права в контексте процедур натурализации эпистемологии. В дальнейшем различные интерпретации натурализма будут представлены с точки зрения критического анализа работ Б. Лейтера и с позиции научного исследования возможностей выявления таких форм натурализма в области юридического знания².

Философское и философско-правовое понимание натурализма в его классическом выражении значительно расходятся. В философии права термином «натурализм» обозначаются естественно-правовые теории античности, средних веков и Нового времени независимо от их внутреннего содержания. Ключевым положением при этом является то, что в структуре правовой реальности необходимо выделять наряду с позитивным правом (правовыми нормами, установленными государством и не существующими вне государства) сферу естественного права (представления о морали и справедливости; право, имеющее природное происхождение и действующее наподобие законов природы; неотчуждаемые права, присущие человеку как природному и социальному существу)³. Такое понимание натурализма становится основой для появления множества метафизических концепций естественного права в XVI–XVII вв. и в эпоху Просвещения. В дальнейшем позиции классического натурализма в праве пересматриваются в связи с появлением концепций юридического позитивизма, общее утверждение которых состояло в том, что естественное право относится к области морали и не имеет

¹ *Leiter B. American Legal Realism // Public Law and Legal Theory Research Paper, 2002. V. 42.*

² *Дидикин А.Б. Натурализация эпистемологии в юридической сфере: критический анализ философско-методологического проекта Б. Лейтера // Материалы Летней философской школы «Голубое озеро-2006». Наука и философия в Сибири. Новосибирск, 2006.*

³ *Фуллер Л.Л. Мораль права. М., 2007.*

юридического значения, а исследоваться должно прежде всего позитивное право и его отдельные элементы. Такое положение ограничивает юридическую сферу действующими источниками права, которые применяются при наличии специального признания и санкции со стороны государства и общественных институтов.

Несмотря на доминирование позитивизма в отраслевых юридических науках сохраняется базовое утверждение онтологического натурализма (Дж. Локк, Т. Джефферсон) о наличии у индивида естественных и неотчуждаемых прав, существование которых предшествует воздействию норм позитивного права на поведение индивида. Данный тезис имеет существенное значение для юридической практики, развития международного и внутригосударственного права, но остается теоретически ограниченным установками и аргументацией правового позитивизма¹. Но помимо данного тезиса Б. Лейтер указывает на специфику методологического натурализма, который формируется в философии науки в концепциях У. Куайна и его аргументах против фундаменталистских программ научного познания².

Методологический натурализм выступает философской позицией, которая позволяет дать альтернативные ответы на вопрос о реальности объекта научного познания. В частности, *онтологический натурализм* основывается на существовании только физических явлений, познаваемых методами естественных наук. Из позиции физикализма следует, что в социальных науках общество как объект познания не существует в качестве единого целого, а представляет собой совокупность индивидов. Соответственно, в юриспруденции концепции *нормативного методологического натура-*

¹ Дидикин А.Б. Методологический анализ оснований международного права в неопозитивистской теории Г. Харта // Международное сотрудничество России и ее субъектов: история и современность. Сб. трудов. Новосибирск, 2005.

² Leiter B. Naturalised Epistemology and Law of Evidence // Public Law and Legal Theory. Research Papers. 2001. №. 1-8; Naturalistic Epistemology. A Symposium of Two Decades. D. Reidel Publishing Company, 1987; Hookway C.J. Naturalism and Rationality // University of Sheffield (www.sheffield.ac.ru); Feldman R. Naturalised Epistemology (2001) // Stanford Encyclopedia of Philosophy (www.plato.stanford.edu).

лизма (юридический позитивизм и неопозитивизм) направлены на обоснование эмпирических методов изучения судебных решений как актов правоприменения, способов доказывания и оценки доказательств. Основу нормативности в данном случае составляют юридические нормы (правила) как необходимое условие обоснования судебного решения, поэтому позитивистские концепции образуют «фундаменталистскую» модель юридического объяснения. Помимо этого, в XX в. сохраняют свое значение и возрождаются *классические формы натурализма*, в частности в скандинавском правовом реализме (А. Росс), когда правовые явления изучаются через категории и понятия психологии. Реализм в такой интерпретации допускает возможность натурализации философско-правового знания даже без критики априорности юридических правил. Однако реальная попытка натурализации юриспруденции, по мнению Б. Лейтера, осуществляется именно в американском правовом реализме. Третьей формой становится *концептуальный натурализм* (аналитические концепции естественного права), основной постулат его состоит в том, что в процессе толкования юридических норм возможно выявление их морального содержания и, соответственно, интерпретации значений этических категорий и понятий. Естественное право в этом случае воплощено в позитивном праве и составляет неотъемлемую характеристику позитивной правовой системы.

В отличие от онтологического натурализма *семантический натурализм* характеризуется тем, что философский анализ понятийного аппарата науки сводится к эмпирическому изучению объекта научной теории, то есть по существу философское исследование представляет собой подобие эмпирического исследования, направленного на описание явлений научной теорией. Семантические формы натурализма фактически не были распространены на юридическую науку из-за нормативности позитивистской методологии права. Таким образом, наиболее радикальной современной версией натурализма в правоведении, допускающей критику нормативности правовых правил, становится именно американский правовой реализм, что, по мнению Б. Лейтера, позволяет применить аргументы У. Куайна в юридической сфере: а) критика

априорности; б) критика фундаменталистских программ научно-го объяснения; в) идея «возвращения психологии».

Критика априорности юридических правил в американском правовом реализме основывается на утверждении, что содержание правовых правил определяется реальной практикой их применения судебными и административными органами власти в процессе принятия юридически значимых решений. В то же время на процесс принятия судебного решения оказывают влияние социологические, психологические и экономические факторы, поэтому обоснование юридических выводов невозможно путем традиционной ссылки на действующие правовые нормы. Их научное объяснение должно основываться на материалах реальной судебной практики, и в этом смысле является предметом натурализованной юриспруденции. Однако в концепциях методологического натурализма содержатся дополнительные аргументы в пользу натурализации юридического знания: «преемственность результатов познания» (философско-правовые утверждения обосновываются данными отраслевых юридических наук) и «преемственность методов» (философско-правовые теории опираются на наиболее эффективные специальные юридические методы, определяющие способ объяснения правовых явлений). С позиции Б. Лейтера аргумент У. Куайна против априоризма позволяет объяснить значение американского правового реализма в развитии юриспруденции и его эффективность. Таким образом, основной постулат реалистов состоит в том, что правовые решения требуют эмпирического обоснования.

Но особенности романо-германской и англо-саксонской правовых систем даже в условиях интеграции и взаимодействия не позволяют однозначно утверждать ошибочность «юридического формализма» и отсутствие нормативности юридических правил. Законы как основные источники права в романо-германской правовой системе содержат прежде всего правовые нормы как стандарт и модель должного развития общественных отношений. Любое правовое решение независимо от его социальной обусловленности оценивается с позиции именно законодательства и в любом другом случае не является правовым. Таким образом, социальные факторы сами по себе не позволяют дать адекватное научное объяснение

правового явления. В то же время в англо-саксонской правовой системе прецеденты вышестоящих судов не только *вводят ограничения* на толкование норм Конституции США и законов, но и являются *нормативной* основой принятия любого судебного решения. В этом смысле позиция реалистов не опровергает основные постулаты юридического позитивизма (объяснение на основе правил) даже при использовании аргументов о «судейском усмотрении» (Р. Дворкин) и «практике применения правил должностными лицами» (Дж. Рэз)¹. Наиболее адекватной становится сформулированная Г. Хартом в «Постскрипуме» позиция, позволяющая включить в систему логически взаимосвязанных «первичных и вторичных правил» «правовые принципы», которые оцениваются по степени значимости судьей при принятии решения². Это позволяет сохранить нормативность правовых правил.

Классической «фундаменталистской» моделью юридического объяснения, подлежащей критике в правовом реализме, является позитивистская модель, где разграничение юридических и неюридических норм (правил) проводится по источнику происхождения (для юридических норм необходимо соблюдение парламентских процедур законотворчества)³. Критика в данном случае основана на аргументах о существовании «внепозитивного естественного права» (Л. Фуллер, Дж. Финнис) и реалистическом утверждении, что моральные и политические решения *полностью определяют* юридические выводы судей и иных должностных лиц (Р. Дворкин)⁴. Примером проявления кризиса юридического позитивизма являются аргументы Джозефа Рэза против неопозитивистской доктрины

¹ Дидикин А.Б. Философия права Р. Дворкина и современный либерализм: от натурализма к реализму // Актуальные проблемы социальных и гуманитарных исследований. Новосибирск, 2006.

² Hart H.L.A. Concept of law. Second edition. Oxford, 1994; Харп Г. Понятие права / Пер. с англ. Е.В. Афонасина, А.Б. Дидикина. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007.

³ Афонасин Е.В., Дидикин А.Б. Философия права. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2006.

⁴ Дидикин А.Б. Методология практической рациональности и метафизика общего блага в философии права Дж. Финниса // Наука. Технологии. Инновации. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006.

Г. Харта: содержание «правила признания», имеющего высшую юридическую силу в системе правил, вытекает не из социальных фактов и источников происхождения, а из реальной практики применения должностными лицами этого правила для разрешения споров. Критерий законности в данном случае конвенционален и не сводится к соблюдению действующих правовых правил¹.

Американский правовой реализм в качестве решающего аргумента против юридического позитивизма вводит «тезис о неопределенности юридических правил»: правила неопределенны по содержанию и подлежат специальной судебной интерпретации в процессе создания прецедентов, которые изменчивы. Отсюда следует невозможность объяснения судебного решения на основе законов и иных юридических правил и, как отмечает Б. Лейтер, эффективнее заменить позитивистскую теорию законности на эмпирическую теорию судебного решения. Следовательно, теория судебного решения должна быть *описанием* причинных связей между фактическими ситуациями и реальными судебными решениями без апелляции к нормативно-правовым основаниям². Это становится этапом натурализации юриспруденции как научной дисциплины.

Однако позиция реалистов не позволяет опровергнуть нормативность и использование юридической логики в судебных решениях. Влияние моральных и политических факторов не исключает применения логической аргументации и формализма в процессе обоснования в мотивировочной части содержания окончательных выводов суда. Такая процедура представляет собой неотъемлемую характеристику любого судебного процесса, а ее нарушение влечет пересмотр,

¹ *Dworkin R. Judicial Discretion // Journal of Philosophy, 1963. V. 60. № 21. P. 624-638; Dworkin R. Is law a system of rules? // Philosophy of Law. Edited by R. Dworkin. Oxford, 1977. P. 38; Dworkin R. Objectivity and Truth // Philosophy and Public Affairs, 1996. V. 25. № 2. P. 87-139; Dworkin R. Taking Rights Seriously. Harvard, 1977. (Рус. перевод: Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004).*

² *Leiter B. Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy. Introduction: from Legal Realism to Naturalised Jurisprudence (2006) [www.papers.ssrn.com].*

либо отмену судебного решения. Тезис о неопределенности правил также не является верным, поскольку содержание законодательства становится более определенным под влиянием обязательных к исполнению правовых позиций конституционных и верховных судов, которые по существу конкретизируют положения законов.

В конечном итоге натурализация эпистемологии права как раз и предполагает признание «антифундаменталистской» позиции: правовые основания (правила) не предопределяют решение спора и не позволяют обосновать юридические выводы. Натурализованная юриспруденция, таким образом, превращается в один из разделов социологии (а юридическое знание в разновидность социологического, психологического и иного социального знания). Однако нормативность, по мнению Б. Лейтера, сохраняется только в отношении понятия права, которое фактически используется в судебной практике, что является важным ограничением позиции реалистов. В действительности нормативность правовых норм сохраняется на разных этапах юридической деятельности и механизма правового регулирования: «презюмции» позволяют предсказывать отдельные варианты юридически значимого поведения, а «фикции» – моделировать возможные ситуации. Кроме того, функция юридических правил состоит в определении правового статуса судей и иных должностных лиц (наделение властными полномочиями конкретных социальных субъектов), ограничений судебской деятельности (регламентация судебных процедур, делопроизводства, способов доказывания и оценки доказательств) и в обеспечении единообразия судебного толкования нормативно-правовых актов. Субъективность оценки доказательств не имеет существенного значения ввиду наличия множества инстанций и возможностей устранения «судебных ошибок».

Таким образом, несмотря на широкую известность реалистской аргументации в теории права и проекта «натурализации юриспруденции» Б. Лейтера, реальное применение данного проекта фактически лишает философию права и отраслевые юридические науки предметной специфики и возможностей формирования эффективных методологических средств познания правовой реальности.

**§ 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СТАРОЙ
ИДЕИ «ПРАВО – МАТЕМАТИКА СВОБОДЫ»:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТ КРАСИВОЙ МЕТАФОРЫ
К ЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ПОНЯТИЙ
(Исследование формального аспекта юридических
модальностей «право» и «обязанность», «свобода»
и «необходимость», «невиновность» и «ответственность»:
старые феномены и новые тренды)**

Знаменитая сентенция «право есть математика свободы» российскому читателю известна, вероятнее всего, из одноименной книги В.С. Нерсесянца¹. Однако на абстрактно-философском (концептуально-теоретическом) уровне идея эта была создана не им: она стара. Ее истоки – в античности, а продолжение и существенное развитие – в трудах Г.В. Лейбница, Б. Спинозы, Г. Гроция и др. Особенно активно пропагандировали эту идею и ее метафорическую формулировку неокантианцы. Вероятно, от них В.С. Нерсесянец ее и перенял. Однако он перенял и представил ее в своей книге в интеллектуально трансформированном виде. Первоначально (в античности) обсуждаемая сентенция понималась буквально и представляла собой логическую связь понятий теории естественного права. Когда в XIX в. эта теория была объявлена заведомо ложной и «отправлена на свалку», сентенция «право есть математика свободы» сохранилась («спаслась»), интеллектуально трансформировавшись в афоризм, выражающий красивую метафору. Данная сентенция как метафора не была объявлена заведомо ложной и не была «отправлена на свалку» только потому, что, строго говоря, метафору нельзя понимать буквально, то есть как логическую связь понятий.

Если внимательно прочесть указанную книгу В.С. Нерсесянца, то можно заметить, что обсуждаемая сентенция фигурирует в

¹ *Нерсесянец В.С.* Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы. М., 1996.

ней именно как красивая метафора. (Она действительно красива.) Но дальше метафоры дело у него не идет. Никакой математики в собственном значении этого слова В.С. Нерсисянц в своей книге не использует, использовать не предлагает и, более того, в принципе не может использовать, будучи ограничен исключительно естественным языком, который не пригоден для эффективного обсуждения собственно математических объектов в самом общем виде. Он пишет на обычном человеческом языке о праве и свободе. В его либертарной теории права особое внимание обращается на то, что *свобода есть право, а право – свобода*. (К такому же выводу приходили и некоторые античные и более поздние мыслители.) Но где тут математика в строгом смысле слова? При чем тут она? Непонятно. (Метафора и не должна быть понятна.) Конечно, существует некое подобие (сходство) математики и права: обе дисциплины отличаются формальной определенностью и строгостью, требуют доказательств и подвергают их тщательному критическому анализу. Но подобие (сходство) не есть тождество (эквивалентность). Для метафоры сходство (подобие) может быть достаточно. Но можно ли всерьез утверждать, что право есть математика, если слово «есть» обозначает логическую связку (субъекта и предиката в простом атрибутивном суждении)? Вопрос риторический: конечно же, нельзя.

Тем не менее, в настоящей работе предлагается осуществить такую (обратную) интеллектуальную трансформацию семантического значения обсуждаемой сентенции, которая позволит трактовать ее (снова) не как художественное сравнение, а как собственно логическую связь понятий. В течение тысячелетий сторонники естественно-правовой доктрины не переставали подчеркивать, что система естественного права может и должна быть адекватно представлена в виде некой математической модели, изложена и обоснована на уровне строгости логики и математики. Если слово «право» используется в значении «естественное право» (а такое значение слова «право» существует со времен Древнего Рима), то сентенция «право – математика свободы» может быть рассмотрена как эквивалент для сентенции «математическая модель естественного права есть математическая модель свободы». Принципиально важно, что

в трансформированной (более длинной, но более точной) формулировке обсуждаемой идеи слово «есть» обозначает уже не просто сходство, лежащее в основе метафоры, а именно логическую связку (субъекта и предиката в простом атрибутивном суждении). Теперь (в интеллектуально трансформированном виде) обсуждаемую сентенцию уже можно понимать буквально и, следовательно, можно приступить к построению некоей математической модели естественного права, которая, согласно сказанному выше, будет математической моделью свободы. Но что такое свобода?

Строго говоря, абстрактный разговор о свободе и ее связи с модальностями «необходимо», «обязательно», «закон», «право» и другими на уровне *исключительно* естественного языка представляет собой производство семантически бессмысленных словосочетаний. Проблема в том, что ценностные лингвистические значения словосочетаний «свобода (чья)» и «право (чье)», «свобода от (чего)» и «право против (чего)» суть *морально-правовые ценностные функции*, вообще говоря, *не являющиеся константами*. Во многих важных случаях морально-правовые ценностные значения (добро или зло) этих функций *существенно зависят* от того, какие ценностные значения принимают переменные, входящие в эти функции. (Слово функция в данной работе используется в собственно математическом смысле.) Речь идет об естественно-правовых (=морально-правовых) ценностных функциях. Областью допустимых значений (ОДЗ) переменных этих функций является двухэлементное множество $\{x \text{ (хорошо, добро)}, p \text{ (плохо, зло)}\}$. Областью изменения значений обсуждаемых функций служит то же самое множество. Общеизвестно, что функции адекватно определяются либо графиками, либо уравнениями формул, либо таблицами. Для адекватного выражения и эффективного обсуждения такого рода объектов в самом общем виде естественный язык почти непригоден. Иначе математики не стали бы систематически конструировать, использовать и развивать искусственные языки. «Чистые гуманитарии» исходят из ошибочной предпосылки, что естественный язык абсолютно «велик и могуч»: не имеет принципиальных ограничений, следовательно, искусственные языки математики – «странность» математиков. Но кто тут действительно неадекватен?

«Чистые гуманитарии», используя неадекватный для разговора о переменных и функциях естественный язык, лишаются возможности найти истину в своих бесконечных спорах о свободе и праве. Истина конкретна. Если, рассуждая о переменных и функциях (и не подозревая об этом), абстрагироваться от переменных и функций, то получится или ложь или, что более вероятно, бессмыслица. Средством такого непреднамеренного абстрагирования выступает здесь естественный язык, выйти за пределы которого «чистые гуманитарии» не хотят. Данная работа – попытка «выскочить из наезженной колеи» бессмысленных в своей абстрактности словопрений о свободе и праве путем перевода дискуссии на естественный язык алгебры естественного права.

Система права имеет различные аспекты (подсистемы). Первая подсистема – *позитивно-правовой нормативный* аспект права (его командно-административный статус). Вторая – его *ценностный* (естественно-правовой) аспект. Третья – *вероятностно-статистическая нормативная* подсистема (относящаяся к нормам как обычаям, традициям, тенденциям). В целом право – единство (тенденция к гармонии) указанных трех аспектов. Однако в научной абстракции и в практической деятельности тот или иной аспект права может быть совершенно обоснованно выделен, отвлечен от других и рассмотрен как нечто самостоятельное. Юридический позитивизм делает это с первым аспектом, а естественно-правовая доктрина – со вторым. (В идеале они не исключают, а дополняют друг друга.) В данной работе рассматривается *ценностный* аспект системы права, то есть речь идет о естественном праве.

К сожалению, при определении *ценностного* аспекта лингвистических значений слов «право», «свобода», «необходимость», «произвол», «ответственность» люди, как правило, полагают, что каждому из этих слов всегда однозначно соответствует некая *постоянная* ценность: добро или зло. При этом одни полагают, что право – добро. Другие утверждают, что право – зло. Отношение людей к свободе аналогично: для одних она – добро, а для других – зло. Такое противоречивое отношение к свободе и праву – проявление, с одной стороны, классово-политической борьбы, а с другой стороны, – очень серьезной, но, как правило, незаметной логико-

лингвистической ошибки. Эта ошибка заводит в тупик любые споры о свободе и праве. Логико-лингвистическая несостоятельность таких споров в том, что стороны ведут дискуссию *только* на *естественном* языке и используют в качестве ценностных значений слов «свобода» и «право» *только* морально-правовые константы – «добро» или «зло». В действительности же, если рассуждать в самом общем виде, значениями слова-омонима «свобода» являются различные морально-правовые *ценностные функции*, в частности *не являющиеся константами*. В отношении слова-омонима «право» ситуация аналогична. Не являющиеся константами различные ценностные функции, именуемые одним словом «право», представляют наибольший интерес. Но именно эти частные случаи систематически упускаются подавляющим большинством участников дискуссии.

Каковы логико-лингвистические предпосылки такого упущения? Они заключаются в принципиальной ограниченности используемого в дискуссии естественного языка. Он вполне достаточен для разговора о константах, но неадекватен для систематического обсуждения функций, не являющихся константами. Еще один существенный недостаток естественного языка – его многозначность. В нем слово «свобода» используется не в одном значении, а в нескольких разных и даже противоположных. То же можно сказать и о слове «право». Отрицательные проявления омонимии обсуждаемых слов можно нейтрализовать, переведя дискуссию на уровень некоего искусственного языка, в котором *многозначность* символов и их сочетаний отсутствует.

В данной работе для устранения многозначности слов «свобода» и «право» воспользуемся языком двузначной алгебры естественного права. Эта алгебра строится на множестве поступков. Поступками называются любые действия, являющиеся либо хорошими (добром), либо плохими (злом) в нравственном смысле (с точки зрения некоторого субъекта z). На множестве поступков определяется множество унарных и бинарных алгебраических операций, представляющих собой морально-правовые ценностные функции. Переменные этих функций принимают значения из множества $\{x, p\}$. Оно же является областью изменения значений этих

функций. Символы «х» и «п» обозначают морально-правовые значения поступков, соответственно, «хорошо (добро)» и «плохо (зло)». Выделенные курсивом буквы *a*, *в*, *с* обозначают морально-правовые формы (поступков), отвлеченные от их конкретного содержания. Простые морально-правовые формы – независимые нравственные переменные, а сложные формы – морально-правовые ценностные функции от этих переменных.

Если не определять точно разные значения слова-омонима «право», не разводить их в ходе дискуссии, то, рассуждая *только* на естественном языке, легко прийти к парадоксу «право есть небытие права». Аналогичным путем можно прийти к антиномии «свобода есть отсутствие свободы». Чтобы устранить возможность появления таких парадоксов, введем в язык алгебры поступков приведенные ниже символы, обозначающие *унарные* морально-правовые операции (над поступками). Символы вводятся с помощью следующего глоссария, разделенного на части, пронумерованные в точном соответствии с нумерацией частей приведенной ниже таблицы 1.

Глоссарий для части 1 приведенной ниже таблицы 1. Пусть символ *La* обозначает ценностную функцию «свобода для (чего, кого) *a*». *Fa* – функцию «свобода от (чего, кого) *a*». *Ca* – «свобода (чего, кого, чья) *a*». *Ra* – «право (чего, кого, чье) *a*». *Pa* – «право против (чего, кого) *a*». *Ma* – «сила, мощь (чего, кого, чья) *a*». *Ba* – «слабость, бессилие, немощь (чего, кого, чья) *a*». *Da* – «определение, определенность (чего, кого) *a*, определенное (что) *a*». *Oa* – «ограничение (для), ограниченность (чего, кого) *a*, ограниченное (что) *a*». *Ba* – «бытие, жизнь (чего, кого) *a*». *Na* – «небытие, смерть (чего, кого) *a*». *Юa* – «борьба, схватка (чья), состязание (чье) *a*».

Глоссарий для части 2 таблицы 1. *Wa* – «борьба (состязание), бой (схватка) с (чем, кем) *a*». *Уa* – поражение, уничтожение, отрицание (чего, кого) *a*. *Va* – победа, возникновение, утверждение (чего, кого) *a*. *Za* – защита, оборона (чего, кого) *a*. *Щa* – «защита, оборона (чего, кого) от *a*». *Ga* – «благодать (чего, кого, чья) *a*». *Ha* – «помеха, препятствие, бремя (обременение) для *a*». *Фа* – «отношение к (чему, кому) *a*». *Pa* – «родной, родное (для) *a*».

Ча – «чужой, чужое (для) *a*». *Aa* – «отчуждение (отстранение) от *a*». *Ла* – «лишение, отнятие, отчуждение (чего) *a*».

Глоссарий для части 3 таблицы 1. *Ia* – «нападение (агрессия), наступление, атака на *a*». *Ta* – «нападение (агрессия), наступление, атака (чего, кого) *a*». *Ua* – «бегство (удаление) от *a*». *Ja* – «стремление (приближение) к *a*». *Ya* – «свой, собственный для *a*». *Da* – «другой, иной для *a*». *Va* – «спонтанность, самопроизвольность (чего, кого, чья) *a*». *Са* – «спонтанность для (чего, кого) *a*, то есть самопроизвольность по отношению к (чему, кому) *a*». *Иa* – «активность (чего, кого, чья) *a*». *Ya* – «активность в отношении (чего, кого) *a*». *Цa* – «страх, трепет (чей) *a*». *Ха* – «страх, трепет перед (чем, кем) *a*».

Глоссарий для части 4 таблицы 1. *Za* – «рабство (чего, кого, чье) *a*». *Га* – «рабство перед (чем, кем) *a*». *Ба* – «мощь, сила (демонстрация силы) перед (чем, кем) *a*». *Йa* – «слабость, бессилие, немощь перед (чем, кем) *a*». Φ^1a – «форма, формальность (чего, кого, чья), формально (что) *a*». Φ^2a – «форма (формальность, формально) для (чего, кого) *a*». Φ^3a – «формирование, оформление, формализация, сформированность, оформленность, формализованность (чего, кого) *a*». Φ^4a – «формирование, оформление (чем, кем, чье) *a*, сформированность, оформленность, формализация, формализованность (чем, кем, чья) *a*». Γ^1a – «государство (чего, кого, чье) *a*». Γ^2a – «государство над (чем, кем) *a*». Γ^3a – «власть (чего, кого, чья) *a*».

Глоссарий для части 5 таблицы 1. Z^1a – «закон (чего, кого, чей) *a*, производство (создание, творение, предписание, утверждение, установление, провозглашение, издание) закона (чего, кого, чьего) *a*». Z^2a – «закон для (чего, кого) *a*, производство (создание, творение, предписание, утверждение, установление, провозглашение, издание) закона для (чего, кого) *a*». G^2a – «благодарить для (чего, кого) *a*». L^1a – «любовь к (чему, кому) *a*». H^3a – «вражда, враждебность, ненависть к (чему, кому) *a*». N^1a – «противоположность, оппозиция (чего, кого, чья) *a*». N^2a – «противоположность (оппозиция) для (чего, кого) *a*». Π^3a – «внешний, внешнее (что, кто) *a*». Π^4a – «внешний, внешнее для (чего, кого) *a*». V^3a – «внутренний, внутренняя для (чего, кого) *a*».

Глоссарий для части 6 таблицы 1. $Ш^2a$ – «власть над (чем, кем) a ». V^1a – «насилие (чего, кого, чье) a ». V^2a – «насилие над (чем, кем) a ». $П^1a$ – «произвол (чего, кого, чей) a ». $П^2a$ – «произвол по отношению к (чему, кому) a ». $Г^1a$ – «принуждение, вынуждение к (чему) a ». $Г^2a$ – «принуждение, вынуждение (чего, кого) a ». $Г^3a$ – «принуждение, вынуждение (чем, кем, чье) a ». D^1a – «повреждение, то есть причинение вреда, ущерба, (чем, кем) a ». D^2a – «повреждение (чего, кого) a , то есть причинение вреда, ущерба (чему, кому) a ».

Глоссарий для части 7 таблицы 1, вводящий в рассмотрение *алетические* модальности как *унарные* операции алгебры поступков, то есть как ценностные функции от одной переменной. (Верхние и нижние числовые индексы служат в данной главе для различения символов: одна и та же заглавная буква с разными индексами представляет собой разные символы. Для обозначения *унарных* операций используются *верхние* индексы, а для обозначения *бинарных* операций – *нижние* индексы.) L^1a – «создание ситуации, при которой алетически *необходимо* (что) действие или положение дел a ». L^2a – «создание ситуации, которая алетически *необходима* для (чего, кого) a ». M^1a – «создание ситуации, при которой алетически *возможно* (что) a ». M^2a – «создание ситуации, которая алетически *возможна* для (чего, кого) a ». H^1a – «создание ситуации, при которой алетически *невозможно* (что) a ». H^2a – «создание ситуации, которая алетически *невозможна* для (чего, кого) a ». A^1a – «создание ситуации, при которой алетически *обходимо*, то есть *не необходимо*, (что) действие или положение дел a ». A^2a – «создание ситуации, которая алетически *обходима*, то есть *не необходима*, для (чего, кого) a ». S^1a – «создание ситуации, при которой алетически *случайно* (что) действие или положение дел a ». S^2a – «создание ситуации, которая алетически *случайна* для (чего, кого) a ».

Глоссарий для части 8 таблицы 1, вводящий в рассмотрение *деонтические* модальности как *унарные* операции алгебры поступков, то есть как ценностные функции от одной переменной. O^1a – «создание ситуации, при которой *обязательно* (что) действие или положение дел a ». O^2a – «*обязывание* (кого) a , то есть создание ситуации, при которой (кто) a *должен* (*обязан*)». P^1a – «*разрешение*

(чего) a , то есть создание ситуации, при которой *разрешено* (что) действие или положение дел a ». P^2a – «разрешение (кому) a , то есть создание ситуации, при которой *разрешено* (кому) a ». F^1a – «запрещение (чего) a , то есть создание ситуации, при которой *запрещено* (что) действие или положение дел a ». F^2a – «запрещение (кому) a , то есть создание ситуации, при которой (кому) a *запрещено*». Φ^1a – «создание ситуации, при которой *факультативно*, то есть *не обязательно*, (что) действие или положение дел a ». \mathcal{J}^1a – «создание ситуации, при которой *деонтически нейтрально*, то есть *нормативно безразлично*, (что) действие или положение дел a ». \mathcal{J}^2a – «создание ситуации, которая *деонтически нейтральна*, то есть *нормативно безразлична для* (чего, кого) a ».

Глоссарий для части 9 таблицы 1. O^3a – «ответственность (возложение, или взятие на себя, или несение ее) за (что, кого) субъекта, или действие, или положение дел a , то есть создание ситуации *ответственности за* (что, кого) a ». O^4a – «ответственность (кого) a , то есть возложение ответственности на (кого) a , несение, принятие ответственности (кем) a , создание ситуации, при которой (кто) a *ответственен (отвечает)*». \mathcal{E}^1a – «невиновность (небытие вины) в (чем) a , *невинность* (чего) a ». \mathcal{E}^2a – «невиновность (невинность), то есть *небытие вины*, (кого) a ». V^1a – «виновность (вина) в (чем) a ». V^2a – «виновность, вина (кого, чья) a ». B^1a – «безответственность, то есть *небытие ответственности*, за (что, кого) a ». [Иначе говоря, символ B^1a обозначает поступок, представляющий собой «создание ситуации, при которой никакой *ответственности за* (что, кого) a нет.] B^2a – «безответственность (кого, чья) a , то есть воздержание от возложения ответственности на (кого) a , отказ от принятия или несения ответственности (чей) a ». [Иначе говоря, символ B^2a обозначает поступок, представляющий собой «создание ситуации, при которой (кто) a *не является ответственным, не отвечает*.] \mathcal{Y}^1a – «невменяемость (чего) a , то есть *невозможность вменить* (что) a ». \mathcal{Y}^2a – «невменяемость (кому) a , то есть *невозможность вменить* (кому) a ». [Иначе говоря, \mathcal{Y}^2a – «невменяемость (кого, чья) a ».]

Глоссарий для части 10 таблицы 1. G^1a – «власть над (чем, кем) a ». U^1a – «угроза, опасность (чего, кого, чья) a ». U^2a – «угро-

за, опасность для (чего, кого) а». X^1a – «норма (чего, кого, чья) а». X^2a – «норма для (чего, кого) а». P^1a – «риск, рискованность (чего, кого) а». P^2a – «риск, рискованность для (чего, кого) а». D^1a – развитие (чего, кого) а». E^1a – будущее (чего, кого) а». G^8a – неопределенность (чего, кого) а».

Глоссарий для части 11 таблицы 1. P^3a – «план (чего, кого, чей) а». P^4a – «план для (чего, кого) а». K^1a – «полный, полная, полное (что) а». $Ч^2a$ – «частичный, частичная, частичное (что) а». $И^2a$ – «изменение, изменчивость (чего, кого) а». $И^3a$ – «история, историчность (чего, кого, чья), исторический, историческая (что, кто) а». M^3a – «материя, материальность (чего, кого, чья), материальный, материальная (что, кто) а». T^1a – «пассивность перед (чем, кем) а, то есть пассивность по отношению к (чему, кому) а». T^2a – «пассивность (чего, кого, чья) а». B^3a – «открытость, незащищенность перед (чем, кем) а».

Глоссарий для части 12 таблицы 1. P^7a – «равенство (тождество), уравнивание, приравнивание (чему, кому) а». P^0a – «равенство (тождество, одинаковость), уравнивание, приравнивание, сравнение (чего, кого) а». J^7a – «справедливость по отношению к (чему, кому) а». J^0a – «справедливость (чего, кого, чья) а». P^7a – «порядок (чего, кого, чей) а». P^0a – «порядок для (чего, кого) а». $Ц^7a$ – «цель (чего, кого, чья) а». $Ц^0a$ – «цель для (чего, кого) а». C^7a – «средство для (чего, кого) а». C^0a – «средство от (чего, кого) а».

Ценностно-функциональный смысл введенных символов определяется таблицей 1, разделенной на двенадцать частей в соответствии с приведенным выше глоссарием.

Таблица 1 (часть 1)

а	La	Fa	Ca	Ra	Па	Ma	Ьa	Da	Oa	Ба	Na	Юa
х	х	п	х	х	п	х	п	п	п	х	п	х
п	п	х	п	п	х	п	х	х	х	п	х	п

Таблица 1 (часть 2)

а	Wa	Ya	Va	За	Щa	Ga	Ha	Фа	Pa	Ча	Aa	Ла
х	п	п	х	х	п	х	п	х	х	п	п	п
п	х	х	п	п	х	п	х	п	п	х	х	х

Таблица 1 (часть 3)

<i>a</i>	<i>Ia</i>	<i>Ta</i>	<i>Ua</i>	<i>Ja</i>	<i>Ya</i>	<i>Da</i>	<i>Ba</i>	<i>Sa</i>	<i>Ha</i>	<i>Ya</i>	<i>Цa</i>	<i>Xa</i>
х	п	х	п	х	х	п	п	х	х	п	п	п
п	х	п	х	п	п	х	х	п	п	х	х	х

Таблица 1 (часть 4)

<i>a</i>	<i>Za</i>	<i>Γa</i>	<i>Ъa</i>	<i>Йa</i>	Φ^1a	Φ^2a	Φ^3a	Φ^4a	Γ^1a	Γ^2a	Γ^3a
х	п	х	п	х	х	п	п	х	х	п	х
п	х	п	х	п	п	х	х	п	п	х	п

Таблица 1 (часть 5)

<i>a</i>	Z^1a	Z^2a	G^2a	L^1a	H^2a	N^1a	N^2a	Π^2a	Π^1a	B^3a
х	х	п	х	х	п	х	п	х	п	х
п	п	х	п	п	х	п	х	п	х	п

Таблица 1 (часть 6)

<i>a</i>	Π^2a	V^1a	V^2a	Π^1a	Π^2a	Γ^1a	Γ^2a	Γ^3a	D^1a	D^1a
х	п	х	п	х	п	х	п	х	х	п
п	х	п	х	п	х	п	х	п	п	х

Таблица 1 (часть 7)

<i>a</i>	L^1a	L^2a	M^1a	M^2a	H^1a	H^2a	A^1a	A^2a	C^1a	C^2a
х	х	п	х	х	х	п	п	х	п	х
п	п	х	п	п	п	х	х	п	п	х

Таблица 1 (часть 8)

<i>a</i>	O^1a	O^2a	P^1a	P^2a	F^1a	F^2a	Φ^1a	Φ^2a	\mathcal{J}^1a	\mathcal{J}^2a
х	х	п	х	х	х	п	п	х	п	х
п	п	х	п	п	п	х	х	п	п	х

Таблица 1 (часть 9)

<i>a</i>	O^3a	O^4a	\mathcal{E}^1a	\mathcal{E}^2a	B^1a	B^2a	B^1a	B^2a	\mathcal{Y}^1a	\mathcal{Y}^2a
х	х	п	х	х	п	п	п	х	п	х
п	п	х	п	п	х	х	х	п	п	х

Таблица 1 (часть 10)

<i>a</i>	Γ^1a	\mathcal{Y}^1a	\mathcal{Y}^2a	X^1a	X^2a	P^1a	P^2a	D^1a	E^1a	G^3a
х	п	х	п	х	п	х	п	х	х	х
п	х	п	х	п	х	п	х	п	п	п

Таблицы (часть 11)

a	P^3a	P^4a	K^1a	$Ч^2a$	$И^2a$	$И^3a$	M^3a	T^1a	T^2a	B^3a
х	х	п	х	п	п	п	п	х	п	х
п	п	х	п	х	х	х	х	п	х	п

Таблицы 1 (часть 12)

a	P^1a	P^0a	J^1a	J^0a	Π^1a	Π^0a	Υ^1a	Υ^0a	C^1a	C^0a
х	х	п	х	п	х	п	х	п	х	п
п	п	х	п	х	п	х	п	х	п	х

В алгебре формальной этики и естественного права, по определению, морально-правовая форма a называется *формально-этически равноценной* морально-правовой форме b (это отношение *эквивалентности* a и b обозначается символом $(a=+=b)$, если и только если эти морально-правовые формы (a и b) принимают одинаковые морально-правовые значения – х (хорошо) или п (плохо) при любой возможной комбинации морально-правовых значений переменных, входящих в эти морально-правовые формы. Изложение основ двузначной алгебры формальной этики и естественного права (синоним – алгебра поступков) см. в монографии, посвященной исключительно *унарным* операциям этой алгебры¹. *Бинарные* операции этой алгебры рассматриваются в другой монографии, в которой наряду с ними обсуждаются также унарные операции и даются определения основных понятий².

В двузначной алгебре формальной этики и естественного права ценностно-функциональная взаимосвязь свободы и права может быть промоделирована следующими уравнениями (формально-этическими эквивалентностями). Справа от каждого из них (после двоеточия) помещен его перевод с языка указанной алгебры на естественный язык. Тире (заменяющее слово «есть») в этих переводах обозначает не логическую связку, а отношение « $=+=$ ».

¹ Лобовиков В.О. Математическая логика естественного права и политической экономики. Екатеринбург, 2005.

² Лобовиков В.О. Математическая этика, метафизика и естественное право. Екатеринбург, 2007.

- 1) $Ca=+=Ra$: свобода (чего, кого, чья) a – право (чего, кого, чье) a .
- 2) $Ra=+=Ca$: право (чего, кого, чье) a – свобода (чего, кого, чья) a .
- 3) $Ca=+=La$: свобода (чего, кого, чья) a – свобода для (чего, кого) a .
- 4) $La=+=Ca$: свобода для (чего, кого) a – свобода (чего, кого, чья) a .
- 5) $Ra=+=La$: право (чего, кого, чье) a – свобода для (чего, кого) a .
- 6) $La=+=Ra$: свобода для (чего, кого) a – право (чего, кого, чье) a .
- 7) $Fa=+=Pa$: свобода от (чего, кого) a – право против (чего, кого) a .
- 8) $Pa=+=Fa$: право против (чего, кого) a – свобода от (чего, кого) a .
- 9) $Ca=+=OPa=+=DPa$: свобода (чего, кого, чья) a – ограничение, определение права против (чего, кого) a .
- 10) $Pa=+=OCa=+=DCa$: право против (чего, кого) a – ограничение, определение свободы (чего, кого, чьей) a .
- 11) $Fa=+=ORa=+=DRa$: свобода от (чего, кого) a – ограничение, определение права (чего, кого, чье) a .
- 12) $Ra=+=OFa=+=DFa$: право (чего, кого, чье) a – ограничение, определение свободы от (чего, кого) a .
- 13) $Pa=+=HGa$: право против (чего, кого) a – препятствие, помеха, бремя для благодати (чего, кого чьей) a .
- 14) $Ga=+=G^2a$: благодать (чего, кого чья) равноценна благодати для (чего, кого) a .
- 15) $G^2a=+=Ga$: благодать для (чего, кого) равноценна благодати (чего, кого, чьей) a .
- 16) $Pa=+=HG^2a$: право против (чего, кого) a – препятствие, помеха для благодати для (чего, кого) a .
- 17) $Fa=+=HGa$: свобода от (чего, кого) a – препятствие для благодати (чего, кого чьей) a .
- 18) $Fa=+=HG^2a$: свобода от (чего, кого) a – препятствие для благодати для (чего, кого) a .
- 19) $Z^2a=+=Pa$: закон для (чего, кого) a – право против (чего, кого) a .
- 20) $Pa=+=Z^2a$: право против (чего, кого) a – закон для (чего, кого) a .
- 21) $Z^2a=+=HGa$: закон для (чего, кого) a – препятствие, помеха, бремя для благодати (чего, кого чьей) a .
- 22) $Z^2a=+=HG^2a$: закон для (чего, кого) a – препятствие, помеха, бремя для благодати для (чего, кого) a .
- 23) $Z^2a=+=N^2Z^1a$: закон для (чего, кого) a – противоположность для закона (чего, кого чье) a .

- 24) $3^2a=+=NLa$: закон для (чего, кого) a – небытие свободы для (чего, кого) a .
- 25) $3^2a=+=NCa$: закон для (чего, кого) a – небытие свободы (чего, кого, чьей) a .
- 26) $3^2a=+=Za$: закон для (чего, кого) a – рабство (чего, кого, чье) a .
- 27) $3^2a=+=NG^2a$: закон для (чего, кого) a – небытие благодати для (чего, кого) a .
- 28) $3^2a=+=V^2a$: закон для (чего, кого) a – насилие над a .
- 29) $Pa=+=V^2a$: право против (чего, кого) a – насилие над a .
- 30) $Fa=+=V^2a$: свобода от (чего, кого) a – насилие над a .
- 31) $Pa=+=Wa$: право против (чего, кого) a – борьба (состояние, схватка) с (чем, кем) a .
- 32) $Fa=+=Wa$: свобода от (чего, кого) a – борьба (состояние, бой) с (против) a .
- 33) $Pa=+=Ia$: право против a – наступление, нападение (агрессия), атака на (что, кого) a .
- 34) $Fa=+=Ia$: свобода от a – наступление, нападение, атака на (что, кого) a .
- 35) $Pa=+=Щa$: право против a – защита (оборона) от a .
- 36) $Fa=+=Щa$: свобода от a – защита (защищенность) от a .
- 37) $Щa=+=Fa$: защита (защищенность) от (чего, кого) a – свобода от a .
- 38) $Ra=+=Za$: право (чего, кого, чье) a – защита (чего, кого, чья) a .
- 39) $Za=+=Ra$: защита (чего, кого, чья) a – право (чего, кого, чье) a .
- 40) $Za=+=Ca$: защита (чего, кого, чья) a – свобода (чего, кого, чья) a .
- 41) $Ca=+=Za$: свобода (чего, кого, чья) a – защита (чего, кого, чья) a .
- 42) $Za=+=N^2Щa$: защита (чего, кого, чья) a – противоположность для защиты от (чего, кого) a .
- 43) $Щa=+=N^2Za$: защита от (чего, кого) a – противоположность для защиты (чего, кого, чьей) a .
- 44) $Ra=+=Ma$: право (чего, кого, чье) a – сила (чего, кого, чья) a .
- 45) $Ma=+=Ra$: сила (чего, кого, чья) a – право (чего, кого, чье) a .
- 46) $Ca=+=Ma$: свобода (чего, кого, чья) a – сила (чего, кого, чья) a .
- 47) $Ma=+=Ca$: сила (чего, кого, чья) a – свобода (чего, кого, чья) a .
- 48) $Ra=+=ШV^2a$: право (чего, кого, чье) a – защита от насилия над a .
- 49) $Ra=+=NV^2a$: право (чего, кого, чье) a – небытие насилия над a .

- 50) $V^2a=+=NRa$: насилие над a – небытие права (чего, кого, чьего) a .
- 51) $V^2a=+=NCa$: насилие над a – небытие свободы (чего, кого, чьей) a .
- 52) $Ca=+=NV^2a$: свобода (чего, кого, чья) a – небытие насилия над a .
- 53) $Ma=+=NV^2a$: сила (чего, кого, чья) a – небытие насилия над a .
- 54) $V^2a=+=NMa$: насилие над a – небытие силы (чего, кого, чьей) a .
- 55) $Ba=+=V^2a$: слабость (чего, кого, чья) a – насилие над a .
- 56) $Ba=+=NCa$: слабость (чего, кого, чья) a – небытие свободы (чего, кого, чьей) a .
- 57) $Ca=+=NBa$: свобода (чего, кого, чья) a – небытие слабости (чего, кого, чьей) a .
- 58) $Ra=+=OPa=+=DPa$: право (чье) a – ограничение, определение права против a .
- 59) $Pa=+=ORa=+=DRa$: право против a – ограничение, определение права (чьего) a .
- 60) $Pa=+=\Phi\text{Ч}a$: право против (чего, кого) a – отношение к чужому (для) a .
- 61) $Pa=+=Aa$: право против (чего, кого) a – отчуждение от a .
- 62) $Ra=+=\Phi\text{Я}a=+=\Phi\text{Р}a$: право (чего, кого, чье) a – отношение к своему, родному (для) a .
- 63) $Ra=+=\text{Л}Pa$: право (чего, кого, чье) a – лишение (отнятие) права против a .
- 64) $Ra=+=NPa$: право (чего, кого, чье) a – небытие права против a .
- 65) $Pa=+=NRa$: право против a – небытие права (чего, кого, чьего) a .
- 66) $Fa=+=NCa$: свобода от a – небытие свободы (чего, кого, чьей) a .
- 67) $Ca=+=NFa$: свобода (чего, кого, чья) a – небытие свободы от (чего, кого) a .
- 68) $La=+=NFa$: свобода для (чего, кого) a – небытие свободы от (чего, кого) a .
- 69) $Fa=+=NLa$: свобода от (чего, кого) a – небытие свободы для (чего, кого) a .
- 70) $Ra=+=\text{П}^1a$: право (чего, кого, чье) a – произвол (чего, кого, чей) a (Ф. Ницше¹).

¹ Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое: Книга для свободных умов. М., 2007. С. 266.

- 71) $P^1a=+=Ra$: произвол (чего, кого, чей) a – право (чего, кого, чье) a (Ф. Ницше)¹.
- 72) $Pa=+=P^2a$: право против (чего, кого) a – произвол по отношению к (чему, кому) a .
- 73) $P^2a=+=Pa$: произвол по отношению к (чему, кому) a – право против (чего, кого) a .

Если в уравнениях 64 и 65 убрать («стереть») все различия между функциями «право (чье)» и «право против (чего, кого)», как это обычно делается в рассуждениях простых людей о праве, то неизбежно возникает умопомрачительный парадокс: «право есть небытие права». Аналогичным образом из уравнений 68 и 69 неизбежно возникает шокирующая антиномия «свобода есть небытие свободы». Для освобождения теории права от логико-лингвистической путаницы, концептуальной неразберихи, интеллектуального хаоса, то есть от «антиномий», «парадоксов», «неразрешимых метафизических загадок (вечных проблем философии)» и им подобной мистики, *необходимо* систематически различать противоположные значения слова-омонима «право»: ценностные функции «право (чего, кого, чье)» и «право против (чего, кого)». Для разрешения антиномий свободы в этике и теории права *необходимо* различать противоположные значения слова-омонима «свобода»: ценностные функции «свобода (чего, кого, чья)» и «свобода от (чего, кого)». Для освобождения от мистики в учении о произволе (спонтанности) *необходимо* систематически различать противоположные значения слова-омонима «произвол»: ценностные функции «произвол (чего, кого, чей)» и «произвол по отношению к (чему, кому)». Для этого можно воспользоваться искусственным языком алгебры формальной этики, метафизики и естественного права, который помогает избежать путаницы.

В отношении модальностей «обязательность (долг)» и «необходимость (алетическая)», «разрешение (дозволение)» и «возможность (алетическая)» (а также в отношении других модальностей) сказанное выше о естественном языке также верно: важные детали исчезают из поля зрения, и разговор становится бессмысленным,

¹ Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое ... Там же.

ведет к явному абсурду. Эту трудность можно преодолеть с помощью искусственного языка, например простейшей дискретной математической модели (а именно, двузначной алгебры) формальной этики, метафизики и естественного права. С помощью приведенных выше глоссариев и ценностных таблиц читатель может самостоятельно продолжить генерировать список уравнений этой алгебры, вовлекая в рассмотрение все новые и новые интересующие его модальности и их формально-этические взаимосвязи. В данной же работе целесообразно остановить этот потенциально бесконечный процесс и перейти от *унарных* морально-правовых операций к *бинарным* (операциям). Обсуждаемые юридические и алетические модальности будут рассмотрены теперь как морально-правовые ценностные функции уже не от одной, а от двух ценностных переменных. Для обозначения этих функций от двух переменных в данной работе используются заглавные буквы с нижним числовым индексом 2 (или с нижним числовым индексом 22, если символов все еще не хватает).

Глоссарий для части 1 приведенной ниже таблицы 2. Пусть символ O_{2av} обозначает ценностную функцию от двух переменных «обеспечение обязательности (чего) *v* для (кого) *a*, то есть *обязывание*, (кого) *a* делать (что) *v*». P_{2av} – «разрешение, то есть *обеспечение дозволенности* (чего, кого) *v* для (кого) *a*». F_{2av} – «запрещение, то есть *обеспечение запрещенности, недозволенности*, (чего, кого) *v* для (кого) *a*». Φ_{2av} – «обеспечение факультативности, то есть *необязательности*, (чего) *v* для (кого) *a*, то есть *небытие обязывания* (кого) *a* делать (что) *v*». I_{2av} – «обеспечение деонтической нейтральности, то есть *нормативного безразличия, непринципиальности* (чего) *v* для (кого) *a*». C_{2av} – «деонтическая *принципиальность*, то есть *обеспечение деонтической ненейтральности, нормативного безразличия*, (чего) *v* для (кого) *a*».

Глоссарий для части 2 приведенной ниже таблицы 2. L_{2av} – «обеспечение (алетической) *необходимости* (чего, кого) *v* для *a*». M_{2av} – «обеспечение (алетической) *возможности* (чего, кого) *v* для *a*». H_{2a} – «обеспечение (алетической) *невозможности* (чего, кого) *v* для *a*». A_{2av} – «обеспечение (алетической) *обходности*, то есть *необходимости*, (чего, кого) *v* для *a*». S_{2av} – «обеспечение (алети-

ческой) случайности, недетерминированности (чего, кого) в для а». $D_{2ав}$ – «обеспечение (алетической) детерминированности, неслучайности (чего, кого) в для а».

Глоссарий для части 3 приведенной ниже таблицы 2. $R_{2ав}$ – «ответственность за (что, кого) в (чья) а, то есть создание ситуации ответственности (кого, чьей) а за (что, кого) в». $Э_{2ав}$ – «невинность (невинность), то есть небытие вины, (кого) а в (чем) в». $V_{2ав}$ – «виновность, вина (кого, чья) а в (чем) в». $Б_{2ав}$ – «безответственность за (что, кого) в (чья) а, то есть небытие ответственности (кого) а за (что, кого) в». $Ю_{2ав}$ – «невменяемость (чего) в (кому) а, то есть невозможность вменить (что) в (кому) а». [Иначе говоря, $Ю^2а$ – «невменяемость (кого, чья) а в отношении (чего) в».] $Я_{2ав}$ – «вменяемость (чего) в (кому) а, то есть возможность вменить (что) в (кому) а». [Иначе говоря, $Я_{2ав}$ – «вменяемость (кого, чья) а в отношении (чего) в».]

Глоссарий для части 4 приведенной ниже таблицы 2. $З_{2ав}$ – «закон (чего, кого, чей) в для (чего, кого) а». $П_{2ав}$ – «право (чего, кого, чье) в против (чего, кого) а». $Ј_{2ав}$ – «право (чего, кого, чье) в на (что, кого) а». $G_{2ав}$ – «благодать (чего, кого, чья) в для (чего, кого) а». $Ж_{2ав}$ – «свобода (чего, кого, чья) в для (чего, кого) а». $У_{2ав}$ – «свобода (для) в от (чего, кого) а».

Глоссарий для части 5 приведенной ниже таблицы 2. $S_{2ав}$ – «спонтанность (чего, кого, чья) в по отношению к (чему, кому) а». $Z_{2ав}$ – «активность (чего, кого, чья) в по отношению к (чему, кому) а». $U_{2ав}$ – «произвол, произвольность (чего, кого) в по отношению к (чему, кому) а». $V_{2ав}$ – «насилие (чего, кого, чье) в над (чем, кем) а». $W_{2ав}$ – «нападение (агрессия), наступление, атака (чего, кого) в на (что, кого) а». $Щ_{2ав}$ – «защита, оборона (чего, кого, чья) а от (чего, кого) в».

Глоссарий для части 6 приведенной ниже таблицы 2. Модальности, вводимые этой частью глоссария можно назвать судебными модальностями оценки (оценочного суждения). $O_{22ав}$ – «одобрение, похвала, хвала (чего, кого) а за (что, кого) в». $P_{22ав}$ – «оправдание (не-осуждение) (чего, кого) а за (что, кого) в». $F_{22ав}$ – «осуждение (не-оправдание) (чего, кого) а за (что, кого) в». $Φ_{22ав}$ – «неодобрение (чего, кого) а за (что, кого) в». $I_{22ав}$ – «неподсуд-

ность, то есть *небытие под судом*, (чего, кого) *а за* (что, кого) *в*». $\Pi_{22ав}$ – «*подсудность, под-судимость, то есть бытие под судом*, (чего, кого) *а за* (что, кого) *в*».

Глоссарий для части 7 приведенной ниже таблицы 2. Модальности, вводимые этой частью глоссария можно назвать *судебными модальностями воздаяния (по заслугам)*. $L_{22ав}$ – «*награда, награждение, поощрение* (чего, кого) *а за* (что, кого) *в*». $M_{22ав}$ – «*ненаказание (ненаказуемость)* (чего, кого) *а за* (что, кого) *в*, то есть *безвозмездность, бесплатность (чего)* *в для* (чего, кого) *а* «. $H_{22а}$ – «*наказание (наказуемость), расплата, плата* (чего, кого) *а за* (что, кого) *в*, то есть *кара, возмездие, месть, отмщение, оплата (чему, кому)* *а за* (что, кого) *в*». $A_{22ав}$ – «*непоощрение, ненаграждение* (чего, кого) *а за* (что, кого) *в*». $C_{22ав}$ – «*невоздаяние* (чему, кому) *а за* (что, кого) *в*». $D_{22ав}$ – «*воздаяние* (чему, кому) *а за* (что, кого) *в*».

Глоссарий для части 8 приведенной ниже таблицы 2. Модальности, вводимые этой частью глоссария можно назвать *дрессировочными модальностями (или модальностями стимулирования)*. $R_{22ав}$ – «*положительное подкрепление* (чего, кого) *в у* (чего, кого) *а*, то есть *предоставление “пряника”* (чему, кому) *а за* (что, кого) *в*». [Иначе говоря, $R_{22ав}$ означает причинение удовольствия, вызывание приятных ощущений, положительных эмоций у (чего, кого) *а в* связи с (чем, кем) *в*».] $\mathcal{E}_{22ав}$ – «*небытие отрицательного подкрепления* (чего, кого) *в у* (чего, кого) *а*, то есть *отсутствие сопровождения* (чего, кого) *в ударом “кнута (электрического тока, палки)”* по (чему, кому) *а*». [Иначе говоря, $\mathcal{E}_{22ав}$ означает отсутствие отрицательных эмоций у (чего, кого) *а в* связи с (чем, кем) *в и*, в частности, *безболезненность* (чего) *в для* (чего, кого) *а*».] $B_{22а}$ – «*отрицательное подкрепление* (чего) *в у* (чего, кого) *а*, то есть *обеспечение “кнута”, причинение страданий*, в частности, *боли* (чему, кому) *а за* (что, кого) *в*». [Иначе говоря, $B_{22ав}$ означает вызывание неприятных ощущений, отрицательных эмоций у (чего, кого) *а в* связи с (чем, кем) *в*».] $B_{22ав}$ – «*небытие положительного подкрепления* (чего, кого) *в у* (чего, кого) *а*, то есть *отсутствие сопровождения* (чего, кого) *в предоставлении “пряника (мяса, рыбы, сахара)”* (чему, кому) *а*». [Иначе говоря, $B_{22ав}$ означает от-

сутствие удовольствия, приятных ощущений, положительных эмоций у (чего, кого) *а* в связи с (чем, кем) *в*.] $Ю_{22ав}$ – «дрессировочная нейтральность, безразличие (чего, кого) *в* для (чего, кого) *а*, то есть отсутствие как положительного, так и отрицательного подкрепления, (чего, кого) *в* у (чего, кого) *а*». $Я_{22ав}$ – «дрессировочная ненейтральность, небезразличие (чего, кого) *в* для (чего, кого) *а*, то есть обеспечение либо положительного, либо отрицательного подкрепления, (чего, кого) *в* у (чего, кого) *а*».

Глоссарий для части 9 приведенной ниже таблицы 2. (В этой части глоссария представлены *деятельностные модальности*, то есть модусы отношения к деятельности.) $З_{22ав}$ – «*совершение, выполнение, исполнение, осуществление (претворение в жизнь), реализация* (чего, кого) *в* (чем, кем) *а*». $П_{22ав}$ – «*невоздержание* (чего, кого, чье) *а от* (чего, кого) *в*». $Ж_{22ав}$ – «*воздержание* (чего, кого, чье) *а от* (чего, кого) *в*». $Г_{22ав}$ – «*несовершение, невыполнение, неисполнение, неосуществление* (чего, кого) *в* (чем, кем) *а*». $Ж_{2ав}$ – «*позущение* (чье) *а* (чего, кого) *в*, то есть (со стороны *а*) *абсолютное бездействие (не-делание) в связи с* (чем, кем) *в, абсолютная пассивность перед* (чем, кем) *в*». [Иначе говоря, $Ж_{2ав}$ – *невоздержание* (чье) *а от* (чего, кого) *в, объединенное с неосуществлением* (чьим) *а* (чего, кого) *в*.] $У_{22ав}$ – «*непозущение* (чье) *а* (чего, кого) *в*, то есть *абсолютная активность* (чья) *а перед* (чем, кем) *в, – либо совершение* (чем, кем) *а* (чего, кого) *в, либо воздержание* (чего, кого, чье) *а от* (чего, кого) *в*».

Глоссарий для части 10 приведенной ниже таблицы 2. (В этой части глоссария представлены *интервенционистские модальности*, то есть модусы вмешательства в деятельность.) $С_{22ав}$ – «*участие, соучастие* (чего, кого) *а в* (чем, ком) *в*, то есть *содействие, помощь* (чего, кого) *а* (чему, кому) *в*». $З_{22ав}$ – «*непротипление, то есть неоказание сопротивления*, (чего, кого, чье) *а* (чему, кому) *в*». [Иначе говоря, $З_{22ав}$ – «*воздержание* (чье) *а от* создания помех, обременений, затруднений для (чего, кого) *в, могущих привести к остановке (прекращению) деятельности в*».] $У_{22ав}$ – «*противодействие (сопротивление), обременение, затруднение или пресечение* (чем, кем, чье) *а* (чего, кого) *в*». [Иначе говоря, $У_{22ав}$ – «*создание помех* (чем, кем, чье) *а для* (чего, кого) *в вплоть до*

остановки (прекращения) деятельности в».] $V_{2ав}$ – «неучастие, то есть воздержание от соучастия, (чего, кого) а в (чем, ком) в, то есть неоказание помощи, содействия (чем, кем) а (чему, кому) в». $W_{2ав}$ – «невмешательство (чего, кого, чье) а в осуществление (чего, кого) в». [Иначе говоря, $W_{2ав}$ – «неоказание влияния (чего, кого, чье) а на (что, кого) в».] $\Psi_{2ав}$ – «вмешательство (чего, кого, чье) а в осуществление (чего, кого) в». [Иначе говоря, $\Psi_{2ав}$ – «влияние (чего, кого, чье) а на (что, кого) в».]

Ценностно-функциональный смысл этих символов определяется таблицей 2., разделенной на десять частей в соответствии с разделением на части ее глоссария.

Таблица 2 (часть 1)

a	v	$O_{2ав}$	$P_{2ав}$	$F_{2ав}$	$\Phi_{2ав}$	$I_{2ав}$	$\zeta_{2ав}$
х	х	п	х	п	х	х	п
х	п	п	х	п	х	х	п
п	х	х	х	п	п	п	х

Таблица 2 (часть 2)

a	v	$L_{2ав}$	$M_{2ав}$	$H_{2а}$	$A_{2ав}$	$C_{2ав}$	$D_{2ав}$
х	х	п	х	п	х	х	п
х	п	п	х	п	х	х	п
п	х	х	х	п	п	п	х
п	п	п	п	х	х	п	х

Таблица 2 (часть 3)

a	v	$R_{2ав}$	$\mathcal{E}_{2ав}$	$B_{2ав}$	$\mathcal{B}_{2ав}$	$\mathcal{Y}_{2ав}$	$\mathcal{Y}_{2ав}$
х	х	п	х	п	х	х	п
х	п	п	х	п	х	х	п
п	х	х	х	п	п	п	х
п	п	п	п	х	х	п	х

Таблица 2 (часть 4)

a	v	$Z_{2ав}$	$\Pi_{2ав}$	$J_{2ав}$	$G_{2ав}$	$\mathcal{J}_{2ав}$	$\mathcal{Y}_{2ав}$
х	х	п	п	х	х	х	п
х	п	п	п	х	х	х	п
п	х	х	х	х	х	х	х
п	п	п	п	п	п	п	п

Таблица 2 (часть 5)

<i>a</i>	<i>в</i>	$S_{2ав}$	$Z_{2ав}$	$U_{2ав}$	$V_{2ав}$	$W_{2ав}$	$Ш_{2ав}$
х	х	п	п	п	п	п	х
х	п	п	п	п	п	п	х
п	х	х	х	х	х	х	п
п	п	п	п	п	п	п	х

Таблица 2 (часть 6)

<i>a</i>	<i>в</i>	$O_{22ав}$	$P_{22ав}$	$F_{22ав}$	$\Phi_{22ав}$	$I_{22ав}$	$\Psi_{22ав}$
х	х	п	х	п	х	х	п
х	п	п	х	п	х	х	п
п	х	х	х	п	п	п	х
п	п	п	п	х	х	п	х

Таблица 2 (часть 7)

<i>a</i>	<i>в</i>	$L_{22ав}$	$M_{22ав}$	$H_{22а}$	$A_{22ав}$	$C_{22ав}$	$D_{22ав}$
х	х	п	х	п	х	х	п
х	п	п	х	п	х	х	п
п	х	х	х	п	п	п	х
п	п	п	п	п	х	п	х

Таблица 2 (часть 8)

<i>a</i>	<i>в</i>	$R_{22ав}$	$\mathcal{E}_{22ав}$	$B_{22а}$	$\mathcal{B}_{22ав}$	$\mathcal{Ю}_{22ав}$	$\mathcal{Я}_{22ав}$
х	х	п	х	п	х	х	п
х	п	п	х	п	х	х	п
п	х	х	х	п	п	п	х
п	п	п	п	п	х	п	х

Таблица 2 (часть 9)

<i>a</i>	<i>в</i>	$Z_{22ав}$	$\Pi_{22ав}$	$J_{22а}$	$G_{22ав}$	$\mathcal{Ж}_{22ав}$	$\mathcal{Y}_{22ав}$
х	х	п	х	п	х	х	п
х	п	п	х	п	х	х	п
п	х	х	х	п	п	п	х
п	п	п	п	х	х	п	х

Таблица 2 (часть 10)

<i>a</i>	<i>в</i>	$S_{22ав}$	$Z_{22ав}$	$U_{22ав}$	$V_{22ав}$	$W_{22ав}$	$Ш_{22ав}$
х	х	п	х	п	х	х	п
х	п	п	х	п	х	х	п
п	х	х	х	п	п	п	х
п	п	п	п	х	х	п	х

Используя данные выше определения, читатель может самостоятельно продолжить генерирование открытого (потенциально-бесконечного) списка уравнений алгебры формальной этики, метафизики и естественного права, относящихся к теме настоящей работы. Отметим лишь некоторые очень важные следствия.

Во-первых, *таблица 2 находится в отношении соответствия с таблицей 1*, а именно, при подстановке некоторой морально-правовой константы из множества $\{x, p\}$ вместо некоторой переменной (a или b) каждый «столбец» таблицы 2 «вырождается» в соответствующий «столбец» таблицы 1. Соответствующие фрагменты таблицы 1 оказываются *частными случаями* более фундаментальной таблицы 2.

Во-вторых, в свете сказанного выше совершенно по-новому воспринимается гениальная интуиция Г.В. Лейбница о единстве соответствующих друг другу алетических («аристотелевских») и деонтических («юридических») модальностей. В деонтической логике Г.Х. фон Вригта эта интуиция (упомянутое единство модальностей) моделируется как *подобие (аналогия)*¹, то есть как *нетранзитивное* отношение толерантности, следовательно – как *отсутствие эквивалентности* (формально-логической). А в дискретной математической модели формальной этики, метафизики и естественного права упомянутое единство модальностей есть их *эквивалентность* (формально-этическая), точно определенная выше и традиционно обозначаемая в алгебре поступков символом « $=+ =$ ». Эта эквивалентность (формально-этическая) соответствующих друг другу деонтических и алетических модальностей представлена на уровне исследуемой модели следующим ниже списком уравнений. Справа от каждого из них (после двоеточия) дан его перевод на естественный язык.

74) $O_{2av} = + = L_{2av}$: *обязательность эквивалентна (алетической) необходимости.*

75) $P_{2av} = + = M_{2av}$: *дозволенность эквивалентна (алетической) возможности.*

¹ Вригт Г.Х. Логико-философские исследования. М., 1986. С. 249-252.

- 76) $F_{2ав} = + = H_{2ав}$: запрещенность эквивалентна (алетической) невозможности.
- 77) $\Phi_{2ав} = + = A_{2ав}$: факультативность эквивалентна (алетической) необходимости.
- 78) $I_{2ав} = + = C_{2ав}$: деонтическая нейтральность (нормативная безразличность) эквивалентна (алетической) случайности.

Этот вывод об эквивалентности соответствующих друг другу алетических («аристотелевских») и деонтических («юридических») модальностей представляет собой не отрицание, а *дополнение* результата логико-философских исследований Г.Х. фон Вригта: взгляд на тот же объект (интуицию Г.В. Лейбница), вычленяющий в нем качественно иной (дополнительный) предмет исследования¹.

Г.Х. фон Вригт называл модальности «обязательно», «разрешено», «запрещено», «нормативно безразлично» деонтическими, а Г.В. Лейбниц – юридическими. Однако множество юридических модальностей не тождественно множеству деонтических (модальностей), хотя и включает его в качестве своего подмножества. К числу юридических модальностей, не являющихся деонтическими, относятся, в частности, «ответственность», «невиновность», «виновность», «безответственность», «невменяемость». Эти («недеонтические») юридические модальности как *бинарные* морально-

¹ Лобовиков В.О. Математическая этика, метафизика и естественное право ... С. 11-70; *Он же*. Аристотель и Г.В. Лейбниц о модальностях (Алгебра формальной аксиологии как дискретная математическая модель взаимоотношения взглядов Аристотеля и Г.В. Лейбница на алетические и деонтические модальности) // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. Вып. 7. Екатеринбург, 2007. С. 35-60; *Lobovikov Vladimir*. Aristotelian and juridical modalities: a new theory of their unity (A two-valued algebra of formal natural-law philosophy of modalities as moral-legal evaluation-functions determined by two variables – a complement to G.H. Wright's deontic logic interpretation of G.W. Leibniz's idea about the unity of the two kinds of modalities // RFDCL – Nova fase – Conselho Lafaiete (Brazil), 2007. V. 3. P. 181-187; A New (Non-andersonian) Attitude to Reducing the Deontic Modalities to a Combination of the Alethic Ones with the Constant "A Sanction" (An Unknown Evaluation-Functional Alternative for the Modal Logic of Norms) // Ciencia ergo sum: Revista Científica Multidisciplinaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. V. 10. Num. tres, noviembre 2003 – febrero 2004. P. 254-257.

правовые операции в алгебре формальной этики и естественного права, то есть как морально-правовые ценностные функции *от двух переменных*, точно определены выше частью 3 таблицы 2.

Сосредоточив внимание на упомянутых «недеонтических» юридических модальностях и используя данные выше определения, можно продолжить список уравнений алгебры формальной этики и естественного права следующим образом.

- 79) $R_{2av} = + = O_{2av}$: *ответственность эквивалентна обязательности* (долгу). Более подробный (развернутый) перевод: ответственность (чья) *a* за (что, кого) *v* означает обязательность (чего) *v* для *a*; обязательность (чего) *v* для *a* – ответственность (чья) *a* в за (что, кого) *v*.
- 80) $\mathcal{E}_{2av} = + = P_{2av}$: *невинность эквивалентна дозволенности* (разрешению).
- 81) $B_{2av} = + = F_{2av}$: *виновность эквивалентна запрещенности*. Более подробный перевод: вина, виновность (чья) *a* в (чем) *v* означает запрет, запрещенность (чего) *v* для *a*; запрет, запрещенность (чего) *v* для *a* – вина, виновность (чья) *a* в (чем) *v*.
- 82) $B_{2av} = + = \Phi_{2av}$: *безответственность эквивалентна необязательности* (факультативности).
- 83) $Ю_{2av} = + = I_{2av}$: *невменяемость эквивалентна деонтической нейтральности* (нормативному безразличию).

Используя свойство транзитивности отношения « $=+$ », из двух приведенных выше списков уравнений (74-78) и (79-83) можно получить еще один (следующий непосредственно ниже) список уравнений (84-88), объединяющий «недеонтические» юридические модальности с алетическими (модальностями).

- 84) $R_{2av} = + = L_{2av}$: *ответственность эквивалентна (алетической) необходимости*. Более подробный перевод: ответственность (чья) *a* за (что, кого) *v* означает необходимость (чего, кого) *v* для (чего, кого) *a*; необходимость (чего, кого) *v* для (чего, кого) *a* – ответственность (чья) *a* за (что, кого) *v*.
- 85) $\mathcal{E}_{2av} = + = M_{2av}$: *невинность эквивалентна (алетической) возможности*.
- 86) $B_{2av} = + = H_{2av}$: *виновность эквивалентна (алетической) невозможности*.

87) $B_2av=+=A_2av$: безответственность эквивалентна (алетической) обходимости.

88) $O_2av=+=C_2av$: неменяемость эквивалентна (алетической) случайности.

Если принять во внимание унарную операцию N (небытие), то можно продолжить относящийся к модальностям список уравнений алгебры формальной этики, дополнив его, например, следующими эквивалентностями (89-92).

89) $O_2av=+=B_2aNv$: обязательность (чего) v для a означает виновность (чью) a в (чем) не- v .

90) $B_2aNv=+=O_2av$: виновность (чья) a в (чем) не- v означает обязательность (чего) v для a .

91) $R_2av=+=B_2aNv$: ответственность (чья) a за (что) v – виновность (чья) a в (чем) не- v .

92) $B_2aNv=+=R_2av$: вина, виновность (чья) a в (чем) не- v означает ответственность (чью) a в за (что, кого) v .

Используя определенную выше алгебру формальной этики, метафизики и естественного права, читатель может продолжить генерирование этого принципиально открытого (потенциально бесконечного) списка формально-аксиологических уравнений, связывающих друг с другом свободу, необходимость, ответственность, спонтанность, активность, произвол и другие юридические модальности. При этом он может руководствоваться своими собственными (какими угодно) теоретическими и практическими интересами. Но он будет «работать» со старыми явлениями (юридическими модальностями) в рамках качественно новой тенденции, определенной в настоящей работе.

§ 3. ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПАРАДИГМЫ

Как известно, правовым институтом является обособленная группа норм права, регулирующих определенный комплекс взаимосвязанных между собой однородных отношений. Институты конституционного права тесно связаны с властными отношениями, поэтому они являются не только правовыми, но и политико-правовыми институтами. Институты гражданского участия – одна из разновидностей политико-правовых институтов. Составляющие их нормы права регулируют отношения, выражающие осуществление властных полномочий гражданами.

В конституционном и государственном праве России до настоящего времени не выработано общепринятого подхода к исследованию институтов гражданского участия. В советский период истории нашей страны преимущественное внимание уделялось институтам так называемой непосредственной (прямой) демократии. Современные ученые-юристы во многом руководствуются результатами исследований, достигнутыми в то время. Однако, на наш взгляд, в данном случае принципиально важно учитывать факт смены политической системы общества в нашей стране. Смена политической системы общества означала изменение системы институтов демократии в целом, включая институты прямой демократии и их роль в жизни общества. Указанный факт не мог не отразиться на теоретических представлениях об институтах гражданского участия.

Обращаясь к исследованию институтов гражданского участия необходимо иметь в виду особенности политических систем бывшего советского и современного российского общества, которые во многом определили характер двух разных парадигм научного исследования. Значимой особенностью политической системы советского общества была ее принадлежность к *мобилизационным* политическим системам. Особенностью политической си-

стемы современного российского общества является его переходный характер. Политическая система мобилизационного типа трансформируется в *согласительную* политическую систему¹. Указанным политическим системам общества соответствуют собственные системы публичного права и соответствующие парадигмы научного исследования институтов демократии. Поскольку институты публичного права – политико-правовые институты, они являются в определенной степени отображением политической системы общества, а парадигма научного исследования этих институтов во многом предопределяется существующей политической системой. Остановимся на этом вопросе подробнее.

Основополагающим принципом мобилизационных политических систем является активное участие масс в политической жизни общества. В рамках этих систем политические лидеры стремятся следовать «воле народа» и ожидают от масс политического подхода ко всему происходящему в обществе. Они «предполагают, что массы будут ставить во главу угла общие, касающиеся всех задачи и рассматривать свои частные интересы в зависимости от благосостояния всего общества»². Народные массы воспринимаются политическими лидерами в качестве главной движущей силы исторического процесса. Поэтому их участие в отпращивании властных функций не только желательно, но и необходимо. Информированность, аналитический и рациональный подход, прогрессивная целеустремленность, стремление к участию в делах общества и государства считаются атрибутивными характеристиками народных масс. В идеологическом плане мобилизационные политические системы ставят на первое место коллективизм и соединение идеологических ценностей с решением конкретных задач. Однако массовое участие находится под постоянным контролем правящей пар-

¹ Выделение и описание указанных моделей политических систем произведено Дэвидом Э. Эптером, а также Чарльзом Ф. Эндрейном. См.: Чарльз Ф. Эндрейн. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования / Пер. с англ. М.: Издательский дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир», 2000. С. 69-134. Ссылку на работы Дэвида Э. Эптера см. там же. С. 20, 282.

² Там же. С. 107.

тии и государства. Отношения между лидерами общества и масса-ми характеризуется здесь большой иерархичностью. Мобилизационная система подразумевает мощное централизованное государство с харизматическим лидером. Авангардная партия должна просвещать и направлять массы, не обладающие собственным политическим сознанием, а партийные работники и государственные служащие обязаны проводить большую работу по организации активного участия масс в политике¹.

Исходя из сказанного можно заключить, что в рамках политической системы советского общества мобилизационный характер имели и институты публичного права. Институты публичного права выступали одним из средств мобилизации масс, важнейшим регулятором системы общественных отношений, построенной на принципе участия масс в политической жизни общества. Этим объясняется то обстоятельство, что ученые-государствоведы, работавшие в советское время, исходили из предпосылки, согласно которой все конституционные институты социалистического общества рассматривались как институты народовластия. «**Все** конституционные институты, вся политическая система общества функционируют как механизм народного самоуправления», – отмечал Ю.И. Скуратов². Система конституционных институтов самоуправления народа рассматривалась в то время в качестве «совокупного средства осуществления его власти», «институтов непосредственной и представительной демократии»³. В основу выработанных представлений была положена широко известная марксистская посылка о постепенном отмирании политики и государства и перерастании общества в систему самоуправления народа⁴.

¹ Чарльз Ф. Эндрейн. Сравнительный анализ политических систем ... С. 23, 109-110.

² Скуратов Ю.И. Система социалистического самоуправления советского народа. (Проблемы конституционной теории и практики). Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1987. С. 264.

³ Там же. С. 41.

⁴ Бутенко А.П. Власть народа посредством самого народа. М.: Мысль, 1988; Ковлер А.И., Смирнов В.В. Демократия и участие в политике. М.: Наука, 1986. С. 19-21; и др.

Можно сказать, что в теории государства и права, в науке конституционного права сформировалась «активистская» парадигма научного исследования. Она была нацелена на изучение основных способов и форм участия народных масс в политике, а также на выработку соответствующего механизма правового регулирования всех отношений, связанных с активным участием народных масс в политике. «Подчеркнем, что мы оцениваем различные формы демократии и политического участия исходя из вовлечения в политику широких народных масс, сопоставляя эти формы с социалистической моделью политической системы», – это типичный подход, выражающий суть рассматриваемой парадигмы научного исследования¹.

Институтам народовластия в нашей стране в советский период уделялось достаточно большое внимание. В 1960–1980-е гг. советскими юристами довольно основательно были исследованы и сопоставлены два вида институтов народовластия: институты представительной и непосредственной демократии². Дихотомия «представительная демократия – непосредственная демократия» служила стержнем проведенных исследований. Не случайно для всего отмеченного периода характерна дискуссия по вопросу о том, какой вид демократии наиболее важен и перспективен³. В ходе проводимых исследований к институтам прямой демократии авторы относили *все институты, обеспечивающие участие граждан в управлении государством, не входящие в систему представительной демократии*. Основным критерием отнесения того или иного института народовластия к институтам гражданского участия, таким образом, являлся способ участия граждан в управлении государством и об-

¹ Ковлер А.И., Смирнов В.В. Там же. С. 13.

² Шахназаров Г.Х. Социалистическая демократия: Некоторые вопросы теории. М.: Изд-во полит. лит., 1972. С. 103-112; Тихомиров Ю.А. Управление делами общества. М.: Мысль, 1984. С. 160-164; Кабышев В.Т. Прямое народовластие в советском государстве. Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та, 1974. С. 48-57; Кукушкин М.И. Проблемы социалистического народовластия. Свердловск, 1982. С. 65 и др.

³ В итоге дискуссии большинство авторов стало склоняться к мнению, что оба вида демократии взаимодополняют друг друга.

ществом: либо граждане участвуют лично, прямо, непосредственно, либо делают это через избираемых ими представителей¹.

В выработанной парадигме исследования вполне оправданным представляется определенный расширительный подход к изучению непосредственной (прямой) демократии и ее институтов.

Так, в результате проведенных исследований были введены следующие типичные определения понятия непосредственной (прямой) демократии. «Это «порядок, при котором решения принимаются на основе прямого и конкретного волеизъявления всех граждан»²; «непосредственное участие граждан в осуществлении власти советского народа, их прямое волеизъявление при выработке и принятии государственных решений»³. По своему характеру непосредственная (прямая) демократия, как следует из приведенных определений, многопланова. Она может трактоваться как принятие публично-властных решений самими гражданами и в то же время как основа для принятия властных решений органами власти, коллективное мнение, высказываемое гражданами «при выработке и принятии государственных решений» органами государственной власти и т.д. Следуя данным определениям, авторы выявили и тщательно проанализировали множество институтов, относимых ими к институтам непосредственной (прямой) демократии. В частности, В.Т. Кабышев относил к институтам непосредственной (прямой) демократии социалистическую революцию, выборы народных представителей, отзыв депутатов советов, наказания избирателей, референдумы, общие собрания граждан, деятельность коммунистической партии и общественных организаций, народный контроль⁴. К системе институтов непосредственной (прямой) демократии различные авторы относили также всенародные обсуждения решений советов и проектов законов, общественные начала в организации и деятельности государственных органов власти, деятельность общественных организаций, собрания трудящихся и трудо-

¹ Кукушкин М.И. Проблемы социалистического народовластия ... С. 61.

² Шахназаров Г.Х. Социалистическая демократия: Некоторые вопросы теории ... С. 104.

³ Кабышев В.Т. Прямое народовластие в советском государстве ... С. 51-52.

⁴ Там же. С. 63.

вых коллективов, совещания трудящихся по вопросам управления, отчетность депутатов, наказания избирателей, рабочий контроль над производством, коллективно-договорные отношения, партийно-хозяйственные активы, письма трудящихся и др.¹. Иногда в их число включали съезды, совещания, товарищеские суды, уличные, домовые, квартальные, родительские комитеты, женские советы и др. Подобные попытки чрезмерно расширительного толкования понятия институтов прямой демократии справедливо отвергали некоторые специалисты. В частности, М.И. Кукушкин показал, что непосредственное волеизъявление граждан направлено здесь только на образование перечисленных органов, в то время как в решении общественных и государственных дел участвуют избранные в эти органы представители².

В рамках «активистской» парадигмы научного исследования в советской юридической литературе институты прямой демократии были изучены с достаточной степенью полноты и системности. В ходе проведенных исследований учеными-юристами был внесен значительный вклад в развитие идеи самоуправления, самоорганизации общества, и особенно гражданского участия в политике. Были вычленены многочисленные политико-правовые институты, не относящиеся к институтам представительной демократии.

Современное реформирование российского общества нацелено на формирование политической и правовой системы, функционирующей на согласительной основе. Подобного рода системы существуют в индустриальных рыночных обществах Западной Европы, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Японии³.

¹ См. обзор точек зрения, приведенный в кн.: *Комарова В.В.* Формы непосредственной демократии в России: Учебное пособие. М.: Ось-89, 1998. С. 8-11.

² *Кукушкин М.И.* Проблемы социалистического народовластия ... С. 62-63.

³ *Чарльз Ф. Эндрейн.* Сравнительный анализ политических систем ... С. 71. Как отмечает А. Шайо, «одной из наиболее очевидных сходных черт посткоммунистических правовых систем является стремление неуклонно следовать западным моделям, выбранным этими странами в процессе перехода». Западные модели правовых систем определяют концепцию конституционализма. (См.: *Шайо А.* Конституционализм и кон-

Основополагающим принципом согласительных политических систем является согласование интересов государства и всех участников гражданского общества. Эти системы вследствие развития плюрализма нуждаются в институтах, предназначенных для улаживания конфликтов. Чарльз Ф. Эндрейн характеризует согласительные системы следующим образом: «Участники политического процесса относятся к политике как своего рода игре. В числе основных «игроков» или «команд» – разнообразные правительственные учреждения, независимые группы влияния и коалиционные политические партии. Сотрудничество и конфликты представляют собой две возможные стратегии достижения поставленных целей. Для обеспечения победы своей политической линии каждая из команд должна вступать в сделки, образовывать коалиции и играть роль посредника в конфликте мнений. Опираясь на общность моральных обязательств, доверие и процедурный консенсус «игроки» пытаются обеспечить позитивный результат, от которого в выигрыше оказались бы все. ...Характер ролевых взаимоотношений определяется не расплывчатым социальным статусом, а конкретными договорными обязательствами. Улаживанию межгрупповых разногласий способствуют также такие политические институты, как независимые суды, представительные законодательные учреждения, коалиционные партии и общеобразовательные школы. Эти институты формируют единые ценности, сознание необходимости сотрудничества, а также играют роль арбитров в политическом состязании, в процессе которого участники договариваются о политических изменениях»¹.

Как следует из приведенной характеристики согласительных политических систем, народные массы не воспринимаются здесь в качестве основных субъектов политики. Однако как участники гражданского общества граждане и группы граждан могут становиться также участниками согласования интересов общества и государства. Поэтому в согласительных политических системах суще-

ституционный контроль в посткоммунистической Европе // Конституционное право: восточноевропейское обозрение, 1999. № 3(28). С. 77.). Россия в этом плане не является исключением.

¹ Там же. С. 70.

стует потребность в развитии соответствующих правовых институтов, регулирующих комплекс отношений по согласованию указанных интересов. Разумеется, что система этих институтов не может совпадать с системой правовых институтов, характерных для мобилизационных политических систем.

Одним из явных проявлений трансформации политической системы российского общества в систему согласительного типа как раз и стало изменение системы институтов, олицетворяющих участие граждан и других субъектов публичного права в решении публично-правовых вопросов. В ходе произошедших перемен часть упомянутых выше институтов, в частности рабочий контроль и наказания избирателей, не были восприняты российским конституционализмом. В то же время появились новые институты, например гражданский лоббизм. Этот и другие институты в новой конституционной системе стали предметом пристального внимания ученых-юристов. При этом начиная с 90-х гг. минувшего столетия в науке конституционного права России намечается изменение методологии исследования институтов гражданского участия. Здесь необходимо обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, *происходит смена исследовательской парадигмы*, в рамках которой изучаются институты демократии и демократические процессы в России и в мире. Во-вторых, *углубляется и детализируется исследование институтов гражданского участия, не относящихся к институтам представительной демократии*.

Смена исследовательской парадигмы. В процессе реформирования российского общества в политологии, теории права и государства, науке конституционного права при рассмотрении проблем демократии на первый план выдвинулись вопросы не столько самоуправления народа, сколько взаимоотношения государства и гражданского общества. Можно согласиться с А.И. Ковлером, заметившим, что «проблема современной демократии – это не столько проблема веры в ее исходные принципы и идеалы, сколько проблема переосмысления их с позиций нашего времени с целью обеспечения более эффективного *демократического действия*, демократической политики, разумея под политикой отно-

шения государства и его лидеров с гражданским обществом»¹. Исследователи приходят к выводу, что «по-видимому, государство целиком не может превратиться в институт самоуправления»². Современная же демократия мыслится не в качестве самоуправления народа, а как полития – смешанная форма правления, сочетающая в себе олигархию и умеренное политическое участие³. Эти идеи в значительной мере созвучны мыслям зарубежных теоретиков современной демократии. В частности выводам о том, что условием стабильной демократии является не только участие и рациональность, но и пассивность, вера, почтительное отношение к власти и компетентности (Г. Алмонд, А. Лейпрахт)⁴. По мере освоения либеральных ценностей растет осознание тесной связи современной демократии с ценностями ограниченного большинства, избираемыми процедурами и делегированием власти⁵.

Углубление и детализация исследования институтов гражданского участия. Параллельно с обозначенными тенденциями в российской политологической и юридической литературе намечается более углубленное и детальное исследование совокупности всех институтов гражданского участия, не входящих в систему представительной демократии. С дихотомии «представительная – непосредственная демократия» исследовательский интерес смещается к более детальной дифференциации институтов публичной власти, в том числе институтов, не входящих в систему представительной демократии. Подобная дифференциация институтов вытекает из юридического содержания субъективного права публичной власти, проявляющегося в основных правомочиях субъектов властеотношений. Исследователи выделяют как минимум четыре группы этих право-

¹ Ковлер А.И. Кризис демократии? Демократия на рубеже XXI века. М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1997. С. 13.

² Автономов А.С. Правовая онтология политики. К построению системы категорий. М.: ООО ИНФОГРАФ, 1999. С. 187.

³ Салмин А. Современная демократия. М.: Ad Marginem, 1997. С. 113-114.

⁴ Там же.

⁵ Белоновский В.Н., Белоновский А.В. Представительство и выборы в России с древнейших времен до XVII века. (Теория, история, практика). М.: Изд-во ПРИОР, 1999. С. 71-74.

мочий: 1) право участвовать в осуществлении публичной власти (в частности право гражданина участвовать в выборах, но голосуя против всех, не принимать решения о том, кто должен представлять его интересы); 2) право решения вопросов в процессе осуществления публичной власти; 3) право давать «советы», «рекомендации» по решению вопросов, составляющих компетенцию институтов и органов публичной власти (консультативные референдумы, обсуждения проектов нормативных актов и других важных вопросов общественной жизни, влияние на выработку обязательных юридических решений); 4) право инициативы и обращения носителей публичной власти (право обращения граждан в органы публичной власти и другие юридические возможности)¹.

Современные исследователи постепенно отходят от того, чтобы рассматривать институты демократии, связанные с первой, третьей и четвертой группой вышеуказанных властеотношений в качестве институтов непосредственной (прямой) демократии. Не случайно, что для обозначения институтов, регулирующих эти отношения, все чаще применяются специальные обобщающие понятия. В частности, институт обращений (петиций) граждан рассматривается в качестве *института* так называемого *гражданского лоббизма*² – одного из звеньев умеренного влияния на власть. Деятельность общественных объединений рассматривается в контексте исследования *институтов социального взаимодействия и социального партнерства*³. Причем авторы подчеркивают, что отличительными признаками современного начального этапа становления гражданского общества в России является такая деятельность инициативных, самоуправляемых объединений граждан, которая

¹ Югов А.А. Право публичной власти: понятие и содержание // Конституционные основы организации и функционирования институтов публичной власти в Российской Федерации. Материалы Всеросс. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2001. С. 72-73.

² Любимов А.П. Лоббизм как конституционно-правовой механизм. М., 1998. С. 102.

³ Модель И.М., Модель Б.С. Власть и гражданское сообщество России: от социального взаимодействия к социальному партнерству. Екатеринбург: УрО РАН, 1998.

направлена на решение общих проблем, защиту общих интересов, *не связанных с завоеванием власти*¹. Массовые кампании и выступления граждан, деятельность партий, трехсторонних комиссий, совещания, собрания и другие институты исследуются как *институты функционального представительства интересов*². Совокупность таких институтов рассматривается как система прямых не опосредованных выборами связей между группами интересов и органами власти. При этом авторы показывают, что главным их предназначением является *не принятие властных решений гражданами*, а оказание влияния на органы власти и должностных лиц, *обеспечение представительства интересов различных социальных групп на государственном уровне*. В современных государствах мира создание системы функционального представительства, как показал С.П. Перегудов, является результатом обоюдных устремлений государства и групп интересов. Упомянутые институты играют здесь исключительную роль. Они – одно из главных звеньев в механизме взаимодействия гражданского общества и государства. Сотрудничество и партнерство, а не стремление граждан брать на себя управление делами общества выходит на первый план. Поэтому интерес к этим институтам неуклонно возрастает в современной России и за рубежом. Но они рассматриваются не в качестве институтов непосредственной (прямой) демократии, а в качестве корпоративистских институтов, вызванных к жизни обострением конкуренции, ростом социальной напряженности под воздействием глобализации и западноевропейской интеграции на уровне национальных государств³. Сказанное означает, что система данных институтов – предмет особого исследования. В таком случае возникает вопрос, как можно дифференцировать основные институты гражданского участия?

¹ Там же. С. 20.

² Перегудов С.П. Политическое представительство интересов: опыт Запада и проблемы России // Политические исследования, 1993. № 4. С. 115-124; *Он же*. Новейшие тенденции в изучении гражданского общества и государства // Политические исследования, 1998. № 1.

³ Перегудов С.П. Новейшие тенденции в изучении отношений гражданского общества и государства ... С. 145-146.

Данные институты могут быть подразделены на две большие группы: институты непосредственной (прямой) демократии и институты опосредованной демократии. К институтам непосредственной (прямой) демократии можно отнести только те взаимосвязанные группы правовых норм, которые регулируют такие правомочия субъектов властеотношений как *право принятия общеобязательных публично-властных решений* в процессе осуществления публичной власти. К институтам опосредованной демократии, демократии *участия* (партисипаторной демократии) в собственном смысле слова можно отнести взаимосвязанные правовые нормы, регулирующие отношения, в которых граждане не принимают публично-властные решения, а только оказывают влияние на их выработку и принятие.

Имея в виду изменившийся теоретический контекст, можно сделать вывод, что институты гражданского участия требуют своего переосмысления с учетом изменившихся методологических подходов. Разумеется, это длительный процесс. И пока он идет очень медленно. Вопросам методологии исследования институтов гражданского участия в современной России практически не уделяется внимания. По глубине теоретической обоснованности, методологической последовательности современные работы иногда даже уступают исследованиям, выполненным в советский период. В рамках мобилизационной парадигмы научного исследования советского времени все исследователи придерживались единой логической конструкции: институты непосредственной (прямой демократии) рассматривались как выражение гражданами любого волеизъявления в политической сфере вне представительного органа власти. Применение этого критерия придавало качество однородности всем институтам демократии, не входящим в систему представительной демократии. Поэтому рассматриваемые учеными виды институтов, относимые к институтам прямой демократии, были чрезвычайно многообразны. Это вполне допускало объединение самых разнородных институтов в одну группу.

В настоящее время учеными не всегда учитывается современное состояние исследований институтов публичного права. Анализ современных работ, посвященных институтам гражданско-

го участия, свидетельствует, на наш взгляд, о неоправданно расширительном толковании понятия «институты непосредственной (прямой) демократии», необоснованном включении в его объем неоднородных по своей природе групп взаимосвязанных правовых норм. Отсутствуют четкие критерии, на основании которых тот или иной институт следует квалифицировать как институт непосредственной (прямой) демократии. Так, в одних случаях к ним относят выборы, референдум, народные обсуждения проектов важных государственных и территориальных решений и законов, петиции, народные инициативы, собрания (сходы) граждан по месту их жительства, опросы населения¹. В других – выборы органов власти и должностных лиц, референдум, собрания (сходы) граждан по месту жительства, отчеты, досрочный отзыв депутатов и выборных должностных лиц, обращения, петиции граждан и народную правотворческую инициативу, институты собраний, митингов, шествий, демонстраций и пикетирования². К институту непосредственной демократии современные авторы относят также императивные формы прямого волеизъявления граждан (референдум, выборы, отзыв выборного должностного лица и депутата представительного органа, институт конференций, собраний, сходов); регулятивные формы прямого волеизъявления граждан (институт политических партий, обращений граждан, народная правотворческая инициатива, наказания, отчеты, территориальное общественное самоуправление); консультативные формы прямого волеизъявления граждан (манифестации и публичные слушания, опросы граждан, консультативный референдум, обсуждения³.

Вероятно, исследователи институтов непосредственной (прямой) демократии по-прежнему исходят из прежней методологической установки, согласно которой все граждане активно участвуют в управлении обществом и государством. Все институты, не

¹ *Авакьян С.А.* Непосредственная демократия // Большая российская юридическая энциклопедия. Электронная версия ЗАО «ВК КОДЕКС».

² *Нудненко Л.А.* Институты непосредственной демократии в системе местного самоуправления России. М.: ИНИОН РАН, 2000.

³ *Комарова В.В.* Механизм непосредственной демократии современной России (система и процедуры). М.: Формула права, 2006.

относящиеся к институтам представительной демократии, как и прежде, они относят к институтам непосредственной (прямой) демократии.

С учетом современных тенденций исследования институтов гражданского участия в политике необходима выработка иных методологических подходов, позволяющих более определенно подойти к интересующему нас предмету исследования. Воспользуемся для этого методикой идентификации правовых институтов, разработанной В.С. Якушевым: «Какую совокупность норм можно признать правовым институтом? Ответ на этот вопрос следует искать за пределами права. Основу правового института ... должны составлять определенные общественные отношения, объединенные своей однородностью. ... Последовательно используя единый методологический подход, необходимо в то же время найти те конкретные факторы, которые характеризуют данную группу общественных отношений, составляющих основу правового института»¹. Прежде всего выявим группу однородных общественных отношений, которые все-сторонне урегулированы совокупностью правовых норм, составляющих институты непосредственной (прямой) демократии.

Поскольку в согласительных политических системах большая часть институтов, олицетворяющих участие граждан в делах общества, связана с сотрудничеством и партнерством основных участников гражданского общества и власти, а не с властвованием, вполне уместно предположить, что к институтам прямой демократии можно отнести лишь те институты, которые связаны с непосредственным принятием самими гражданами публично-властных решений. В данном случае вслед за Дж. Сантори² вполне уместно поставить вопрос: какая же реальная связь существует между понятиями «народ» и «власть», между *demos* и *kratos*? Для ответа на этот вопрос необходимо сосредоточить внимание не на титуле власти, а на ее реальном осуществлении, не на номинальной власти народа, а на реальной.

¹ Якушев В.С. Понятие правового института // Правоведение, 1970. № 6. С. 63.

² Santory G. The Theory of Democracy Revisited. Chatham, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc., 1987. P. 28.

Нельзя сказать, что в нашей стране не предпринимаются попытки изменить методологию исследования институтов прямой демократии. Они стали предприниматься в последние годы. Одной из наиболее удачных из них, на наш взгляд, является подход В.В. Комаровой, исследующей «формы», а фактически институты, прямой демократии. Анализируя множество существующих на сегодняшний день мнений, автор приходит к выводу, что «формами прямой демократии являются только те ее проявления, которые институционализируют непосредственное властное волеизъявление обладателя полноты государственной власти – народа»¹. Автор отмечает также, что непосредственное властное волеизъявление должно подлежать всеобщему исполнению (в масштабах решаемого вопроса) и не нуждается в каком-либо утверждении². Можно согласиться, что наличие отмеченных признаков отличает институты непосредственной (прямой) демократии от всех иных институтов публичного права, не входящих в систему институтов представительной демократии.

Этот подход, на наш взгляд, позволяет существенно уточнить представление об институтах прямой демократии. С его позиций автор справедливо оспаривает положения, согласно которым к институтам прямой демократии относят письма и обращения граждан в органы власти и управления, деятельность общественных организаций, подачу рационализаторских предложений, петиции и др. Ни один из перечисленных институтов не связан с прямым властным волеизъявлением граждан, подлежащем всеобщему исполнению. Придерживаясь предложенного подхода можно было бы существенно пересмотреть и привести к общему знаменателю перечень институтов прямой демократии. В то же время сам автор не совсем последователен в своей работе. Высказав критические замечания, в систему институтов непосредственной (прямой) демократии сам он включает референдум, выборы, общие собрания населения, митинги, шествия, демонстрации, пикетирования, народную правотвор-

¹ Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России: Учебное пособие ... С. 9.

² Там же. С. 7. По сравнению с работами, выполненными в советское время, в данном случае присутствует указание на принятие *властных* решений.

ческую инициативу, деятельность политических партий, отзыв выборного народного представителя¹. Все они, по его мнению, «институционализируют непосредственное властное волеизъявление обладателя государственной власти, выражают его суверенитет»².

Вряд ли такой вывод следует из предложенных в целом верных определений. В данном случае автор допускает смешение неоднородных по своему содержанию институтов: в одну группу оказались объединены институты, регулирующие принятие гражданами публично-властных решений, и институты, не связанные с принятием самими гражданами властных решений. Но в таком случае возникают вопросы. На каком основании письма и обращения граждан не могут быть отнесены к институтам прямой демократии, а шествия и демонстрации относятся к таковым? Являются ли шествия и демонстрации, пикетирования и другие институты властным волеизъявлением граждан, подлежащим всеобщему исполнению? Представляется, что требования, выраженные в письмах и обращениях, точно так же как и требования, выдвигаемые в ходе проведения шествий и демонстраций не являются таковым. Этот же вывод напрашивается и в отношении деятельности политических партий, пикетирований. Отнесение их к институтам непосредственной (прямой) демократии означает, что автор фактически разделяет критикуемый им расширительный подход к пониманию институтов прямого народовластия. Здесь мы сталкиваемся с необходимостью уточнения представлений о природе непосредственного публично-властного волеизъявления граждан как субъектов прямой демократии.

Властное волеизъявление сопряжено с исходными началами публичного права – с таким порядком «власти–подчинения», *«в соответствии с которым лица, обладающие властью, вправе односторонне и непосредственно, в принципе без каких-либо дополнительных решений иных инстанций, определять*

¹ Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России: Учебное пособие ... С. 7.

² Там же. С. 10.

поведение других лиц (подвластных, подданных), и сообразно этому вся система властно-принудительных учреждений обязана силой принуждения обеспечивать полную и точную реализацию приказов и команд власти, а «все другие» лица безусловно им подчиняться»¹.

Применительно к нашей проблеме важно отметить несколько признаков властного волеизъявления. Во-первых, прямое властное волеизъявление осуществляет лишь *субъект, обладающий властью*. Во-вторых, этот субъект может *определять поведение других лиц*, отдавая «приказы» и «команды». В-третьих, он может определять поведение других лиц с помощью всей системы властно-принудительных учреждений, так что все остальные лица *обязаны* подчиняться отданным «командам» и «распоряжениям» властного субъекта. Остановимся на каждом из этих моментов.

Граждане как субъекты власти. Применительно к институтам непосредственной (прямой) демократии, лицами, наделенными властными полномочиями, в современном конституционализме являются граждане, обладающие избирательным правом. Властное волеизъявление граждан возможно при условии признания за ними на уровне законодательства определенных властных полномочий, реализуя которые они вправе в одностороннем порядке и непосредственно определять поведение других лиц (органов власти, должностных лиц, организаций и самих граждан). Сам факт наличия у граждан определенных властных полномочий иногда оспаривается в юридической литературе. В частности, авторы проблемного комментария Конституции Российской Федерации полагают, что граждане в принципе не могут обладать никакой властью, так как это означало бы дуализм власти народа и власти государства. По их мнению, понятия народного суверенитета, народовластия были и остаются не более чем юридической фикцией, несущей легитимирующую нагрузку, а потому в действительности граждане не могут осуществлять власть самостоятельно, помимо органов государственной власти. Единственное, что они могут, это принимать участие в формировании и осуществлении государственной вла-

¹ Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: Изд-во НОРМА, 2001. С. 552.

сти¹. Даже в специальной юридической литературе, посвященной проблемам компетенции, вопрос о фактической компетенции граждан в системе публичной власти обходится стороной. В работе Ю.А. Тихомирова, посвященной теории компетенции, в разделе «Публичная власть и компетенция» граждане рассматриваются как субъекты частноправовых отношений, которые сталкиваются с компетенцией органов власти и являются главным образом правообязанными². В государственном и конституционном праве детально разработан другой вопрос, а именно, вопрос о властных полномочиях народа как суверена. Разработка этого вопроса является развитием теорий народного (Руссо) и национального (Сиейес) суверенитета. Но в рамках этих теорий постановка вопроса о фактической компетенции граждан не корректна. Народ в данном случае выступает как «социальный источник всех компетенций»³. Между тем, когда речь идет о прямом волеизъявлении граждан как субъектов публичного права, проблема компетенции граждан вполне может стать предметом научного исследования. Если отвлечься от теории народного (национального) суверенитета и обратиться к современному конституционализму как системе актуального права, то следует признать, что в системе демократического представительства граждане могут наделяться определенными властными полномочиями. Число таких случаев строго ограничено и в каждом конкретном государстве законодательством четко определена компетенция граждан в сфере отношений прямого властвования.

«Приказы» и «команды» граждан, как субъектов власти.
Будучи субъектами властвования, граждане могут отдавать обяза-

¹ Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Четвернин. М.: Центр конституцион. исслед. МОНФ, 1997. С. 72. Такой подход имеет давнюю традицию. Как заметил еще в начале прошлого века Н.И. Лазаревский, руководствоваться принципом народного суверенитета на деле оказывается практически невозможным. В любом государстве страну правят известные органы. (См.: *Лазаревский Н.И.* Русское государственное право. Т. 1. Конституционное право. СПб., 1913. С. 119).

² *Тихомиров Ю.А.* Теория компетенции. М.: Юринформцентр, 2001. С. 60-62.

³ Там же. С. 52.

тельные для исполнения «приказы» и «команды» тем же путем, что и любая другая власть – посредством действия-волеизъявления, выраженного в принятии обязательных для исполнения *публично-властных решений*. Принимаемые гражданами публично-властные решения (приказы, распоряжения, веления) являются разновидностью правовых актов – актами прямого народовластия¹. Акты прямого народовластия направлены на достижение определенного юридического эффекта (установление, применение и отмену правовых норм, изменение сферы их действия, а также возникновение, изменение и прекращение конкретных правоотношений и т.д.)². Посредством актов прямого народовластия граждане сами без посредников осуществляют правовое регулирование, то есть оказывают результативное правовое воздействие на систему общественных отношений с помощью дозволений, запретов, допущений. Формой закрепления публично-властных решений граждан, как правило, являются акты-документы (конституции, законы, статуты, уставы и др.). Акты прямого народовластия, как правило, носят нормативный характер, то есть рассчитаны на неоднократную реализацию и адресованы неопределенному кругу лиц.

Правовая природа публично-властных решений подробно исследована известным немецким политологом и юристом К. Шмиттом³. К ним он относил такие политические решения по тому или иному вопросу, которые приняты *самостоятельно, окончательно и не подлежат дальнейшему обсуждению и пересмотру* (Dezision).

¹ *Васильев Р.Ф.* О понятии правового акта // Вестник МГУ. Сер. 11. Право, 1998. № 5. С. 11. Проблема актов прямого народовластия (понятие, сущность, разновидности, система и т.д.) в настоящее время почти не разработана. О них упоминает Р.Ф. Васильев в указанной работе. Им также посвящен параграф с весьма некорректным названием «Решения институтов прямой демократии» в книге: *Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В.* Правовые акты. Учебно-методическое и справочное пособие. М.: Издание г-на Тихомирова М.Ю., 1999. С. 25-26. См. также: *Мурашин А.Г.* Выборы и отзыв как акты прямого народовластия // Журнал российского права, 1999. № 10. С. 140-145.

² *Васильев Р.Ф.* О понятии правового акта ... С. 12.

³ *Шмитт К.* Политическая теология. М.: КАНОН-ПРЕСС-Ц, 2000; *Гайда А.В., Максutow А.Б.* Теология власти. Екатеринбург: УрО РАН, 2001. С. 67-69.

Только в самостоятельном и окончательно принятом решении проявляется воля властного субъекта (суверена).

Принудительно-волевое свойство публично-властных решений граждан. Принимаемые гражданами публично-властные решения – не просто решения, выражающие волю определенной социальной группы или общности. Как верно отметил Р.Ф. Васильев, воля, выраженная на референдуме, наряду с волей, выраженной органом государственной власти или должностным лицом, тоже является государственной волей¹. Это принципиально важный момент. Публично-властные решения, принятые гражданами, изначально являются актами, выражающими государственную волю или волю местного сообщества. Поэтому они не нуждаются в официальном признании со стороны государства или органов местного самоуправления и, как правило, вступают в силу с момента их принятия. Решение, принятое с соблюдением установленных правил, с момента его вступления в законную силу становится обязательным для исполнения всеми субъектами правоотношений, на которые оно распространяется. Его исполнение обеспечивается всей силой государства, в том числе судебной защитой.

Таким образом, *институты непосредственной (прямой) демократии – совокупность правовых норм, регулирующих отношения по принятию гражданами в рамках установленной законом компетенции общеобязательных публично-властных решений, имеющих силу государственно-волевых решений (решений органов местного самоуправления).*

Отсутствие отмеченных выше признаков в характеристике того или иного института демократии не позволяет квалифицировать его в качестве института непосредственной (прямой) демократии. Несомненно, что институты митингов, шествий, демонстраций, обращений граждан в органы власти, пикетирования являются институтами, выражающими участие граждан в решении значительной части публично-правовых вопросов. Однако если в случае с институтами прямой демократии речь идет о совокупности норм права, регулирующих принятие публично-властных решений в

¹ Васильев Р.Ф. О понятии правового акта ... С. 12.

рамках определенной законом компетенции, то в перечисленных случаях – только о взаимодействии граждан и власти. В ходе данного взаимодействия граждане могут существенно повлиять на характер принимаемого публично-властного решения, но право принятия этого решения всегда принадлежит органу государственной власти (местного самоуправления) или соответствующему должностному лицу. Требования, выдвигаемые на митингах и демонстрациях, предложения, формулируемые в обращениях граждан не обязательны для исполнения субъектами правоотношений, к которым они адресованы. Поэтому в данном случае граждане не являются субъектами власти. Они – участники диалога власти и гражданского общества. Институты митингов, шествий, демонстраций, обращений (петиций) граждан, пикетирования и т.д. точнее будет отнести к такой форме организации власти, при которой окончательные решения принимаются представительными органами власти или должностными лицами, но на процесс их обсуждения и рассмотрения граждане могут оказывать существенное влияние.

Что же касается институтов непосредственной (прямой) демократии, придерживаясь обозначенного нами подхода, можно сделать вывод, что в рамках согласительных политических систем их число достаточно ограничено. В систему этих институтов можно включить, во-первых, *институты, обеспечивающие принятие гражданами управленческих решений и прямое правотворчество граждан* (референдум, гражданская правотворческая инициатива, народное вето (аброгативный референдум), общее собрание (сход) граждан с правами представительного органа); во-вторых, *институты, обеспечивающие прямое участие граждан в формировании системы публичной власти* (отзыв депутатов и выборных должностных лиц, роспуск выборных органов власти). Каждый из перечисленных институтов предполагает принятие гражданами общеобязательных публично-властных решений. В отечественном конституционном праве к рассматриваемым институтам принято относить также выборы. С этим подходом можно согласиться только с определенными оговорками. Странник прямого народного правления Ж.-Ж. Руссо подчеркивал, что, принимая решение о передаче власти своим представителям, граждане

утрачивают свою свободу. Поэтому, хотя институт выборов и предполагает принятие гражданами общеобязательных публично-властных решений, основное его содержание сводится к отказу от прямого властвования. Вероятно по этой причине зарубежные специалисты, изучающие институты непосредственной (прямой) демократии, не включают выборы в свой предмет исследования¹. Все вышеперечисленные институты непосредственной (прямой) демократии несмотря на их функции, обеспечивающие прямое властвование граждан, в современном обществе с полным основанием следует отнести к институтам гражданского участия. И хотя в Конституции Российской Федерации данным институтам отводится одинаковое место с институтами представительной демократии, на деле институты непосредственной (прямой) демократии в современном мире играют исключительно вспомогательную роль, обеспечивая устойчивое функционирование доминирующей представительной системы². С этой точки зрения, даже принимая публично-властные решения, граждане фактически участвуют наряду с представительными органами власти в отпращивании властных функций.

В продолжение предложенного подхода институты опосредованной демократии могут быть определены как совокупность правовых норм, регулирующих отношения *по оказанию гражданами влияния на принятие органами государственной власти (органами местного самоуправления) публично-властных решений*. Данные институты тоже могут быть подразделены на две большие группы.

¹ См., например: *Zimmerman, Joseph F. Participatory Democracy*. N.-Y.; Westport; Connecticut; London, 1986; *Rourke John T., Hiskes Richard P., Zirakzadeh Cyrus Ernesto. Direct Democracy and International Politics. Deciding International Issues Through Referendums*. Boulder & London: Lynne Rienner Publishers, 1992; *Cronin Tomas E. Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum and Recall*. Cambridge; Massachusetts; London: Harvard University Press, 1989.

² Характерно, в частности, постановление Конституционного суда Венгрии по данному вопросу. В 1993 г. после попытки группы граждан осуществить в инициативном порядке роспуск парламента Конституционный суд подтвердил приоритет институтов представительной демократии в венгерском обществе (См.: *Deszó M., Bragyova A. Hungary // Direct Democracy: The Eastern and Central European Experience*. Aldershot: Ashgate, 2001. P. 72-73).

К первой группе можно отнести *институты, обеспечивающие принятие органами власти согласованных с основными акторами гражданского общества вариантов публично-властных управленческих решений*. Их разновидностями являются, во-первых, *институты плебисцитарной демократии* (плебисцит, консультативный референдум, народный опрос). Во-вторых, *институты делиберативной демократии*, предполагающей, что «все, кого может затрагивать предполагаемое решение, должны иметь равные шансы на участие в обсуждении»¹. К формам делиберативной демократии относятся участие граждан в различных комиссиях, комитетах, коллегиях, общественных палатах и в других органах, создаваемых при органах власти; обсуждение общественно значимых проблем самостоятельными общественными советами, гражданскими форумами, собраниями и сходами граждан для выработки рекомендаций органам власти; публичные и общественные слушания; переговоры органов власти, элитных групп со значительной частью субъектов гражданского общества. В-третьих, к институтам опосредованной демократии относятся *институты социального партнерства* (совместная разработка и реализация социальных программ представителями общественности и органами власти, партнерство в сфере трудовых отношений, добровольчество и др.). В-четвертых, к рассматриваемым институтам можно отнести *формы функционального представительства интересов субъектов гражданского общества* (массовые кампании, митинги, шествия, демонстрации, другие выступления граждан, их обращения, деятельность партий, трехсторонних комиссий и др.).

Ко второй группе институтов опосредованной демократии могут быть отнесены *институты, обеспечивающие участие граждан в отправлении правосудия*. Их разновидностями являются *институты, обеспечивающие участие граждан в предварительном следствии* (коронерские жюри в странах общего права, участвующие в расследовании случаев загадочной смерти; большие жюри в странах общего права, участвующие в рассмотрении вопроса об обоснованности предъявления обвинения и их ана-

¹ Бусова Н.А. Делиберативная модель демократии и политика интересов // Вопросы философии, 2002. № 5. С. 51.

логи в других странах (комиссии по рассмотрению обвинений в Японии и др.); *институты, обеспечивающие участие граждан в судебном разбирательстве* (суды присяжных, смешанные суды или суды шеффенского типа, суды по трудовым спорам с участием непрофессиональных судей, арбитражные суды с участием граждан, ювенальные суды с участием представителей общественности и др.); *институты, обеспечивающие участие граждан в квазисудебных делах* (специальные уполномоченные по гражданским свободам, специальные уполномоченные по социальному обеспечению, административные защитники, уполномоченные по примирению, защитники в судах по семейным делам и др.); *институты, обеспечивающие участие граждан в системе исполнения наказаний* (уполномоченные по надзору за условно осужденными, уполномоченные по надзору за условиями содержания заключенных, уполномоченные по надзору за деятельностью органов власти и должностных лиц, обеспечивающих исполнение наказаний и др.).

Дифференциация и классификация институтов демократии, обеспечивающих участие граждан в отправлении власти путем оказания влияния на органы власти, нуждается в совершенствовании. Однако следует отметить, что, на наш взгляд, предложенная методология исследования может иметь достаточно большое практическое значение. В современном демократическом обществе институты опосредованного гражданского участия в осуществлении публичной власти играют все более заметную роль. Внедрение и развитие этих институтов способствует достижению общественного согласия при принятии публично-властных решений, предотвращению возможных конфликтов общества и власти, так как механизмы опосредованного участия придают принимаемым органами власти решениям большую легитимность. Вычленение и дифференциация данных институтов позволяет законодателю составить более четкое представление о механизмах гражданского участия в целом и сосредоточить свое внимание на развитии основных форм такого участия.

§ 4. ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИНСТИТУТЕ ОМБУДСМЕНА В ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Анализ современной научно-исследовательской литературы показывает, что момент возникновения концепции омбудсмена неоднозначно определяется исследователями.

Некоторые авторы полагают, что данный институт уходит своими корнями в ранние цивилизации Древней Греции и Древнего Рима¹. В Афинском полисе гелиея (суд присяжных) была высшей апелляционной инстанцией, где можно было оспорить решение любого государственного органа и чиновника; функционировала специальная коллегия – номофилаки (в буквальном переводе – «стражи законов»), следившая за тем, чтобы решения Народного собрания и Совета не противоречили законам и чтобы действия должностных лиц не выходили за рамки закона². В Древнем Риме своеобразными контролерами по отношению к магистратам выступали народные трибуны. Должность народного трибуна учреждалась для защиты плебейского сословия. Народные трибуны получали «негативную власть» – обладали правом протеста против приговора патрицианских магистратур³. Не случайно итальянский ученый Н. Ринальди указывает на сходство функций народных трибунов и современных омбудсменов⁴.

¹ См., например: *Соколов А.Н., Трумпель К.Б.* Парламентский омбудсмен: генезис, функционирование, тенденции развития. Калининград: Балтийский институт экономики и финансов, 2000. С. 7-8; *Satyanand A.* Growth of the ombudsman concept // Journal of south pacific law, 1999. V. 3 / http://www.vanuatu.usp.ac.fj/journal_splaw/articles/Satyanand1.htm

² *Меланченко И.В.* Афинская демократия: государственное устройство и политический режим классических Афин в правовых, исторических, социологических терминах. М.: Крафт+, 2007. С. 77, 132-133.

³ *Покровский И.А.* История римского права. СПб.: ИТД «Летний сад», 1999. С. 109.

⁴ *Ринальди Н.* Значение фигуры плебейского трибуна для современной проблематики, связанной с защитником народа // Древнее право. Ius Antiquum, 1996. № 1. С. 144.

Выдвигается также гипотеза, что протоомбудсменовские функции на арабском востоке выполнял Мухтасиб (Muhtasib), выступавший в качестве блюстителя общественной морали и защитника справедливости¹. Назначал Мухтасиба, как правило, глава государства. Ему вменялось мухтасибство – своеобразное общее полномочие в исламском праве, означающее «требование возврата прав, применение при этом лучших и удобных мер». Как указывает ученый-энциклопедист Ибн Халдун, мухтасибство считалось разновидностью религиозных полномочий². Мухтасиб пресекал запрещенные деяния и как лицо, надзирающее за осуществлением в жизни законов шариата, посещал города с целью предупреждения нарушений правил, относящихся к жизни населения³. В эпоху Аббасидов (750–847 гг.) появилось ведомство Диван аль Мазалим (Diwan al Mazalim), функцией которого было рассмотрение жалоб населения против государственных чиновников. Диван аль Мазалим возглавлял Кади аль Кадят (Qadi al Qadiat) – верховный судья. Считается, что именно на эту должность ориентировался шведский король Карл XII при учреждении поста Главного омбудсмана его Величества в Швеции.

Некоторые ученые видят зачатки института омбудсмана в должностном лице «юань», который существовал в Китае во времена династий Ю и Сун и в обязанности которого входило оглашение воли народа императору и указов императора народу⁴.

Вместе с тем наиболее обоснованной представляется позиция, согласно которой институт омбудсмана имеет скандинавское

¹ См., например: *Жузжоний А.Ш.* Институт мухтасиба (омбудсмана) в исламе // Омбудсманы мира: Сб. ст. Ташкент: Узбекистон миллий энциклопедияси, 2006. С. 12; *Pope J.* Confronting corruption: the elements of a national integrity system. L.: Transparency international, 2000 // <http://www.transparency.org/sourcebook/10.html>

² Цит. по: *Лохматов Е.А.* Генезис и эволюция института Омбудсмана в Швеции // Государство и право: теория и практика: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. В.П. Прокопьев. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. Вып. 4. С. 12.

³ См. подробнее: *Жузжоний А.Ш.* Институт мухтасиба (омбудсмана) в исламе ... С. 11-19.

⁴ *Satyanand A.* Growth of the ombudsman concept.

происхождение и возник в Швеции в 1809 г.¹, поскольку Омбудсмен юстиции в Швеции был впервые учрежден в рамках концепции парламентаризма как должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением законов судьями и государственными чиновниками.

Первым историческим предшественником Омбудсмана юстиции в Швеции является Главный Сенешаль (Drotsen). Данная должность была учреждена в XVI в. Главный Сенешаль осуществлял надзор от имени верховной власти короля за отправлением правосудия в королевстве². О допущенных нарушениях в ходе отправления правосудия он был вправе доложить королю, но напрямую повлиять на судей не мог.

Следующей вехой на пути становления института омбудсмана стало учреждение Карлом XII в 1713 г. должности Главного омбудсмана Его Величества (Kungens Högste Ombudsman). В случае обнаружения нарушений со стороны судей и администрации Главный омбудсмен его Величества мог не только докладывать об этом королю, но и самостоятельно возбуждать дела в отношении их. В 1719 г. должность Главного омбудсмана его Величества была переименована в Канцлера юстиции (Justitie-Kansler). Канцлер юстиции как представитель Короны не только осуществлял контроль над королевской администрацией и судами, но и выступал главным обвинителем, советником правительства по правовым вопросам, в том числе ответственным за ведение гражданского судопроизводства от имени Короны. Эта должность существует в Швеции по сей день. Канцлер юстиции функционирует в качестве так называемого «исполнительного омбудсмана» и согласно параграфу 6 главы 11 Конституции Швеции 1974 г.³ подчиняется Правительству Швеции.

После смерти Карла XII в 1718 г. в Швеции начинается переход к парламентаризму. В 1766 г. Ригсдаг впервые избрал Канцлера юстиции. Однако в результате государственного переворота 1772 г.

¹ См., например: *Хиль-Роблес А.* Парламентский контроль за администрацией (институт омбудсмана). М.: Ad Marginem, 1997. С. 35.

² Там же.

³ Конституции государств Европы. В 3 т. / Под ред. Л.А. Окунькова. М.: Норма, 2001. Т. 3.

право назначать указанное должностное лицо вновь становится прерогативой короля¹. Вся полнота власти Риксдаг обрел лишь в 1809 г. В соответствии с Конституцией Швеции 1809 г. власть была разделена между королем и Риксдагом. Король назначал Канцлера юстиции, а Риксдаг – Омбудсмена юстиции (Justitie-Ombudsman). Во время обсуждения проекта конституции в Риксдаге необходимость учреждения поста Омбудсмена юстиции обосновывалась тем, что Канцлер юстиции не обладал достаточной компетенцией для защиты прав подданных в силу его зависимости от Короля и Правительства. Последние, например, могли своими приказами прекратить расследование, начатое Канцлером юстиции². В компетенцию Омбудсмена юстиции входил контроль за действиями администрации, органов юстиции и церкви. Король, его советники и министры Омбудсмену юстиции подконтрольны не были, что обусловлено исторически сложившимся в Швеции разделением полномочий между правительством и администрацией. Институт омбудсмена возник в Швеции именно как орган парламентского контроля за администрацией.

Со временем институт Омбудсмена юстиции в Швеции претерпел существенные изменения. Так, в 1915 г. из сферы его компетенции была исключена военная администрация в связи с учреждением должности Военного омбудсмена (Militieombudsman). В 1967 г. вновь введена единая должность Омбудсмена юстиции, которую осуществляли три лица. В 1957 г. в сферу компетенции Омбудсмена юстиции Швеции включена местная администрация – представители территориальных органов, члены муниципалитетов и ведомственных комиссий, за исключением членов выборных муниципальных и общинных советов. Однако именно институт Омбудсмена юстиции в Швеции заложил основу «исторической» концепции омбудсмена³. Данной

¹ Соколов А.Н., Трумпель К.Б. Парламентский омбудсмен: генезис, функционирование, тенденции развития. С. 9.

² Лохматов Е.А. Генезис и эволюция института Омбудсмена в Швеции ... С. 49.

³ Наименования концепций предложены автором настоящей статьи. Концепции выделены на основе различий в оценке места омбудсменов в системе государственных органов, цели деятельности омбудсменов и их компетенции.

концепции отвечают, в частности, институт Омбудсменов Ригсдага в Швеции и институт Парламентского омбудсмена в Финляндии.

В рамках «исторической» концепции омбудсмен рассматривается как орган парламентского контроля за исполнительной и судебной властью. Основной целью деятельности таких омбудсменов является повышение эффективности государственного управления. В связи с этим в сферу их компетенции входят вопросы соблюдения требований формальной законности органами исполнительной и судебной власти.

В 1975 г. вступила в силу новая Конституция Швеции, закрепившая принципы народного суверенитета, представительной демократии и парламентаризма. В параграфе 6 главы 12 Конституции провозглашается, что «Ригсдаг может избирать одного или нескольких омбудсменов для контроля, согласно принятой Ригсдагом инструкции, за применением в публичной деятельности законов и иных законодательных актов»¹. В Инструкции для Омбудсменов Ригсдага указывается, что они осуществляют контроль за тем, чтобы суды и публичная администрация действовали при исполнении своих обязанностей законно, объективно и справедливо². При этом Омбудсменам Ригсдага не подконтрольны члены Ригсдага, административный совет Ригсдага, комиссия Ригсдага по проверке выборов, комиссия Ригсдага по рассмотрению жалоб, Секретарь палаты Ригсдага, члены руководящего и исполнительного органов Банка Швеции, Правительство Швеции, Канцлер юстиции. В отношении Верховного и Верховного административного судов компетенция Омбудсменов Ригсдага ограничивается критикой судебных актов в случае их явного противоречия нормам права. При таких условиях члены Верховного и Верховного административного судов остаются практически вне критики³.

¹ Конституции государств Европы ... Т. 3.

² The Act (1986:765) with the Instructions for the Parliamentary ombudsman, adopted on 13 November 1986 (Sweden) // http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=37&MainMenuId=12&Language=en&ObjectClass=DynamX_Document&Id=575.

³ Хиль-Роблес А. Парламентский контроль за администрацией ... С. 41.

Парламентский омбудсмен в Финляндии, как и в Швеции, сосуществует с Канцлером юстиции (Oikeuskansler), который назначается Президентом Республики. В соответствии с параграфом 109 главы 10 Конституции Финляндии 1999 г.¹ Парламентский омбудсмен должен осуществлять контроль за тем, чтобы суды и другие органы, а также служащие, лица, работающие в общественном секторе, и другие лица, выполняющие общественные функции, следовали закону и надлежаще исполняли свои обязанности. В Акте о Парламентском омбудсмене² подчеркивается, что он контролирует законность решений и действий Правительства, министров и Президента.

Согласно «исторической» концепции омбудсмены вправе применять императивные меры для устранения выявленных нарушений – возбуждать обвинение против должностных лиц о совершении преступлений при исполнении служебных обязанностей.

Омбудсмены Ригсдага в Швеции вправе возбуждать в отношении чиновников уголовные дела, в отношении членов Верховного суда или Верховного административного суда – дела о совершении преступлений при исполнении служебных обязанностей, об отстранении или освобождении от должности, о прохождении в обязательном порядке медицинского освидетельствования. Более того, они обязаны на основании решения конституционной комиссии возбуждать уголовное дело в отношении лица, которое является или являлось министром, о преступлении, совершенном им при исполнении обязанностей министра, если при этом он тяжко пренебрег своими служебными обязанностями.

В Финляндии Парламентский омбудсмен вправе принимать решение о возбуждении обвинения против судьи в нарушении законности при осуществлении им служебных функций. Кроме того, он может проводить следствие или давать указания о возбуждении обвинения по другим делам, которые подответственны его контро-

¹ Конституции государств Европы ... Т. 3.

² Parliamentary Ombudsman Act (197/2002) (Finland) // <http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/ea/english/lawlinks/act-ombudsman.htm>

лю, давать указания о проведении полицейского расследования или предварительного следствия.

Широкое распространение институт омбудсмена получил после второй мировой войны, что обусловлено рядом причин: мировое сообщество осознало, что поддержание международного мира невозможно без соблюдения основных прав и свобод человека, повысилась гражданская активность¹, активизировалась деятельность государственных структур, органы исполнительной власти были наделены большими дискреционными полномочиями, что привело к необходимости введения дополнительных механизмов защиты против произвола чиновников². С этого времени вводятся в действие инновационные институты, одним из которых становится институт омбудсмена.

По мере распространения данного института наблюдаются следующие тенденции. Во-первых, из сферы компетенции омбудсменов исключаются органы судебной власти, что связано с развитием механизма обжалования и проверки судебных решений, а также невозможностью сочетания независимости судей с внешним контролем. Во-вторых, ограничиваются властные полномочия омбудсменов при выявлении нарушений. Так складывается классическая концепция омбудсмена. В качестве примера можно привести Парламентского уполномоченного по расследованиям в Новой Зеландии (1962 г.), Парламентского уполномоченного по делам администрации в Великобритании (1967 г.), Общественного защитника в Квебеке (1968 г.) и Омбудсмена в Манитобе (1969 г.) (Канада), Парламентского уполномоченного по делам администрации в Северной Ирландии (1969 г.), Федеральных посредников в Бельгии (1995 г.). Эта модель характеризуется следующими чертами.

«Классическая» концепция предполагает осуществление омбудсменами парламентского контроля за органами исполнительной власти. Основной целью таких омбудсменов является повышение эффективности государственного управления. В связи с этим в

¹ Rowat D. The Ombudsman Plan: The Worldwide Spread of an Idea. Rev. 2nd ed. Lanham: University Press of America, 1985. P. 131.

² Seneviratne M. Ombudsmen 2000 // www.bioa.org.uk/BIOA-New/Ombudsmen-2000-Mary%20Seneviratne.pdf

сферу их компетенции входят вопросы соблюдения требований формальной законности органами исполнительной власти.

Согласно Закону Великобритании «О Парламентском уполномоченном по делам администрации»¹, сфера компетенции данного должностного лица определяется тремя основными моментами: во-первых, устанавливается так называемый фильтр по признаку «ненадлежащего управления» (англ. maladministration) – Парламентский уполномоченный по делам администрации рассматривает жалобы частных лиц, полагающих, что «они подвергаются несправедливости в результате ненадлежащего управления»; во-вторых, жалоба направляется Парламентскому уполномоченному по делам администрации членом Палаты общин, которому данная жалоба была подана, с согласия лица, направившего жалобу; в-третьих, жалоба должна быть подана на один из органов, исчерпывающий перечень которых содержится в приложении 2 к закону.

В соответствии со статьей 1 Закона Королевства Бельгии от 22 марта 1995 г., учреждающего должность Федеральных посредников², данные должностные лица рассматривают претензии, относящиеся к работе федеральных административных органов и проводят по просьбе Палаты представителей соответствующие расследования.

В соответствии с «классической» концепцией омбудсмены не наделены властными полномочиями по воздействию на субъект, допустивший нарушение, – они не могут наказать должностное лицо или подвергнуть его преследованию в административном или уголовном порядке; не вправе изменить решение государственного органа или должностного лица. Если субъект, допустивший нарушение, добровольно его не устраняет, то омбудсмен обращается в компетентные органы.

Основной формой реагирования на выявленные нарушения прав человека Парламентского уполномоченного по делам админи-

¹ Parliamentary Commissioner Act 1967 // http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1967/pdf/ukpga_19670013_en.pdf.

² Уполномоченные по правам человека (омбудсмены) стран Европы и СНГ: Сб. нормат. правовых актов. М.: Юриспруденция, 2003.

страции в Великобритании в силу его специфики является представлением докладов о результатах расследования члену Палаты общин, по указанию которого оно проводилось, должностному лицу или органу, которого оно касалось, палатам парламента.

Согласно статье 14 названного Закона Королевства Бельгия «посредники стараются примирить точки зрения заявителя и затрагиваемых служб». В случае если выявленное нарушение устранить не удалось, то посредники «могут направить органу власти любую рекомендацию, которую они сочтут полезной». Если посредники устанавливают факт, который может составлять преступление или правонарушение, то они информируют об этом королевского прокурора; если устанавливают факт, который может составлять дисциплинарное правонарушение, то предупреждают компетентный орган власти.

В 1974 г. с учетом специфики института омбудсмана и новых тенденций его развития в различных странах Международная ассоциация юристов определила омбудсмана как службу, предусмотренную конституцией или актом законодательной власти и возглавляемую независимым публичным должностным лицом высокого ранга, которое ответственно перед законодательной властью, получает жалобы от пострадавших лиц или действует по собственному усмотрению и уполномочено проводить расследования, рекомендовать корректирующие действия и представлять доклады¹. Признаки, указанные в данном определении, соответствуют классической концепции.

По мере распространения института омбудсмана по миру и его адаптации к различным социально-экономическим условиям конкретных стран компетенция омбудсменов изменялась. В ряде стран, вставших на путь демократии, расследование случаев ненадлежащего государственного или муниципального управления дополнилось борьбой омбудсменов с коррупцией². В данных странах

¹ *Бойцова В.В., Бойцова Л.В.* Комментарий к Федеральному конституционному закону «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». М.: Инфра М-Норма, 1997. С. 4.

² *Seneviratne M.* Ombudsmen 2000 ...

омбудсмены, как правило, наделялись полномочиями по осуществлению следствия и обвинения (например, в Танзании)¹.

В конце прошлого века в странах с так называемым переходным от авторитарного к демократическому политическим режимом все большее внимание в сфере компетенции омбудсменов уделяется вопросам защиты прав и свобод человека. Основной целью омбудсменов становится обеспечение защиты и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Омбудсмены появились в Португалии (1975 г.), Испании (1978 г.), Уганде (1986 г.), Польше (1987 г.), Венгрии (1989 г.), Намибии (1990 г.), Аргентине (1993 г.), Литве (1994 г.), Грузии (1996 г.), Узбекистане (1997 г.) и др. По мнению ряда ученых, данные должностные лица по своей сути уже не являются омбудсменами, их нужно рассматривать как «уполномоченных по правам человека». А. Сейтянэнд схематично охарактеризовал отличие омбудсменов от «уполномоченных по правам человека» следующим образом: «Сущность роли омбудсменов заключается в защите граждан от ненадлежащих действий администрации, в то время как уполномоченные по правам человека выполняют лишь часть функций омбудсменов и ограничены констатацией нарушений прав человека»².

Обозначенную позицию вряд ли можно признать убедительной, поскольку омбудсмены и «уполномоченные по правам человека» имеют одинаковую юридическую природу – они осуществляют контроль за деятельностью чиновников на основе рассмотрения жалоб граждан. Смещение целей деятельности омбудсменов свидетельствует о возможности адаптации данного института к различным правовым системам. В связи с этим представляется, что «уполномоченные по правам человека» есть разновидность омбудсменов. Сегодня эффективность функционирования омбудсменов в рамках внутригосударственных (национальных) и международного механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина стала очевидной для мирового сообщества – этот институт получил признание на уровне более чем 100 государств с различными формами правления

¹ *Pope J.* Confronting corruption: the elements of a national integrity system ...

² *Satyanand A.* Growth of the ombudsman concept ...

и на уровне межгосударственных организаций (например Европейский омбудсмен в рамках Европейского Союза).

Основной целью так называемых «омбудсменов второго поколения» (second generation ombudsmen¹), или омбудсменов по защите прав человека (human rights ombudsmen²), является содействие защите прав и свобод человека и гражданина, а не повышение эффективности государственного управления; связь омбудсменов с парламентами ослабевает – они назначаются и освобождаются от должности парламентами, но, как правило, независимы от них и неподконтрольны им; сфера компетенции омбудсмена в рамках указанной модели распространяется на широкий круг субъектов – вплоть до частных организаций. Таким образом, сферу компетенции омбудсменов по защите прав человека составляют вопросы обеспечения защиты и соблюдения прав и свобод человека и гражданина широким кругом субъектов.

Согласно статье 208 Конституции Республики Польша 1997 г.³ Уполномоченный по гражданским правам стоит на страже прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции и других нормативных актах. В ходе рассмотрения жалоб он обязан проверить, не имело ли место нарушение законодательства и принципов социального общежития и справедливости в результате действий или бездействия органов, организаций и учреждений, призванных соблюдать и осуществлять эти права и свободы.

В соответствии с параграфом 1 Закона Чешской Республики от 8 декабря 1999 г. «О Государственном правозащитнике» «обязанности Государственного правозащитника заключаются в защите лиц в отношении действий государственных органов и иных учреждений, если такие действия не согласуются с нормами права, противоречат принципам правового демократического государства и надлежащего управления, а также в случае бездействия таких органов, и таким образом вышеуказанные обязанности заключаются в обеспечении за-

¹ *Bowring B. Sergei Kovalyov: the first Russian human rights ombudsman – and the last? // Constitutional reform and international law in Central and Eastern Europe. Edited by Rein Müllerson, Malgosia Fitzmaurice. Hague: Kluwer Law International, 1998. P. 239.*

² *Ibid. P. 239.*

³ Конституции государств Европы ... Т. 2.

щиты основных прав и свобод человека»¹. Компетенция Государственного правозащитника распространяется, в частности, на министерства и иные органы управления, подчиненные им административные учреждения, Совет по радиовещанию и телевидению, полицию Чешской Республики, Чешскую республиканскую Армию, Тюремную службу Чешской Республики, арестные дома и места лишения свободы, исправительные учреждения, учреждения принудительного лечения и государственные компании по страхованию здоровья.

Основной целью ведомства Защитника народа в Аргентинской Республике является защита прав и интересов личности и общества от решений, действий и бездействия национальной публичной администрации, под которой понимаются централизованные и децентрализованные ведомства, автономные организации, государственные предприятия, государственные компании, государственно-частные компании, компании с преобладающим государственным участием и другие государственные организации (статьи 1 и 16 Закона Аргентинской Республики № 24.284 «О Защитнике народа»²). Сфера компетенции Защитника народа распространяется также на негосударственных юридических лиц, которые осуществляют прерогативы публичной власти, и частных лиц, реализующих функции публичных органов.

В соответствии с «правозащитной» концепции омбудсмены не наделены властными полномочиями по воздействию на субъект, допустивший нарушение прав человека.

Основными формами реагирования указанных омбудсменов на выявленное нарушение прав человека служат: направление субъекту, допустившему нарушение прав человека, представления, содержащего рекомендации о мерах, необходимых для устранения выявленного нарушения³; обращение в компетентный орган с це-

¹ Уполномоченные по правам человека (омбудсманы) стран Европы и СНГ ...

² Аргентинская Республика: конституционный строй, права человека, выборы / Пер. с исп.; Ред.-сост. Н.М. Миронов. М.: Ленанд, 2007.

³ См., например: параграф 19 Закона Словацкой Республики от 4 декабря 2001 года «О Государственном правозащитнике» (Уполномоченные по правам 256

люю устранения выявленного нарушения и привлечения субъекта, его допустившего, к ответственности¹; направление докладов парламенту и иным государственным органам².

В связи с тем, что компетенция омбудсменов стала носить в большей степени не «контрольный», а «правообеспечительный» характер, стало возможным использование «омбудсменовской» концепции не только в публичной, но и в частной сфере (private sector ombudsmen, или organizational ombudsmen³ – омбудсмены, действующие на уровне частных организаций, или corporate ombudsman⁴ – корпоративные омбудсмены). Например, в Великобритании были учреждены омбудсменовское бюро в сфере страхования (1896 г.)⁵, омбудсмен в сфере недвижимости (1990 г.), омбудсмен в сфере оказания похоронных услуг (1994 г.), в США функционируют «студенческие» и «газетные» омбудсмены⁶. Возникла целая «индустрия омбудсменов». В частной сфере термином «омбудсмен» обозначается служба, которая рассматривает жалобы от лиц, полагающих, что их права были нарушены.

Таким образом, по мере распространения института омбудсмана были выработаны три основные концепции омбудсмана. Если изначально омбудсмен в публичной сфере оценивался как орган, способствующий парламенту в осуществлении контроля за органами

человека (омбудсманы) стран Европы и СНГ: Сб. нормат. правовых актов); статья 14 Закона Республики Польша от 15 июля 1987 г. «Об Уполномоченном по гражданским правам» // <http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=1372&s=3>

¹ См., например: параграф 22 Закона Словацкой Республики «О Государственном правозащитнике», статью 14 Закона Республики Польша «Об Уполномоченном по гражданским правам», статью 28 Закона Аргентинской Республики «О Защитнике народа».

² См., например: статью 11 Закона Кыргызской Республики от 31 июля 2002 года № 136 «Об Омбудсмене (акыйкатчы) Кыргызской Республики» (Уполномоченные по правам человека (омбудсманы) стран Европы и СНГ: Сб. нормат. правовых актов); параграф 22 Закона Словацкой Республики «О Государственном правозащитнике».

³ *Belson S.* Where is Darwin now we need him? The ombudsman in evolution // <http://www.abenet.org/adminlaw/ombuds/belson.html>

⁴ *Носырева Е.И.* Особенности института омбудсмана в США // Право и политика. 2001. № 1. С. 97.

⁵ *Seneviratne M.* Ombudsmen 2000 ...

⁶ *Соколов А.Н., Трумпель К.Б.* Парламентский омбудсмен ... С. 64.

исполнительной и судебной власти в целях повышения эффективности государственного управления, то в последующем данный институт рассматривается как независимый контрольный орган, основной целью которого является содействие защите прав человека посредством контроля широкого круга субъектов – как государственных органов, так и частных организаций. Английские исследователи Р. Грегори и Н. Швэрцлер указывают на «эволюцию общего инспекционного органа в институт, который от абстрактного контроля переходит к конкретному расследованию индивидуальных проблем граждан»¹. Распространение концепции омбудсмана на частную сферу приводит к ее трансформации – омбудсмен понимается как служба, рассматривающая жалобы граждан на нарушение их прав.

Для российской правовой системы институт омбудсмана новый. В советское время институт омбудсмана исследовался узким кругом специалистов и рассматривался в качестве чуждого классовой сущности социалистического строя². Учеными был сделан вывод о том, что на Западе омбудсмены осуществляют функцию, сходную с функцией советской прокуратуры по надзору за законностью³, в связи с чем вопрос о необходимости учреждения в СССР данного института не поднимался. Первые серьезные исследования института омбудсмана начинаются в нашей стране в конце 80-х гг. прошлого века. В них представлена достаточно объемная информация об институте омбудсмана и дан его первичный анализ⁴. В то же время в юридической литературе стали высказываться первые предложения об учреждении должности уполномоченного по правам человека как российского аналога института омбудсма-

¹ Грегори Р., Швэрцлер Н. Эволюция учреждений омбудсмана в Великобритании и в скандинавских странах // www.ombu.ru/topic.php?doc=20

² Мурашин Г.А., Шемичученко Ю.С. Институт омбудсмана в современном буржуазном государстве // Сов. государство и право, 1971. № 1. С. 143.

³ См. подробно: Баранов А.М. К вопросу об институте Уполномоченного по правам человека в уголовном процессе // <http://lawtech.glava.ru/pub/ombud.htm>

⁴ См., например: Автономов А.С. Правовое положение омбудсмана в буржуазном государстве // Сов. государство и право, 1988. № 3. С. 116-122; Хаманева Н.Ю. Роль омбудсмана в охране прав граждан в сфере государственного управления // Сов. государство и право, 1990. № 9. С. 138-147.

на, что было обусловлено сменой в России государственного политического курса. После денонсации Договора об образовании СССР и принятия Декларации о суверенитете России усилилось внимание органов государственной власти к проблемам защиты прав и свобод человека и гражданина. Именно тогда вопрос о создании института омбудсмена приобрел актуальность. Проект новой Конституции РСФСР, подготовленный рабочей группой Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России, содержал отдельную статью, посвященную Уполномоченному по правам человека.

Впервые правовая основа деятельности Уполномоченного по правам человека в современной России была заложена в статье 40 Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г.¹, которая закрепила новое для российской правовой системы должностное лицо и основные принципы его функционирования. Согласно Декларации Парламентский уполномоченный по правам человека назначался на 5 лет Верховным Советом РСФСР, был подотчетен ему и был призван осуществлять парламентский контроль за соблюдением прав человека. Полномочия нового должностного лица и порядок их осуществления должны были регулироваться отдельным законом. Проект данного закона был разработан В.В. Бойцовой и в 1992 г. представлен в Комитет по правам человека Верховного Совета². Согласно законопроекту уполномоченный по правам человека назначался и смещался парламентом, но при выполнении своих обязанностей был независим от каких-либо органов государственной власти, получал жалобы через депутатов, а для оказания ему содействия и контроля за его деятельностью должен быть образован специальный комитет в парламенте³. Однако идея парламентского омбудсмена не получила развития в связи с политической обстановкой в стране.

¹ Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991. № 52. Ст. 1865.

² Институт Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации: Учеб. пособие / Под ред. А.Ю. Сунгурова. СПб.: Норма, 2003. С. 38.

³ *Бойцова В.В.* Нужен ли Уполномоченный парламента по правам человека в России? // Государство и право, 1993. № 10. С. 118-120.

Дальнейшее закрепление институт уполномоченного по правам человека получил в Конституции Российской Федерации, в пункте «д» части 1 статьи 103 которой указывается, что к ведению Государственной Думы относится назначение и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека (определение «парламентский» исчезло), действующего в соответствии с федеральным конституционным законом. На основе положений о прямом действии норм Конституции Российской Федерации до принятия обозначенного закона на эту должность Государственной Думой был назначен С.А. Ковалев. В то время он возглавлял Комиссию по правам человека при Президенте Российской Федерации. Как считается, создание этой комиссии предшествовало учреждению института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации¹. Комиссия являлась совещательным и консультативным органом, содействующим реализации полномочий Президента Российской Федерации как гаранта прав и свобод человека и гражданина². Одной из форм деятельности Комиссии было рассмотрение обращений граждан о существенных нарушениях их основных прав и свобод.

Вместе с тем назначение С.А. Ковалева на должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации еще не свидетельствовало о становлении устойчивого института уполномоченного по правам человека с четко оформившейся компетенцией. Не случайно некоторые исследователи рассматривают С.А. Ковалева как «протоуполномоченного»³. В период своей деятельности он одновременно являлся председателем Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации и продолжал активную политическую деятельность в качестве члена партии «Демократический вы-

¹ Институт Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации: Учеб. пособие ... С. 39.

² Пункт 4 Положения о Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 1 ноября 1993 г. № 1798 «Об обеспечении деятельности Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации» (Собрание актов Президента РФ и Правительства РФ, 1993. № 45. Ст. 4325).

³ Институт Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации: Учеб. пособие ... С. 40.

бор России». Как подчеркивают многие авторы, в то время принцип независимости Уполномоченного по правам человека от каких-либо органов и лиц не соблюдался¹. Более того, правомерность совмещения должностей Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и председателя Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации была подтверждена Указом Президента от 4 августа 1994 г. № 1587 «О мерах по обеспечению конституционных функций Уполномоченного по правам человека»². В соответствии с Указом до принятия соответствующего закона реализация конституционных функций Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации обеспечивается путем осуществления им полномочий, предоставленных председателю Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. Однако независимость омбудсменов от каких-либо органов и должностных лиц является одним из основных принципов их деятельности³.

Вступление России в Совет Европы (28 февраля 1996 г.) способствовало становлению института уполномоченного по правам человека. Комитетом Министров Совета Европы рекомендовано государствам-участникам Совета Европы рассмотреть вопрос о возможности создания института омбудсмена как важнейшего органа, осуществляющего защиту прав человека⁴. Законы об уполномоченных по правам человека как федерального, так и регионального уровня были приняты после вступления России в Совет Европы.

С 1997 г. и по настоящее время компетенция, организационные формы и условия деятельности федерального уполномоченно-

¹ *Bowring B. Sergei Kovalyov: the first Russian human rights ombudsman – and the last?* P. 236; *Башимов М.С.* Институт омбудсмена (уполномоченного по правам человека). Астана, 2003. С. 159.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1994. № 15. Ст. 1713.

³ Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека. Утв. резолюцией Комиссии ООН по правам человека № 1992/54 и поддержаны резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 48/134 от 20 декабря 1993 г. (Парижские принципы) // www.un.org/russian/documen/convents/paris.htm

⁴ Committee of Ministers Recommendation No. R (985) 13 to Member States on the Institution of the Ombudsman, adopted on 23 September 1985 (388th Meeting of the Ministers' Deputies) // <https://wcm.coe.int/ViewDoc.jsp?id=697821&Lang=en>

го по правам человека определяются Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (с послед. изм.) (далее – Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ)¹.

Учреждению института уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации предшествовало функционирование в них комиссий по правам человека при высших должностных лицах субъектов Российской Федерации². Создание комиссий было рекомендовано Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 864 «О некоторых мерах государственной поддержки правозащитного движения в Российской Федерации»³. Но в ряде субъектов эти комиссии тормозили становление института уполномоченного по правам человека, поскольку считалось, что данные органы выполняют сходные функции. В других субъектах Российской Федерации комиссии, напротив, инициировали создание указанного института. При этом разработка региональной нормативной базы об уполномоченных по правам человека началась до вступления в силу Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ. Так, в 1996 г. были приняты соответствующие законы в Республике Башкортостан и Свердловской области⁴.

На сегодняшний день правовую основу деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации закладывает статья 5 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ, в силу которой в соответствии с

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 9. Ст. 1011.

² Институт Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации: Учеб. пособие ... С. 42-43.

³ Российская газета, 1996. 19 июня.

⁴ О правомерности осуществления субъектами Российской Федерации самостоятельного правового регулирования по предметам совместного ведения до принятия соответствующего федерального закона см.: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 декабря 1996 г. № 21-П по делу о проверке конституционности Закона Московской области от 28 апреля 1995 г. «О порядке отзыва депутата Московской областной думы» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации (Вестник Конституционного Суда РФ, 1996. № 5.).

конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации может учреждаться должность Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации. В развитие этой нормы законы об уполномоченных по правам человека приняты более чем в 40 субъектах.

Причиной создания в России института уполномоченного по правам человека прежде всего стала потребность провозглашения статуса человека, его прав и свобод в качестве высшей ценности. Российское государство согласно статье 2 Конституции Российской Федерации взяло на себя обязанность защищать права своих граждан, которая является не только конституционно-правовой, но и международно-правовой обязанностью Российского государства. В целях ее соблюдения был создан механизм защиты прав и свобод человека и гражданина, одним из элементов которого и стал институт уполномоченного по правам человека.

Историко-политические условия, в которых происходило становление института уполномоченного по правам человека, обусловили выбор правозащитной концепции омбудсмена в России.

В качестве целей в законах об уполномоченных по правам человека указаны следующие: обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан¹ или защита прав и свобод человека и гражданина², а также соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина³.

¹ См.: п. 1 ст. 1 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ; п. 1 ст. 1 Закона Алтайского края от 11 ноября 2002 г. № 70-ЗС «Об Уполномоченном по правам человека в Алтайском крае» (с послед. изм.); ст. 1 Закона Республики Калмыкия от 13 ноября 2000 г. № 85-П-З «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Калмыкия» (с послед. изм.).

² См.: п. 1 ст. 1 Закона Калужской области от 10 июня 2002 г. № 124-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Калужской области» (с послед. изм.) // Весть, 2002. 19 июня; ст. 1 Закона Липецкой области от 27 августа 2001 г. № 155-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Липецкой области» (с послед. изм.).

³ См.: п. 1 ст. 1 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ; ст. 1 Закона Республики Алтай от 24 ноября 2006 г. № 94-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Алтай» // Звезда Алтая, 2006. 8 дек.

Сфера компетенции уполномоченных по правам человека распространяется на государственные органы, органы местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, организации. Таким образом, в сферу компетенции уполномоченных по правам человека входят вопросы обеспечения защиты и соблюдения прав и свобод человека широким кругом субъектов.

Уполномоченные по правам человека не наделены властными полномочиями по воздействию на субъект, допустивший нарушение прав и свобод человека и гражданина. Их основные полномочия таковы: направление субъекту, в действиях которого выявлено нарушение прав человека, представлений; обращение в суд в защиту лиц, чьи права нарушены, а также в компетентные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, в действиях которого усматривается нарушение прав; обращение к субъектам законодательной инициативы с предложениями об изменении или дополнении действующего законодательства в сфере прав и свобод человека; направление и представление докладов соответствующим органам; направление соответствующим субъектам замечаний и предложений общего характера, относящихся к обеспечению прав и свобод граждан, совершенствованию административных процедур.

Вопрос о месте уполномоченных по правам человека в системе государственных органов неоднозначен. В литературе предлагается три основных подхода к решению обозначенной проблемы: отнесение уполномоченных по правам человека к законодательной ветви власти; рассмотрение их как исполнительных органов государственной власти; обоснование невозможности их отнесения к какой-либо ветви власти в рамках классической триады властей.

Представители первого подхода рассматривают уполномоченного по правам человека через призму парламентского контроля. Этот институт исследуется в качестве «функционально-правовой формы осуществления контрольных полномочий парла-

мента)¹, и «организационно-правовой формы» парламентского контроля². Он анализируется и как элемент механизма контроля законодательных (представительных) органов государственной власти за деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина³. «Принадлежность института уполномоченного по правам человека к законодательной государственной власти» отмечает Н.В. Корнеева⁴.

Анализ законодательства, закрепляющего статус уполномоченных по правам человека, показывает их тесную взаимосвязь с законодательными (представительными) органами. Во-первых, уполномоченные по правам человека назначаются на должность и освобождаются от должности законодательными (представительными) органами. Во-вторых, они, как правило, не рассматривают жалобы на решения законодательных (представительных) органов. В-третьих, формы взаимодействия уполномоченных по правам человека с законодательными (представительными) органами более разнообразны, чем с другими государственными органами.

Однако вывод об отнесении уполномоченных по правам человека к системе законодательной власти и к числу «парламентских» омбудсменов⁵ далеко не бесспорен. Институт омбудсмена с

¹ Парламентское право Российской Федерации: Учеб.-метод. комплекс. Екатеринбург, 2006 // www.usla.ru/metodika/umk1/mnogo/ParlamPravo.html

² Бендюрина С.В. Федеральное парламентское право в Российской Федерации (конституционно-правовое исследование): Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 53, 169.

³ Алексеев А.М. Проблемы развития и становления института уполномоченного по правам человека в регионах России // Конституция РФ, конституционная реформа и реформа отраслевого законодательства: Материалы Межрегион. науч.-практ. конф., посвященной десятилетию Конституции Российской Федерации (г. Брянск, 8-9 октября 2003 г.). Брянск: Изд-во БГУ, 2003. С. 186; Маркелова Е.Г. Институт уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 4.

⁴ Корнеева Н.В. Конституционно-правовые основы деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 9.

⁵ Классификация омбудсменов на «парламентских» и «исполнительных» получила широкое распространение (см., например: Глушкова С.И.

момента возникновения исторически связан с концепцией парламентаризма¹. Традиционно считается, что «институт омбудсмена содействует реализации контрольных функций парламента в отношении публичной администрации с позиций соблюдения и защиты прав человека, являясь независимым лицом законодательной власти, которое осуществляет контроль за публичной администрацией»². Но в России при конструировании правовой модели уполномоченных по правам человека идея «парламентского» омбудсмена не получила развития.

Во-первых, предметом контроля, осуществляемого законодательными (представительными) органами государственной власти, является соблюдение и исполнение соответствующих законов, тогда как предмет контроля уполномоченных по правам человека – только соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

Во-вторых, назначение уполномоченных по правам человека на должность и освобождение их от должности законодательными (представительными) органами безотносительно к иным их статусным характеристикам не свидетельствует об их «принадлежности» к законодательной ветви власти. Теория разделения властей предполагает наличие единого источника власти, каковым является народ, что обеспечивает единство государственной власти. В условиях демократически организованной системы разделения властей именно народу принадлежит право контролировать деятельность

Права человека в России: теория, история, практика: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 2002. С. 334). Критерием указанной классификации выступает порядок назначения омбудсменов на должность или совокупность критериев, позволяющих рассматривать соответствующего омбудсмена в рамках законодательной или исполнительной ветви власти.

¹ *Башимов М.С.* Становление и перспективы института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // Журнал российского права, 1998. № 7. С. 54.

² *Соколов А.Н., Трумпель К.Б.* Парламентский омбудсмен: генезис, функционирование, тенденции развития. Калининград: Балтийский институт экономики и финансов, 2000. С. 23.

всех структур, которым он передал властные полномочия¹. В этом смысле назначение уполномоченных по правам человека на должность законодательными (представительными) органами свидетельствует о реализации принципов представительной демократии, но не о включении данных органов в систему законодательной власти. Более того, в процедуре назначения уполномоченных по правам человека на должность участвуют органы иных ветвей власти. Так, в ряде субъектов Российской Федерации правом выдвижения кандидатур на должность уполномоченных по правам человека наделяются исполнительные органы государственной власти субъектов².

Уполномоченные по правам человека независимы от законодательных (представительных) органов и неподотчетны им, что подкрепляется рядом организационно-правовых гарантий их деятельности. Сроки полномочий уполномоченных по правам человека и законодательных (представительных) органов государственной власти не совпадают. Истечение срока полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти не влечет прекращения полномочий уполномоченных по правам человека. Уполномоченные по правам человека направляют свои доклады в законодательные (представительные) органы государственной власти, но доклады не подлежат утверждению указанными органами. Наконец, они не обязаны исполнять поручения законодательных (представительных) органов³. Более

¹ Парламентское право России: Учеб. пособие / Под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабриевой. М.: Юристъ, 1999. С. 38.

² См.: статью 9 Закона Республики Калмыкия от 13 ноября 2000 г. № 85-П-3 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Калмыкия» (с послед. изм.); статью 5 Закона Республики Татарстан от 3 марта 2000 г. № 95-РТ «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан» (с послед. изм.); статью 6 Областного закона от 14 июня 1996 г. № 22-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека Свердловской области» (с послед. изм.).

³ За исключением некоторых субъектов Российской Федерации, где уполномоченные проводят проверки сведений о нарушениях прав и свобод человека и гражданина и готовят заключения по фактам таких нарушений по поручению законодательных (представительных) органов этих субъектов (например в Калининградской области и Санкт-Петербурге).

того, уполномоченные по правам человека взаимодействуют и с иными государственными органами.

Несмотря на то, что уполномоченные по правам человека наделяются полномочиями законодательными (представительными) органами государственной власти, взаимодействуют с ними, они обладают организационной и функциональной независимостью и не подотчетны назначившим их органам. Другими словами они представляют собой органы, образуемые парламентом, но не органы парламентского контроля.

Сторонники второго подхода относят уполномоченных по правам человека к исполнительным органам государственной власти¹. Однако исполнительные органы государственной власти осуществляют деятельность исполнительно-распорядительного характера, содержание которой составляет непосредственная организация выполнения внутренних и внешних функций государства², что не характерно для уполномоченных по правам человека.

В рамках третьего подхода следует выделить несколько точек зрения: отнесение уполномоченных по правам человека к отдельной ветви власти, не входящей в классическую триаду властей; рассмотрение их как составной части «системы сдержек и противовесов»; позиционирование их как особых органов, которые не могут быть отнесены ни к одной из существующих ветвей власти.

Один из сторонников первой точки зрения А.А. Ливеровский выделяет наряду с «парламентскими» и «исполнительными» омбудсменами «независимых» омбудсменов, к числу которых, по его мнению, относятся уполномоченные по правам человека. «Независимый» омбудсмен представляет собой особую и самостоятельную ветвь власти, уровень которой соответствует уровню законода-

¹ *Строкатов А.В.* Позитивистский взгляд на процесс формирования статуса Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации // Комиссии и уполномоченные по правам человека: Опыт российских регионов / Под ред. А.Ю. Сунгурова. СПб.: Норма, 2002. С. 132.

² Правительство Российской Федерации / Под ред. Т.Я. Хабриевой. М.: Норма, 2005. С. 108-109; *Бахрах Д.Н.* Административное право. Учебник для вузов. М.: БЕК, 1996. С. 73.

тельной, исполнительной и судебной ветвей власти¹. Однако основным критерием выделения отдельной ветви государственной власти является функциональная обособленность определенного вида государственных органов (каждый вид органов имеет свой основной профиль деятельности)². Применительно же к уполномоченным по правам человека выделить такую «магистральную» функцию, которая характерна исключительно для данных государственных органов, невозможно.

Позиции А.А. Ливеровского близки и те авторы, по мнению которых уполномоченные по правам человека являются органами контрольной власти, что обосновывается необходимостью выделения, наряду с законодательной, исполнительной и судебной контрольных ветвей государственной власти³.

В отечественной литературе необходимость выделения контрольной ветви власти наиболее последовательно аргументирована в работах В.Е. Чиркина, который выявил ряд особенностей органов контрольной власти⁴. Во-первых, для них контрольная деятельность является основной, чем обуславливается их функциональное единство. Во-вторых, органы контрольной власти рассредоточены, каждый из них осуществляет «частичную функцию общегосудар-

¹ *Ливеровский А.А.* О контрольных функциях представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации // Парламентские процедуры: процедуры России и зарубежный опыт: Материалы науч. конф. (г. Москва, 21-23 марта 2002 г.). М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 394-395.

² *Чиркин В.Е.* Государствоведение: Учебник. М.: Юрист, 1999. С. 360; *Автономов А.С.* Избирательная власть. М.: Права человека, 2002. С. 115; *Чиркин В.Е.* Контрольная власть // Государство и право, 1994. № 4. С. 11.

³ *Денисов С.А.* Формирование контрольной ветви государственной власти и ограничение коррупции // Государство и право, 2002. № 3. С. 12; *Каложный Н.Н.* Конституционно-правовые основы осуществления контрольных функций органами исполнительной власти Российской Федерации // Учен. зап. ДЮИ. Ростов-н/Д.: Изд-во ДЮИ, 2005. Т. 28. С. 97; *Борсученко С.А.* Деятельность уполномоченного по правам человека (омбудсмана) в правовом аспекте функционирования публичной власти и управления в России // Государство, право и управление: Материалы IV Всерос. науч.-практ. конф. (23 апреля 2004 г.). М.: Изд-во ГУУ, 2004. Вып. 1. С. 96.

⁴ *Чиркин В.Е.* Государствоведение: Учебник ... С. 359-363.

ственного контроля», что предопределяет кумулятивный характер контрольной власти. В-третьих, основная задача этих органов – установление фактов нарушения законов, а в ряде случаев – нецелесообразности и неэтичного поведения государственных служащих. В-четвертых, названные органы не создают нормы поведения для подконтрольных субъектов, не рассматривают конкретные уголовные и гражданские дела, не занимаются непосредственно исполнительной деятельностью и в ряде случаев не вправе применять какие-либо санкции.

Однако, как справедливо отмечает А.С. Автономов, «вычлениению контрольной власти мешает то, что практически все государственные органы обладают теми или иными контрольными полномочиями»¹. Более того, в соответствии с принципом разделения властей равновесие ветвей власти достигается посредством механизмов взаимного контроля, функционирования «системы сдержек и противовесов». В таком контексте контроль выполняет обеспечительные функции, входя как важный элемент в каждый из видов власти. Отношения по контролю в данном случае являются вторичными относительно тех первичных отношений, по поводу которых он осуществляется². При выделении контрольной ветви власти как совокупности органов государственной власти функциональное единство их обеспечивается тем, что для них контрольная деятельность является основной, «система сдержек и противовесов» сводится на нет.

Приверженцы второй точки зрения рассматривают уполномоченных по правам человека как органы, относящиеся к «системе сдержек и противовесов»³. «Система сдержек и противовесов» предполагает взаимоконтроль органов различных ветвей власти. В

¹ Автономов А.С. Правовая онтология политики (к построению системы понятий) ... С. 270.

² Соломатина Е.А. Сущность, основные черты и формы осуществления контрольной функции законодательной власти в механизме разделения властей ... С. 24.

³ Махов В.Х. Контрольные функции органов государственной власти Российской Федерации в условиях проведения административной реформы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 17.

связи с этим позиционирование уполномоченных по правам человека как составного элемента такой системы без определения их принадлежности к одной из ветвей власти ошибочно. Вместе с тем уполномоченные по правам человека могут привести в действие «систему сдержек и противовесов», в частности посредством инициирования парламентских слушаний или обращения в конституционный (уставный) суд в соответствующей форме.

Ряд авторов подчеркивают особый статус уполномоченных по правам человека в механизме разделения властей. Так, Н.А. Цымбалова относит их к «независимым» омбудсменам, под которыми она понимает омбудсменов, которые не принадлежат к законодательной, исполнительной и судебной ветви власти¹. В рамках подхода, предложенного М.В. Баглаем, уполномоченных по правам человека следует считать органами государственной власти с особым статусом, то есть органами государственной власти, «которые не входят ни в одну из трех властей – законодательную, исполнительную или судебную»². Он классифицирует органы государственной власти на органы законодательной, исполнительной, судебной власти и при этом выделяет «органы государственной власти с особым статусом», к которым относит прокуратуру Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Центральную избирательную комиссию, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации³.

Думается, что попытки обосновать особый статус уполномоченных по правам человека в механизме разделения властей не случайны. Уполномоченные по правам человека не могут быть отнесены к органам какой-либо ветви власти в силу функциональной и организационной независимости от них. Рассмотрение же их в рамках «системы сдержек и противовесов» или новых ветвей власти не находит должного обоснования.

¹ Цымбалова Н.А. Институт омбудсмана в современном мире: история развития и общая концепция // Комиссии и уполномоченные по правам человека: Опыт российских регионов / Под ред. А.Ю. Сунгурова. СПб.: Норма, 2002. С. 96.

² Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: Норма, 1998. С. 340.

³ Там же. С. 335-341.

Необходимо признать, что выбор в нашей стране «правозащитной» концепции омбудсмена на этапе становления института уполномоченного по правам человека, был вполне обоснован, поскольку данная концепция в большей мере, чем другие, отвечает потребности обеспечения прав и свобод человека и гражданина, способствует концентрации деятельности омбудсменов на рассмотрении отдельных жалоб граждан, устранению выявленных нарушений прав человека и гражданина в каждом конкретном случае. «Историческая» же и «классическая» концепции направлены в основном на повышение качества государственного управления. Вместе с тем «правозащитная» модель не лишена недостатков. Омбудсмены, наделенные компетенцией данной модели, уделяют незначительное внимание вопросам совершенствования административных процедур и законодательства в области защиты прав и свобод человека и гражданина; при этом появляется опасность их превращения в «бюро жалоб», юридические консультации, «диспетчеров» по распределению жалоб между различными государственными органами, осуществляющими защиту прав граждан. Деятельность уполномоченных по правам человека в Российской Федерации свидетельствует о том, что «правозащитная» концепция далеко не оптимальна. Сегодня происходит переосмысление института уполномоченных по правам человека, его места и роли в государственном механизме и механизме защиты прав и свобод человека и гражданина. Не случайно многие исследователи предлагают ограничить сферу компетенции посредством уточнения перечня подконтрольных уполномоченным по правам человека субъектов¹. Потребуется значительные усилия по исследованию института уполномоченного по правам человека и совершенствованию соответствующего законодательства, прежде чем будет выработана

¹ См., например: *Семенова А.Ю.* Уполномоченные по правам человека в механизме обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. С. 159; *Гайсина А.В.* Права человека в современной России: проблема социальной самозащиты: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 106; *Хаманева Н.Ю.* Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. М.: ИГиП РАН, 1997. С. 199.

такая модель данного института, эффективность которого будет зависеть не столько от авторитета лица, занимающего данную должность и его усилий в правозащитной практике, сколько от значимости данного института как такового в российском механизме защиты прав и свобод человека и гражданина.

§ 5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ И НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВАХ: МЕТАМОРФОЗЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ДОКТРИН И ПРАКТИК

В контексте политического анализа феномен представительного правления был описан уже во второй половине XIX в.¹ Развитие парламентаризма и смежных конституционно-правовых институтов в Европе начала XX столетия привело к утверждению и в более консервативных правовых доктринах двух принципиально новых позиций. Во-первых, феномен представительного правления уже не отождествлялся с демократией (народовластием). Во-вторых, классический парламент, основанный на принципе свободного мандата, перестал восприниматься как наиболее эффективный правовой инструмент представительства публичных интересов. Его альтернативой стала «партийная демократия», демократия массовых, но теперь уже и парламентских партий. Дополнить классическую триаду (монархия, аристократия, демократия) четвертой правовой формой – представительным режимом – решился французский юрист Раймон Карре де Мальберг (R. Carre de Malberg)². Примерно в то же время в Австрии основоположник нормативизма Ханс Кельзен (H. Kelsen) успешно привносил принципы неокорпоративизма в парламентское право, – доказывая, что выход парламентария из партии должен иметь своим правовым последствием утрату мандата, полученного в качестве ее выдвиженца³. Потребовалось еще столетие политических битв и неспешного течения европейской правовой мысли для того, чтобы понятие «представи-

¹ Среди многочисленных исследований на эту тему особо следует выделить «Представительное правление» Джона Стюарта Милля (1861 г.; русское издание в 1897 г.).

² *Carre de Malberg, R. Contribution a la theorie generale de l'Etat, specialement d'apres les donnees fournies par le droit constitutionnel francais: 2 t. Paris: Sirey, 1920–1922 (reimpression: CNRS, 1962).*

³ *Kelsen H. Vom Wesen und Wert Demokratie [1929]. Aalen: Scientia Verlag, 1981. P. 42–43.*

тельная форма правления» стало хрестоматийным в университетских курсах Европы¹, а принципы представительного правления были обобщены в идее трех исторических форм публичного представительства – парламентаризма, партийной демократии, аудиторной демократии².

Общим качеством процесса формирования парламентов в государствах – республиках бывшего СССР является «разрыв постепенности» в политической практике парламентаризма и как следствие – в развитии парламентского права. Имеющийся у некоторых государств опыт парламентаризма либо оказался критически коротким и исторически экстремальным (государства Балтии, Грузия, Украина), либо, если говорить о России, еще и не был опытом подлинного народовластия³. В других государствах и этих предпосылок становления парламентаризма (как формы представительного правления) не наблюдалось. Формирование законодательных ассамблей представлялось политически ситуативным, нередко парламентам отводилась роль института-декорации. Правосознание перестало быть рефлексивным, доктрины публичного представительства и парламентаризма, возникшие в российском дореволюционном праве, не оказали существенного влияния на содержание новейших конституций учреждаемых государств. Парламентское право лишь внешне заимствовало некоторые черты российского и европейского права (Кыргызстан, Казахстан) или даже сохраняло принципы советской модели представительства (Беларусь, Узбекистан). Исключительным, но знаковым явлением в этом ряду стал туркменский опыт огосударствления традиционных правовых институтов, органов общинного самоуправления *маслахаты*⁴.

¹ Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты / Пер. с франц. В.В. Маклакова. М.: Юрист, 2002. С. 57.

² Манен Б. Принципы представительного правления / Пер. с англ. Е.Н. Рощина; науч. ред. О.В. Хархордин. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008.

³ Пляйс Я.А. Представительная власть в России в контексте общемировой практики парламентаризма // Парламентаризм в России и Германии: История и современность / Отв. ред. Я.А. Пляйс, О.В. Гаман-Голутвина. М.: РОСПЭН, 2006.

⁴ Шир Я. Феномен Халк Маслахаты в контексте конституционно-правового развития постсоветского Туркменистана // Политическая наука

Но уже спустя десятилетие в государствах этого региона начались процессы модернизации парламентов и парламентского права. А именно: переход к бикамерализму (Таджикистан, Узбекистан); изменение порядка формирования парламентов – переход к пропорциональным избирательным системам (Украина, Казахстан, Россия, Кыргызстан); расширение полномочий парламентов во взаимоотношениях с правительствами, главами государств (Молдова, Украина, Армения, Грузия). Одновременно можно было наблюдать процессы отказа от модели двухпалатного парламента (Кыргызстан), ограничения и замещения собственно парламентских полномочий президентскими (Казахстан, Беларусь, Россия, Кыргызстан, Туркменистан). Характерно, что в Казахстане и Кыргызстане численность парламентов сначала уменьшалась, а затем – увеличивалась; в Украине институт отзыва депутатов был признан неконституционным, но и доктрина свободного мандата парламентария была пересмотрена в пользу «партийного». Иными словами, выбор модели представительства публичных интересов в государствах – республиках бывшего СССР «вдруг» стал одним из стратегических приоритетов национальной правовой политики.

Решение этой задачи, на наш взгляд, требует реконструкции тех подходов к проблемам публичного представительства, которые сложились в российской правовой мысли в конце XIX – начале XX столетия. Насколько доктринальные «предчувствия» парламентаризма отражали европейские тенденции развития представительных институтов? Насколько они были обусловлены своеобразным политическим опытом российского октроированного парламентаризма? В какой мере эти выводы и прогнозы, а в равной мере и ошибки, воспроизводятся современным правосознанием и конституционной догматикой новых независимых государств? Следует ли говорить об эволюции правовых концептов или изменения имеют характер метаморфоз, не имеющих предпосылок в предшествующих теориях? Можно ли констатировать факт возникновения «не-европейской» модели публичного представительства? Оправданно

и государственная власть в Российской Федерации и Новых Независимых Государствах. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. С. 204.

ли восстановление прерванных традиций правосознания, хотя бы в определении целей и принципов функционирования институтов представительного правления?

Следует подчеркнуть, что доктрины публичного представительства в России исследуемого периода в целом развивались в русле европейской правовой мысли. Однако те концепты, которые в Европе формировались последовательно и постепенно сменяли друг друга, в российских условиях сложились почти одновременно. Поэтому целесообразно очертить круг исследуемых теорий лишь теми, авторы которых последовательно разграничивали понятие представительной и законодательной власти¹ и рассматривали в качестве основы современного конституционализма не принцип разделения властей, а принцип представительного правления². Внутри этого круга теорий, на наш взгляд, сформировались два подхода к феномену публичного представительства. Первый подход, согласно которому *парламентаризм* – это форма представительного правления, *завершающая эволюцию представительных учреждений*, наиболее последовательно представлен Б.Н. Чичериным. Противоположный взгляд на эволюцию представительной формы правления – обоснование неизбежности *постпарламентских* и *внепарламентских форм представительства публичных интересов* – был высказан П. Новгородцевым. Другие теории либо тяготели к одному из указанных теоретических «полюсов», либо

¹ Немало дореволюционных авторов их отождествляли, сохраняя таким образом раннелиберальные представления о парламенте, характерные для Европы конца XVIII – первой половины XIX в. Так, М.И. Свешников полагал, что народное представительство обозначает совокупность тех учреждений, которые принимают участие в законодательстве государств, а также в учреждении тех актов, которые должны быть совершены законодательным порядком. См.: *Свешников М.И.* Очерк общей теории государственного права. СПб., 1896. С. 229. Не разграничивал эти понятия и Ф.Ф. Кокошкин. См. напр.: *Кокошкин Ф.Ф.* Лекции по общему государственному праву. М.: Изд-во «Зерцало»; Система «Гарант», 2004.

² *Кареев Н.И.* Исторический очерк представительных учреждений в Западной Европе // Конституционное государство. Сб. статей. Изд. 2-е. СПб.: Изд-во И.В. Гессена и А.М. Каминка, 1905. С. 35; *Лазаревский Н.И.* Народное представительство и его место в системе других государственных установлений // Конституционное государство ... С. 181-182.

свидетельствовали о переходе от первой модели представительства публичных интересов ко второй.

Фундаментальная работа Б.Н. Чичерина «О народном представительстве»¹ была первым и единственным в своем роде опытом освоения либеральных концепций представительного правления, утвердившихся в Европе во второй половине XIX столетия, их применения к российским реалиям модернизации центральных государственных учреждений. Наименование монографии, ее предметное содержание и концепция парламентаризма близки «Представительному правлению» Дж. Ст. Милля, вплоть до текстуального совпадения отдельных выводов и аргументов. В частности Милль утверждал, что представительная форма правления «наиболее способствует участию граждан в исполнении общественных обязанностей», открывая самый широкий доступ «к разным сферам судебной и административной деятельности, каковы: суд присяжных и муниципальные должности, – и в особенности допуская самую широкую гласность и свободу критики»². Б.Н. Чичерин же видел в этом не только свойства, но и необходимые предпосылки народного представительства: «Там, где нет веками установившегося представительства, оно заменяется местными административными собраниями и участием народа в суде»³. Еще одной предпосылкой представительного правления он называл свободно формирующееся общественное мнение⁴.

Впрочем, важнее доказать совпадение основных идей, образующих авторские концепции представительного правления. Таких принципиальных совпадений, на наш взгляд, пять.

¹ Проблемы представительного правления исследовались Н.И. Кареевым, М.А. Рейснером, Н.И. Лазаревским, С.А. Котляревским, М.И. Свешниковым, М.В. Устиновым, П.И. Новгородцевым и др. Но в монографических работах этих авторов публичное представительство рассматривалось как аспект более сложных правовых явлений – современного конституционного процесса, формирования правового государства, развития правосознания и правовой мысли и т.д. Специальный характер имели лишь отдельные статьи этих авторов.

² Милль Дж. Ст. Представительное правление. Публицистические очерки. СПб., 1897. С.57.

³ Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1899. С. 660.

⁴ Там же. С. 664.

Первое. Дж. Ст. Милль и Б.Н. Чичерин считали, что формирование представительного правления – результат длительной социальной эволюции, которая охватывает развитие не только государственных учреждений, но и социальных навыков граждан. Поэтому эпохи «коренных преобразований менее всего благоприятны введению народного представительства»¹, а «домогайся народного представительства, когда общественное мнение не успело окрепнуть, это – требование революционное»². Более того, оба автора (Дж. Ст. Милль более обстоятельно) рассуждали о возможности деволуции «преждевременных» представительных режимов.

Второе. К институциональным предпосылкам представительного правления, помимо политического просвещения граждан, их участия в осуществлении отдельных властных полномочий и самодеятельного разрешения общественных дел, оба автора отнесли формирование централизованного государства. В Европе «центральная власть... служила главным орудием для достижения народом той ступени цивилизации, к которой он навряд ли приблизился при настоящем представительном правлении», – полагал Дж. Ст. Милль, пророчески заметив, что в России (а она, без всякого сомнения, отнесена им к группе европейских государств) этот процесс не закончен, делом самодержавия еще должна была стать отмена крепостного права³. По мнению Б.Чичерина, положительный фактор централизации тем существеннее, чем «обширнее государство» и разнообразнее «местные интересы»⁴, централизация указывает «людям на общие интересы, во имя которых она действует»⁵.

Третье. Исходя из гипотезы формируемого общенационального интереса оба автора рассматривали парламент как наиболее совершенный правовой инструмент выражения различных публичных интересов и их последующего согласования, интеграции. В таком контексте представительная функция парламента сохраняет

¹ Чичерин Б.Н. О народном представительстве ... С. 661.

² Там же. С. 665.

³ Милль Дж. Ст. Представительное правление. Публицистические очерки ... С. 39.

⁴ Чичерин Б.Н. О народном представительстве ... С. 767-769.

⁵ Там же. С. 769.

свое социальное значение независимо от того, насколько эффективно реализуется любая другая из его функций, включая и законодательную: «Собрание, в котором каждый интерес или оттенок общественной мысли может... заставить себя выслушать и вызвать сочувствие или добиться ясных доводов, почему его отвергают, – такое собрание само по себе, даже помимо всяких других задач, является одним из важнейших политических установлений»¹. Развивая этот подход, Б. Чичерин указывал на различия между сословным (корпоративным) представительством и современным, подчеркивая его публичный (по содержанию) и политический (по способу институционализации) характер: в современном представительстве «происходит борьба различных политических направлений, разделяющих общество»². Инструментом (но не форматом) такого представительства становятся политические партии.

Парадигма «общего» интереса заметно сказалась и на оценках юридической природы и перспектив существования «верхних» палат парламентов. Характерно, что в обеих монографиях особо был рассмотрен вопрос о представительстве в федеративных государствах³. Но центральной проблемой в них стал вопрос о формировании *единого общенационального парламента*, объединяющего представительств разных частей государства. Сенат не рассматривался как палата представительства региональных интересов, более того, конституционную практику «двоякого представительства» в Дании и Австрии Б.Н. Чичерин оценил как неудачную⁴. «Если в присоединенной народности нельзя победить стремление к обособлению, – писал он, – то гораздо лучше исключить ее из общего представительства, предоставить ей распоряжение местными делами»⁵.

Оба автора видели в сенатах сословную или, за неимением таковой, «искусственную» аристократию, призванную сдерживать

¹ Милль Дж. Ст. Представительное правление. Публицистические очерки ... С. 55.

² Чичерин Б.Н. О народном представительстве ... С. 207.

³ В очерках Милля это глава XVII «О представительном правлении союзных государств», в книге Чичерина – глава 6 книги II «Представительство в сложных государствах».

⁴ Чичерин Б.Н. О народном представительстве ... С. 279.

⁵ Там же. С. 280.

популизм «народных» палат¹. *Представительной* Б.Чичерин называл только нижнюю палату парламента². Таким образом, вторая палата – некий политический рудимент, исчезающий в процессе перехода к наиболее совершенным (однопалатным) формам представительства. Впрочем, более решительно этот прогноз относительно «верхних» палат парламентам был сформулирован М.И. Свешниковым³.

Четвертое. В равной мере присущ обоим доктринам тезис о репрезентативном парламенте. «Различные направления общественного мнения, разнообразные интересы народа должны проявляться в нем (представительном собрании – *Н.Ф.*) приблизительно в том же отношении, в каком они существуют в обществе»⁴. Сама возможность существования такого парламента в исторической перспективе не ставилась под сомнение. Но проблему репрезентативного парламента еще надо было решить, и оба автора видели решение в совокупности правовых инструментов, обеспечивающих максимально адекватное представительство в парламенте наиболее значимых публичных интересов. И Дж. Ст. Милль, и Б.Н. Чичерин полагали, что представительность парламента зависит от параметров избирательной системы (рекомендации относительно изменения избирательного законодательства, разумеется, не были одинаковы, но убежденность в возможности «оптимальной» избирательной системы была свойственна обоим). Кроме того, репрезентативность парламента, полагали они, зависит от характера взаимоотношений между парламентарием и избирателем. Только свободный мандат, с точки зрения Милля, может обеспечить в парламенте выражение мнения меньшинства⁵. Б.Н. Чичерин также высказывался в пользу свободного мандата парламентария⁶.

Пятое. Оба автора были убеждены в том, что развитие начал публичного представительства неизбежно ведет и к «струк-

¹ И в этом они лишь следовали идеям Ш.-Л. Монтескье и А. де Токвиля.

² Чичерин Б.Н. О народном представительстве ... С. 203.

³ Свешников М.И. Очерк общей теории государственного права ... С. 231.

⁴ Чичерин Б.Н. О народном представительстве ... С. 6.

⁵ Милль Дж. Ст. Представительное правление. Публицистические очерки ... С. 130.

⁶ Чичерин Б.Н. О народном представительстве ... С. 7.

турному парламентаризму», формированию парламентских систем (монархий или республик). Всякое «представительство, имеющее некоторую силу и независимость, непременно стремится к парламентскому правлению»¹.

Впрочем, на страницах «Народного представительства» можно найти немало критических замечаний в адрес Дж. Ст. Милля. Б.Н. Чичерин не был сторонником пропорциональной избирательной системы, полагая, что право меньшинства состоит единственно в свободном распространении своих убеждений². Различная оценка консервативных партий даже вынудила его к полемике: «То упорство, которое Милль считает глупостью, составляет основу общежития. Каков бы ни был общественный прядок, всегда необходима в нем крепкая воля многих, устремленная на его охранение...»³. Другие, и гораздо более глубокие, различия в позициях авторов не были замечены Б.Н. Чичериным. А между тем они, на наш взгляд, симптоматичны.

Во-первых, для нашего соотечественника представительство – это *участие* в осуществлении верховной власти, лишь *ограничивающее* ее. «Власть, ограниченная народным представительством, не может иметь притязания управлять по своей воле»⁴. Для Дж. Ст. Милля народное представительство – это сама верховная *власть*. «Представительное правление означает, что весь народ или значительная его часть пользуется через посредство периодически избираемых ими депутатов высшей контролирующей властью, которая во всяком государственном строе где-нибудь да находится. Этой высшей властью нация должна обладать во всей ее полноте»⁵.

Во-вторых, позиция Милля основана на убеждении, что парламент – *единственное* большое жюри нации. По мнению Б. Чичерина, общенациональный интерес может быть выражен и не пар-

¹ Чичерин Б.Н. О народном представительстве ... С. 253.

² Там же. С. 8.

³ Там же. С. 685.

⁴ Там же. С. 246.

⁵ Милль Дж. Ст. Представительное правление. Публицистические очерки ... С. 44.

ламентом, а главой государства в конституционной монархии. Формируя правительство в соответствии с предпочтениями парламента, монарх «является гораздо высшим и полнейшим представителем общих интересов государства, нежели действуя по личным взглядам или внушениям какой-либо партии»¹. Этот особый статус монарха обусловлен его ролью политического арбитра, «монарх является посредником между двумя общественными силами, между аристократией и демократией»².

Итак, функции посредничества в системе публичных интересов, реализуемые главой государства, трансформированы в концепции Б. Чичерина в функции представительства (а не просто выражения) публичных интересов. При этом монарх (как представитель общенациональных интересов) не столько конкурирует с парламентом, сколько лидирует в реализации этой функции, ибо он – власть, а парламент – лишь инструмент влияния на нее. Парламент, следовательно, также является посредником, обеспечивающим согласование воли народа (общественного мнения) и воли государя. На данном этапе представительство и посредничество в системе публичных интересов воспринимались как единый правовой феномен.

Следующий шаг в развитии идей представительного правления был сделан К.Н. Соколовым, разграничившим понятия представительного и парламентарного государства³. Парламентарное государство, полагал он, – лишь одна разновидность представительных государств, вторая разновидность – представительные *дуалистические* государства (как монархии, так и республики)⁴. К непарламентарным государствам К.Н. Соколов отнес абсолютные монархии и «непосредственные республики»⁵.

¹ Чичерин Б.Н. О народном представительстве ... С. 251.

² Там же. С. 181.

³ Соколов К.Н. Парламентаризм. Опыт правовой теории парламентского строя. СПб., 1912.

⁴ При этом «парламентаризм есть высшая, более развитая по сравнению с дуализмом, форма представительной государственной организации...». См.: Соколов К.Н. Там же. С. 7.

⁵ Там же. С. 415.

Соответственно, и природа представительного правления стала толковаться им более широко: это не только принципы формирования и организации парламента как центрального представительного учреждения, но и свойство *всей системы органов государственной власти*. «На идее такого взаимодействия верховных органов государства с обязательным конечным компромиссом и покоится, собственно говоря, вся механика представительного строя, – подчеркивал К.Н. Соколов. – Этот строй требует для осуществления наиболее важных функций власти сотрудничества нескольких независимых органов, ... чтобы достигаемой путем мирной борьбы гармонией между ними обеспечивалось и гармоничное удовлетворение сталкивающихся и борющихся в жизни интересов»¹.

В отличие от концепции Б. Чичерина, целью представительства признано не формирование и выражение общего (общенационального) интереса, а достижение *компромисса различных публичных интересов*. Этому служит не развитие социальных навыков народа по участию в осуществлении власти, а система социальных институтов, делающих такой компромисс возможным. В связи с этим особый интерес К.Н. Соколов проявлял к политическим партиям: «Новая организация партий ... есть ... продукт перенесения и на сферу внепарламентской политической борьбы тех же основных принципов, на которых покоится весь современный демократический порядок, – принципа представительства и принципа подчинения воле большинства»².

Но центральной идеей теории К.Н. Соколова следует признать идею представительства как *структурированной власти* (а не особого механизма влияния на власть). Различные, не совпадающие интересы могут быть представлены в системе автономных и взаимодействующих между собой государственных органов. Это, в свою очередь, изменило бы представления о природе бикамерализма. «Если местные интересы оказываются столь же важными и ценными, как интересы общегосударственные, – отмечал С.А. Кот-

¹ Соколов К.Н. Парламентаризм. Опыт правовой теории парламентского строя ... С. 371.

² Там же. С. 333.

ляревский, – то желательно, чтобы они были представлены у самого источника ... законодательной работы. Лучшее средство – дать наряду с представительством всего населения в одной палате представительство органов местного самоуправления (для России земского и городского) в другой. Иначе более чем вероятно хроническая борьба, прежде всего на почве распределения бюджета: единая палата, представленная вне всякой связи с местным самоуправлением, естественно будет стремиться стягивать все средства в центр. Конечно, и при двух палатах здесь возможны конфликты, но не будут ли они носить гораздо более тяжелого характера, если не дано им будет легального выхода, если местные интересы всецело будут принесены в жертву?»¹.

Вслед за идеями представительства территориальных публичных интересов наряду и обособленно от общенациональных, в российском правосознании стала осваиваться проблема представительства и политических прав меньшинств. М.В. Устинов, подхватывая современные ему либеральные европейские идеи начала XX в., писал: «Свободное общественное мнение обнаруживает всю пестроту интересов народа, все разноречие и противоречие интересов классовых, профессиональных, местных и индивидуальных и всю нецелесообразность единого шаблона их удовлетворения. И отсюда становится по крайней мере сомнительной возможность рассматривать каждого депутата как представителя всего народа, на чем настаивала старая теория народного представительства»². Более эффективным с точки зрения представительства всего спектра интересов М.В. Устинову представлялся императивный мандат, оставалось лишь увидеть различия между «старой» и «новой» императивностью. Но этот вопрос не был сформулирован автором, зато ему удалось обозначить принцип, лежащий в основе новой модели представительного правления.

¹ *Котляревский С.А.* Система двух палат // Конституционное государство. Сб. статей. Изд. 2-е. СПб.: Изд. И.В. Гессена и А.М. Каминка, 1905. С. 310.

² *Устинов М.В.* Учение о народном представительстве. Т. 2. Идея народного представительства во Франции в течение XIX столетия. М., 1915. С. 374.

«До тех пор господствовавшая конструкция народного представительства... была проникнута идеологией, близкой к идеологии просвещенного абсолютизма. Целый класс или отдельная политическая группа действуют за весь народ, считая, что они разумнее или правильнее, чем сам народ, понимают общие интересы... – доказывал необходимость нового взгляда на природу представительного правления М.В. Устинов. – Но с помощью *reductions ad absurdum* Наполеон III выяснил, как нельзя лучше, всю ошибочность основной мысли господствовавшей теории народного представительства. И благодаря ему постепенно крепнет убеждение, что народное представительство должно строиться не на идее опеки, а на идее *самодеятельности населения* (курсив – Н.Ф.)»¹.

Идеи П.И. Новгородцева² стали логичным завершением процесса пересмотра концепции Б.Н. Чичерина. В отличие от большинства работ о проблемах представительства того периода «Кризис современного правосознания» – исследование не столько конституционных практик, сколько правовых теорий. Для него характерен рефлексивный подход к истории права, пожалуй, не имеющий аналогов среди публикаций этого периода. В этой связи значительная часть выводов автора – критика стереотипов, на которых построены ранние теории представительного правления; собственные же выводы автора имели характер самых общих прогнозов.

Основным объектом критического анализа, предпринятого П.И. Новгородцевым, стала гипотеза репрезентативного парламента: «обычное сознание связывает с представительным собранием надежду, что одно должно быть копией народа, а непрекращающиеся искания лучшего избирательного права служат свидетельством того...»³. Но, во-первых, в условиях громадного влияния политических партий на избирателя неискаженное выражение воли народа уже невозможно. Партии сами формируют общественное мнение⁴.

¹ Устинов М.В. Учение о народном представительстве ... С. 369-371.

² Новгородцев П.И. Введение в философию права. II. Кризис современного правосознания. М., 1909.

³ Там же. С. 142.

⁴ В этом выводе П. Новгородцев следовал за М.Я. Острогорским, который первым обосновал роль политических партий как форматоров общественного мнения. Однако для Острогорского эта новая функция полити-

Во-вторых, невозможно такое согласование различных политических позиций, которое устроило бы всех¹. В-третьих, даже пропорциональная избирательная система не обеспечивает интересов меньшинства, поскольку в процессе принятия властных решений их мнение игнорируется. В этом смысле «идеальная» избирательная система – это правовая утопия².

Предположение о возможности репрезентативного парламента, по мнению Новгородцева, основано на идеях Ж.-Ж. Руссо о единой народной воле, которой не существует: «...мы убедились, что такой определенной и постоянной воли народа нет в действительности, и что на самом деле она постоянно ищется и определяется в живом процессе общественных взаимодействий...»³.

Следовательно, наряду с парламентом, утрачивающим монопольное право на выражение народной воли, должны возникнуть (и сами возникают) внепарламентские формы ее выражения⁴. «Вся задача политики в этом отношении сводится лишь к тому, чтобы обеспечить процесс свободного образования народной воли и свободного его выражения, – утверждал П.И. Новгородцев, – и в этом смысле создание органов свободной вне-парламентской инициативы является наилучшим средством помочь осуществлению этой задачи»⁵.

Кризис парламентаризма, – это кризис *парламентской формы* представительного правления, но не кризис его самого, «...ослабление власти и значения парламентов совершается повсюду не только в пользу тех немногих политических вождей, которые стоят наверху, но также и в пользу вырастающей в своем значении совокупности избирателей»⁶. Возрастание роли исполнительной власти (этот процесс П.И. Новгородцев наблюдал в Великобрита-

ческих партий означала кризис представительного правления. (См.: *Острогорский М.Я.* Демократия и политические партии. М.: РОССПЭН, 1997. С. 277.) П.И. Новгородцев не разделял этой пессимистической точки зрения.

¹ Там же. С. 156.

² Ее поиски П.И. Новгородцев сравнивал с попытками избобрести вечный двигатель.

³ Там же. С. 210.

⁴ Там же. С. 205.

⁵ *Новгородцев П.И.* Введение в философию права ... С. 206-207.

⁶ Там же. С. 170-171.

нии) происходит «исключительно потому, что она стала в более непосредственную связь с народом»¹.

Он был убежден (и этот прогноз можно считать реализованным), что усиление роли правительств и относительное ослабление парламентов будет типичным «для правовых государств ближайшего будущего»². Следовательно, в русле общих тенденций развития правовых государств лежит и возникновение новых, внепарламентских форм представительства.

Но каковы эти новые формы? П.И. Новгородцевым были названы лишь вполне традиционные: референдум, народная законодательная инициатива, петиции. Поразительно лишь то, что все они были квалифицированы автором не как институты прямой, а как институты новой представительной демократии: «по существу, формы народного законодательства... являются лишь расширением представительного начала»³.

Думаем, что этот парадокс объясним ограничениями современной автору конституционной практики. Институты делиберативной и партисипаторной демократии даже в Европе стали формироваться несколькими десятилетиями позже. А именно они, консультативные общественные советы, общественные экспертизы законопроектов, гражданские жюри, гражданские форумы и многие другие аналогичные формы участия в осуществлении государственной власти, стали новейшим (постпарламентским) правовым механизмом представительства публичных интересов. Многими современными авторами эти формы участия граждан в осуществлении функций государственной власти действительно рассматриваются как «гибридные» правовые институты, сочетающие свойства прямой демократии и представительного правления⁴.

Итак, к началу XX в. в российском правосознании сложились суждения о представительном правлении, его исторических фор-

¹ Новгородцев П.И. Введение в философию права ... С. 168.

² Там же. С. 168-169.

³ Там же. С. 206-207.

⁴ См., напр.: *Bobbio N. The Future of Democracy. Cambridge, 1987*; Руденко В.Н. Прямая демократия: модели правления, конституционно-правовые институты. Екатеринбург: УрО РАН, 2003.

мах и институтах, принципиально *совпадающее* с европейским пониманием этого феномена и намного опережающее действительность российского права и государства. Практика октроированного, запаздывающего парламентаризма оказывала существенное влияние на российскую правовую мысль лишь на самых ранних этапах формирования концепции публичного представительства. Но многие идеи российских правоведов начала XX в. можно характеризовать как преждевременные. Они оказались не востребованы в России. Некоторые из них, в частности концепция политических партий М.Я. Острогорского, стали органичной частью развивающейся правовой и политической мысли Европы¹.

Полагаем, что современному отечественному правосознанию предстоит в основном повторить описанный нами тренд развития доктрины представительного правления. При этом современные представления о предмете скорее указывают на то, что мы находимся лишь в самом начале этого пути. Назовем лишь несколько знаковых стереотипных суждений, уже однажды преодоленных российскими конституционалистами.

Во-первых, доминирует представление о разделении властей как основе современного конституционализма. Поразительно, однако принцип представительного правления в качестве конституционного принципа не упоминается даже в работах, посвященных парламентам². Вместо концепта «представительного правления», – догмат «представительной ветви власти».

Во-вторых, и вследствие первого, почти традиционным стало отождествление представительной и законодательной власти, представительных и законодательных органов. В силу этого допущения ограничение законодательных и иных функций парламента в условиях рационализированного парламентаризма трактуется как

¹ В частности, выводы М.Я. Острогорского являются одной из теоретических предпосылок так называемой «юридической социологии» М. Дюверже. Характерно, что в фундаментальном исследовании Б. Манена «Принципы представительного правления» М.Я. Острогорский единственный из цитируемых российских авторов этого периода. Собственно он воспринимается не как российский, а как европейский автор.

² См. напр.: Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика / Под общ ред. О.Н. Булакова. М.: Изд-во Эксмо, 2005.

«кризис парламентаризма» и, соответственно, кризис представительной демократии в целом¹. Характерный пассаж находим в одной из новейших работ, посвященных институтам западной представительной демократии. «Представительная демократия ... означает прежде всего передачу полномочий законотворчества ... парламенту... Не случайно Дж. Ст. Милль особое внимание уделяет проблемам законодательной власти...»². Но стоит ли повторять, что и для Милля, и для его российских последователей парламент должен бы был существовать даже в том случае, если бы вовсе делегировал осуществление законодательных функций правительству? И что, к примеру, существование Европарламента уже свидетельствует о возможности существования парламентов, не осуществляющих законодательных функций в привычном смысле этого слова?³

И далее: «В целом современная политическая практика не дает оснований считать парламент институтом, занимающим высшую ступень в иерархии государственных органов. О расцвете парламентаризма можно говорить лишь применительно к Англии XVIII столетия, отчасти Франции и США конца XIX в.»⁴. Между тем, в Европе (на опыт которой ссылаются авторы) преобладает противоположная оценка ситуации. По мнению И. Мени (Y. Meny), вообще следует отказаться от оценки прошлого столетия как «золотого века» парламентаризма, так как в полной мере функции представительства парламенты стали осуществлять только сейчас. Их значение в качестве представительных органов государствен-

¹ Отрядным исключением стала позиция авторов «Парламентского глоссария»: «представительную власть нельзя отождествлять с законодательной властью, поскольку не всякая представительная власть включает законодательные полномочия ... и, наоборот, не всякая законодательная власть осуществляется органами представительной власти». См.: *Саидов А.Х., Хабриева Т.Я.* Парламентский глоссарий. М.: Изд-в НОРМА, 2008. С. 272.

² *Ачкасов В.А., Грызлов Б.В.* Институты западной представительной демократии в сравнительной перспективе. Учебное пособие. СПб.: ИВЭСЭП; Знание, 2006. С.79.

³ Впрочем, достаточно вспомнить о реплике «Парламент – не место для дискуссий», чтобы понять различия между современным российским парламентаризмом и парламентаризмом в понимании Дж. Ст. Милля.

⁴ *Ачкасов В.А., Грызлов Б.В.* Институты западной представительной демократии в сравнительной перспективе ... С. 81.

ной власти, влияющих и контролирующих национальные правительства, многократно усилилось¹.

Особенно заметна эта тенденция в практике российского конституционного законодательства. Отечественный законодатель либо использует понятия «законодательный» и «представительный» как синонимы², либо не учреждает тех юридических признаков, которые свидетельствовали бы о представительном характере законодательной ассамблеи. В этой связи характерно определение Федерального Собрания и как законодательного, и как представительного органа государственной власти (статья 94 Конституции РФ), и отсутствие в основном законе России указания на *природу мандата* парламентария. Между тем в большинстве новых независимых государств региона (Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, государствах Балтии) конституции прямо закрепляют принципы национального представительства и свободного мандата, либо содержат запрет императивного мандата.

В-третьих, концепция «общенациональных интересов» заявлена как магистральная в развитии права. Позиции, обозначенные на конференции Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (прошедшей 25 октября 2005 г.), во многом схожи с представлениями Б.Н. Чичерина о формируемом (едином) национальном интересе. «Приоритетная направленность законодательства – это обеспечение *общих интересов при максимальном учете законных частных интересов*»³. При таком подходе любой публичный интерес, не совпадающий с

¹ *Meny Y. Government and Politics in Western Europe. Oxford, 1990. P. 156.* Цит. по: Сравнительное конституционное право: Учебное пособие / Отв. ред. В.Е.Чиркин. М.: Международные отношения, 2002. С. 310.

² Можно указать на характерное наименование Федерального закона: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 1999. № 42. Ст. 5005; 2001. № 7. Ст.608; 2002. № 19. Ст. 1792. № 30. Ст.3025; 2003. № 27 (ч. 2). Ст. 2709; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 25; 2006. № 1. Ст. 10; 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 21, № 17. Ст. 1932, № 43. Ст. 5084.

³ *Хабриева Т.Я. Национальные интересы и законодательные приоритеты России // Журнал российского права, 2005. № 12. С. 20.*

общенациональным, неизбежно попадает в разряд девиантных. В этой связи достаточно указать на итоги дискуссии о концепции федеративной реформы, прошедшей в 2001 г. Первая концепция, представлявшая консолидированную позицию глав субъектов Российской Федерации, получила негативную оценку Д.Н. Козака, автора «официальной концепции», ставшего руководителем Комиссии по подготовке предложений по разграничению предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации (образована Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 741¹). Как справедливо отмечает В.А. Черепанов, дискуссия имела политический характер. Обвинения в сепаратизме, разрушении единого правового пространства и т.п., выдвинутые оппонентами в адрес авторов концепции Государственного Совета Российской Федерации, не отражали ее действительного содержания².

Российская Конституция не регулирует прав парламентской оппозиции; нет в ней и упоминания о специальном правовом статусе партий. Но умолчания довольно долго компенсировались в парламентском праве положениями Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Они допускали возможность учреждения наряду с фракциями депутатских групп, а также предоставляли им равные возможности участия в работе парламента. Значимым эпизодом практики российского парламентаризма является дискуссия о составе Совета Государственной Думы в 1993г. Из четырех предложенных тогда моделей³ была выбрана та, которая обеспечила равное представительство всех депутатских объединений в коллегиальном органе. Иными словами, Совет представлял весь спектр значимых политических сил в каждой из легислатур.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001. № 27. Ст. 2652.

² Черепанов В.А. Федеративная реформа в России. М.: Изд-во «Социально-политическая мысль», 2007. С. 171.

³ Глейзер Д., Чейси П. Российская Государственная Дума: структура, деятельность и эволюция в период 1993–1998 годов. М.: Московский общественный научный фонд, 1999. С. 7-11.

Но изменения, внесенные в Регламент Государственной Думы в декабре 2003г., существенно изменили соотношение сил в нижней палате парламента в пользу доминирующей фракции. Отныне в Совет Государственной Думы входят, помимо Председателя палаты, его первые заместители и заместители (пункт 2 статьи 13 Регламента Государственной Думы), одновременно исчез запрет на замещение должности Председателя палаты и заместителя Председателя палаты представителями одной фракции¹. Ранее этот запрет обеспечивал всем миноритарным фракциям кресло заместителя председателя палаты. Сегодня статус Совета Государственной Думы максимально приближен к статусу Президиума в непрофессиональном парламенте, в его составе абсолютно доминирует одна фракция.

Политика административной и финансовой централизации, реализуемая в сфере федеративных отношений и местного самоуправления, также непосредственно связана с концепцией «общенационального интереса». Показательны аргументы федерального законодателя относительно неприменения ценза постоянного проживания при формировании Совета Федерации к отдельным категориям претендентов, – представителям силовых ведомств. В 2008 г. их круг был расширен за счет *бывших* военнослужащих и представителей иных силовых ведомств². По мысли авторов законопроекта, представители силовых структур по профессиональному долгу часто меняют место жительства, в связи с чем действующая правовая норма *ставит их в неравное положение* с представителями «мирных профессий»³. Таким образом, логика, оправданная в системе

¹ «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Постановление ГД ФС РФ от 22 января 1998 г. № 2134-П (ред. от 29 декабря 2003 г.) // СЗ РФ, 2004. № 1. Ст. 11-12.

² О внесении изменений в ст.2 Федерального закона «О внесении изменений в ст.1 Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»: Федеральный закон от 2 октября 2008г. № 167-ФЗ // Справочная информационная система Гарант [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.garant.ru/hotlaw/doc/123163.htm> (Загл. с экрана).

³ Медведев изменил «порядок формирования Совета Федерации». Кому открыли дорогу в верхнюю палату парламента / РИА URA.RU. 06.10.2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pda.ura.ru/content/svrd/06-10-2008/news/45087.html> (Загл. с экрана).

общенационального представительства, была перенесена на принципы формирования органа территориального представительства. И практически одновременно были сформулированы предложения об ограничении права законодательной инициативы для региональных законодательных собраний. Заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации О. Морозов предложил дополнить процедуру внесения таких законопроектов предварительной экспертизой, осуществляемой федеральным парламентом¹. Иначе говоря, только те законопроекты с мест могут стать законами, которые будут соответствовать ожиданиям федеральных парламентариев.

Четвертым индикатором, указывающим на ренессанс ранних правовых концепций публичного представительства, является синкретичное восприятие феноменов представительства и посредничества в структуре публичных интересов. Поскольку эта проблема даже и не осознается как таковая, свидетельства отождествления имеют косвенный характер. Это – содержание соответствующих правовых норм и особенности конституционной практики.

Первым из таких свидетельств является эволюция конституционно-правового статуса полномочных представителей Президента в федеральных округах, которые к настоящему времени действуют именно как институты-посредники. Наибольшее количество функций, предписанных полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах (11 из 17), – это функции в сфере согласования публичных интересов разного уровня². Но в их ряду названа функция по защите *интересов федерального округа* (наряду с интересами субъектов Российской Федерации, входящих в округ) в случае, если проекты решений феде-

¹ Васильева К. Не думское это дело. «Единороссы» создают еще один барьер для законодательных инициатив из регионов / Новые известия, 2008. 8 октября 2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.newizv.ru/news/2008-10-08/99388/> (Загл. с экрана).

² «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе». Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 (с изм. от 21 июня 2000 г., 9 сентября 2000 г., 30 января 2001 г., 6 апреля 2004 г., 5 октября 2004 г., 21 марта 2005г.) // СЗ РФ, 2000. № 20. Ст. 2112; № 26. Ст. 2748; № 38. Ст. 3781; 2001. № 6. Ст. 551; 2004. № 15. Ст. 1395; № 41. Ст.4021; 2005. № 13. Ст. 1135.

ральных государственных органов затрагивают эти интересы. Во всяком случае, ситуативно полномочные представители президента в федеральных округах выступают и как *представители* субнациональных интересов.

Вторым, еще более выразительным свидетельством, являются новые взаимоотношения реформированного Совета Федерации и регионов. Особенности процедуры наделения мандатом члена Совета Федерации, лишение органов государственной власти субъектов Российской Федерации права на инициативный отзыв своих представителей и многое другое свидетельствует о том, что Совет Федерации все более приобретает свойства государственного органа, транслирующего федеральные интересы субъектам Российской Федерации. Все в меньшей степени он воспринимается как выразитель консолидированных интересов субъектов Федерации¹. Из органа, представляющего субъекты Российской Федерации, он превратился в учреждение, осуществляющее функции *посредничества*. Задача Совета Федерации – обеспечить соответствие позиций регионов приоритетам федеральной политики, но не сделать региональные интересы ее обязательной составной частью.

Наряду с описанной нами доминирующей тенденцией воссоздания ранних теорий публичного представительства, характерных для России конца XIX в., существует и тенденция освоения современных концепций представительного правления и их дальнейшего развития. Эта тенденция продолжает традиции российского конституционализма начала XX в. Достаточно назвать лишь несколько идей и имен:

- требование не ограничивать задачи парламентов (как федерального, так и регионального) осуществлением законодательных функций (С.А. Авакьян, Н.С. Крылова);
- разграничение принципов частного и публичного представительства (К.В. Арановский, С.Д. Князев, С.В. Васильева и др.);
- установление различий между органами представительной и законодательной власти (А.С. Автономов, А.Х. Саидов, Т.Я. Хабриева);

¹ Подробнее об этом: *Филиппова Н.А.* Представительство субнациональных интересов в Совете Федерации Федерального Собрания РФ: функциональная и делегативная модели // Российский юридический журнал, 2008. № 2. С. 48-56.

- идея федерации как субсидиарного и консенсуального государства, построенного на согласовании не совпадающих публичных интересов (А.С. Автономов, В.А. Черепанов, И.А. Конюхова и др.);
- признание за территориальными коллективами статуса юридических лиц публичного права (В.Е. Чиркин);
- толкование права на представительство как субъективного публичного права (П.А. Астафичев, М.С. Матейкович),
- исследование функциональных аспектов публичного представительства (А.Н. Кокотов, П.Н. Кириченко, Е.И. Колюшин) и многие другие.

Обозначенное идейное направление можно было бы считать более значительным, но, как мы старались показать ранее, оно почти не влияет на практику современного конституционного законодательства и конституционного строительства. Полагаем, что сам факт «не востребоваемости» европейских (в равной мере и российских начала прошлого века) теорий представительного правления свидетельствует о том, что традиции *октроированного парламентаризма оказывают на российское правосознание гораздо более существенное влияние*, чем это принято признавать. В своем стремлении реанимировать ранние либеральные теории представительства нынешняя российская правовая идеология, безусловно, консервативна.

Можно предположить, что такого рода консерватизм обусловлен как политическими интересами, так и структурными особенностями не-европейской государственности, значительно усиленными в условиях социализма. Во всяком случае, сравнивая конституционную практику России и (в основном) центрально-азиатских государств – республик бывшего СССР, можно заметить некоторые общие тенденции в изменении моделей публичного представительства.

Для этих государств¹ характерно учреждение минимизированных парламентов, изначально даже их численность заметно меньше расчетной, определенной по «правилу кубического корня» от численности представляемого населения (табл. 1).

¹ К этой группе государств мы отнесли Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и с учетом последней конституционной реформы – Туркменистан.

**Соотношение расчетной и легальной численности
национальных парламентов государств-участников СНГ¹**

Государство	Численность населения (по состоянию на июль 2004 г.), млн чел.	Наименование и легальная численность парламента (палаты общенационального представительства)	Расчетная численность парламента («нижней» палаты)	Соотношение расчетной и легальной численности, %
Грузия	4,7	Sakartvelos Parlamen-ti: 235	168	140
Украина	47,7	Верховная Рада: 450	363	124
Армения	2,9	Azgayin Joghov: 131	143	92
Россия	143,8	Государственная Дума*: 450	524	86
Туркменистан (II)**	4,9	Mejlis: 125	170	74
Азербайджан	7,8	Milli Mejlis: 125	198	63
Молдова	4,45	Parlamentul: 101	165	61
Кыргызстан (II)***	5,1	Jogorku Kenesh: 90	172	52
Беларусь	10,3	Палата представителей*: 110	218	50
Кыргызстан (I)	5,1	Jogorku Kenesh: 75	172	44
Узбекистан	26,4	Законодательная палата*: 120	298	40
Казахстан (II)****	15,1	Мажилис*: 98 из 107	247	40
Таджикистан	7	Маджлиси намоян-догон*: 63	192	33
Казахстан (I)	15,1	Мажилис*: 77	247	31
Туркменистан (I)	4,9	Mejlis: 50	170	29

Примечание:

* Палаты общенационального представительства в составе двухпалатных парламентов.

** После конституционной реформы Туркменистана 2008 г.

*** После конституционной реформы Кыргызстана 2007 г.

**** После конституционной реформы Казахстана 2007 г.

¹ Данные о численности населения, наименовании (палат) парламентов и их легальной величине приведены по: Национальные парламенты мира: Энцикл. справ. / Саидов А.Х.; Российская академия наук. Ин-т государства и права. М.: Волтерс Клувер, 2005.

Но, как видно из таблицы, в трех государствах в ходе конституционной реформы численность парламентов (или палат общенационального представительства) была увеличена. Особенно заметным это увеличение стало в Туркменистане: более чем в два раза. В Казахстане численность Мажилиса была увеличена до 107 депутатов. Однако казахстанцы будут избирать лишь 98 депутатов, а остальных должна будет назначать Ассамблея народов Казахстана. Одновременно в Казахстане и Кыргызстане был осуществлен переход от смешанной избирательной системы к пропорциональной. При этом в Казахстане был установлен высочайший 7%-ный заградительный барьер, а в Кыргызстане, при демократических 5%, было установлено дополнительное требование к партиям – набрать не менее 0,5% в каждой области.

Следует ожидать трансформации избирательной системы и в Туркменистане, но возможность пропорциональной избирательной системы здесь пока исключена, существует только одна политическая партия. С другой стороны, фактор выбора избирательной системы в Беларуси, Таджикистане и Узбекистане остается несущественным, в этих государствах неоспоримо доминируют пропрезидентские партии (что и позволяет ориентироваться на мажоритарные избирательные системы). Во всех трех государствах правовым инструментом контроля за палатой общенационального представительства стали вторые палаты парламента, частично формируемые самими президентами.

Иными словами, увеличение численности парламентов имело место там и постольку, поскольку трансформировались партийные системы и учреждались новые правовые механизмы контроля за ними, а в условиях эффективного контроля численность парламента уже не имеет принципиального значения.

Свою модель партийной системы с контролируемым числом политических партий реализовала и Россия, которая также перешла от смешанной избирательной системы к пропорциональной, увеличив с января 2007 г. заградительный барьер до 7%. Когда вступил в силу новый закон о политических партиях, количество партий уменьшилось с 34 до 14. Новейшие тенденции в развитии моделей представительства интересов наиболее выразительно демонстри-

руют Казахстан и Россия. В Казахстане государственно-общественный орган Ассамблея народов Казахстана получила право участвовать в формировании Мажилиса, в России определенными полномочиями по воздействию на государственные органы были наделены Общественная палата Российской Федерации и региональные общественные палаты. Учреждение институтов делиберативной демократии в этом регионе, однако, тоже оказалось своеобразным. Как справедливо отмечают эксперты, эти консультативные общественные советы формируются по принципу контролируемого представительства¹, а спонтанно, в самодеятельном порядке возникающие гражданские форумы (например Национальная Ассамблея России, альтернативный парламент в Ингушетии) не интегрируются в систему принятия публичных властных решений.

Обобщая указанные тенденции, можно сделать вывод о сохранении конституционной практики *контролируемого публично-го представительства*. «Техническая» модернизация его форм (от однопалатного парламента – к двухпалатному, от беспартийного парламента – к партийному и далее – к консультативным общественным советам) не меняет сущностных характеристик этого представительства. Оно было и остается лишь формой участия во власти, предшествующей учреждению представительной формы правления.

¹ Руденко В.Н. Консультативные общественные советы в системе делиберативной демократии // Сравнительное конституционное обозрение, 2007. № 4. С. 120.

§ 6. ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ ДОГОВОРЕ

Гражданско-правовой договор всегда был одним из основных объектов исследований в отечественной цивилистике¹, что объясняется ролью договора как важнейшего основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Постсоветская кодификация гражданского права, начавшаяся принятием в 1994 г. части первой и завершившаяся принятием в 2006 г. части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, вызвала всплеск интереса к проблемам договорного права², причем, как и к другим разделам гражданского права.

Несмотря на договорный исследовательский бум, сопровождающийся массой публикаций по договорной тематике, говорить о появлении нового учения о договорном праве, конечно, рано. Для этого требуется не один десяток лет.

Центральной проблемой в теории договорного права является проблема понимания гражданско-правового договора, его юридической природы. Ее решение оказывает определяющее влияние на все направления развития теории договорного права. Научные представления о гражданско-правовом договоре во многом характеризуются именно теоретическими положениями о его юридической природе, которая обуславливает и место договора в механизме пра-

¹ См., напр.: *Нечаев В.М.* Теория договора // Юридический вестник, 1888. № 10. С. 242-265; *Халфина Р.О.* Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. М.: Изд-во АН СССР, 1954. 240 с.; *Красавчиков О.А.* Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, функции // Гражданско-правовой договор и его функции: Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1980. С. 3-20; *Сафиуллин Д.Н., Суханов Е.А., Губин Е.П.* Хозяйственный договор: Общие положения: Учеб. пособие. Свердловск, 1986. 72 с.

² См., напр.: *Хохлов С.А.* Новое договорное право России // Экономика и жизнь, 1996. № 8. С. 1; *Пугинский Б.И.* Теория и практика договорного регулирования. М.: Зерцало-М, 2008. 224 с.

вового регулирования. Поэтому исходным пунктом построения современной теории договорного права следует считать выявление юридической природы гражданско-правового договора или, иными словами, формулирование его понятия, поскольку последнее, по законам логики, должно отражать юридическую природу гражданско-правового договора.

Традиционные научные представления о гражданско-правовом договоре

Казалось бы, понятие гражданско-правового договора не обойдено вниманием в отечественной цивилистике. В учебниках по гражданскому праву, начиная с самого первого¹, неизменно присутствуют главы, посвященные понятию договора и другим общим положениям о договоре. Без раскрытия понятия договора не обходится, разумеется, и научная литература по договорному праву². И тем не менее вопрос о понимании гражданско-правового договора не закрыт. Пожалуй, ни одна проблема в юридической (а возможно и в любой другой гуманитарной) науке не может считаться до конца изученной и в силу того закрытой. Сказанное в большей степени проявляется в отношении наиболее общих краеугольных научных понятий. Не случайно в юриспруденции не прекращаются волнообразные (то несколько утихающие, то разгора-

¹ *Терлаич Г.* Краткое руководство к систематическому познанию гражданского частного права России, начертанное профессором Григорием Терлаичем. СПб., 1810. Ч. 1. 112 с.; Ч. 2. 244 с. Данное в этом учебнике определение договора (не через соглашение) поражает своей глубиной и изяществом слога: «Договор есть действие взаимной свободной воли двух или многих лиц, утверждающее право и обязанность их к достижению предназначенной цели» (Ч. 1, с. 105).

² См., напр.: *Кабалкин А.Ю.* К вопросу о сущности гражданско-правового договора по российскому законодательству // *Юридический мир*, 2001. № 10. С. 4-10; *Бекленищева И.В.* Гражданско-правовой договор: классическая традиция и современные тенденции. М.: Статут, 2006. 204 с.; *Гольцов В.Б.* О понятии договора в гражданском праве // *Правоведение*, 2005. № 4. С. 46-55; *Белов В.А.* К вопросу о соотношении понятий обязательства и договора // *Вестник гражданского права*, 2007. № 4. С. 239-258.

ющиеся с новой силой) дискуссии о таких правовых категориях как право, система права, правоотношение.

Поразительно, но к началу третьего тысячелетия в отечественной цивилистике не сложилось сколько-нибудь единого, устойчивого понимания юридической природы гражданско-правового договора. Общий обзор цивилистических взглядов на юридическую природу договора, отраженных в научной, учебной, справочной литературе и в законодательстве в виде определений понятия «договор» и значений термина «договор», показывает, насколько неоднозначны эти взгляды. Чаще всего договор понимается как 1) соглашение, 2) сделка, 3) юридический факт, 4) правоотношение (обязательство), 5) документ.

Наиболее распространено многозначное понимание договора, при котором понятие (термин) «договор» имеет одновременно несколько значений из числа вышеперечисленных. Показательно, что, пожалуй, во всех учебниках по гражданскому праву последних десятилетий «договор» рассматривается как многозначное (многоаспектное) понятие. Типичным примером может служить учебник гражданского права, подготовленный коллективом кафедры гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, в котором раскрытие понятия договора начинается следующим образом: «Термин “договор” употребляется в гражданском праве в различных значениях. Под договором понимают и юридический факт, лежащий в основе обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором закреплён факт установления обязательственного правоотношения»¹.

Многообразие взглядов на понимание договора стало уже привычным в отечественной цивилистике и практически не вызывает критической оценки у исследователей². Между тем уже сам

¹ Гражданское право: Учебник. Изд. 5-е, перераб и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2001. Т. 1. С. 486.

² Критический анализ многозначного понимания договора содержится, например, в следующих работах: Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, функции // Гражданско-правовой договор и его функции: Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1980. С. 10.

факт неоднозначного понимания исследуемого явления должен настраивать и побуждать науку по меньшей мере к уяснению характера причин различий в понимании исследуемого явления, в данном случае договора. Кроются ли они в том, что различные понятия отражают существенные стороны одного и того же явления, либо они отражают разные явления, или же различные понятия неверно отражают одно и то же либо разные явления. Однако внятного ответа на этот вопрос (как, впрочем, и четкой его постановки) в литературе пока найти невозможно.

Сложившееся в науке гражданско-правового права в качестве преобладающего многозначное понимание договора, не сопровождающееся объяснением природы такой многозначности, свидетельствует о слабой методологической разработанности учения о гражданско-правовом договоре и в целом о недостаточном уровне развития теории договорного права. Поэтому для теории договорного права первостепенной задачей является методологически выдержанная разработка вопроса о юридической природе гражданско-правового договора.

Чтобы оценить упомянутые традиционные взгляды на понимание договора, необходимо провести их системный юридический и логический анализ – сначала каждого в отдельности, а потом в сопоставлении друг с другом. При этом особое внимание следует акцентировать на вопросе о том, насколько анализируемое представление о договоре отражает его юридическую природу.

Вначале следует проанализировать **понимание договора как соглашения**, тем более что такое понимание отражено в действующем российском гражданском законодательстве.

Легальное определение договора (как соглашения) содержится в статье 420 ГК РФ, которая специально посвящена понятию договора, даже так и называется – «Понятие договора». Согласно пункту 1 указанной статьи, «Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей». Приведенное определение, появившееся в 1994 г. с принятием части первой ГК РФ, – первое явное (то есть сформулированное именно как определение) легальное определение договора в отечественном законодательстве.

Содержащееся в статье 420 ГК РФ легальное определение договора отражает традиционный для правовых систем романо-германского типа подход к определению договора через соглашение, берущий свое начало в римском частном праве.

Логико-юридический анализ легального определения договора, содержащегося в статье 420 ГК РФ, показывает, что оно (а равно и подобные ему доктринальные определения договора через соглашение) непротиворечно и с логической, и с юридической точек зрения.

Легальное определение (и подобные ему доктринальные определения) договора некорректно главным образом потому, что в нем договор определяется через соглашение (при том, что договор и соглашение – суть одно и то же).

Обоснование этого утверждения следует начать с констатации того обстоятельства, что, определяя договор, законодатель применил основной логический прием определения понятия – через ближайший род и видовое отличие. При этом в легальном определении, надо полагать, ближайшим родовым понятием по отношению к определяемому понятию «договор» выступает понятие «соглашение» (слова «двух или нескольких лиц» в родовом понятии излишни, поскольку любое соглашение существует между двумя или несколькими, точнее, более чем двумя лицами), а видовым отличием – признак, выражающийся словами «об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей».

При буквальном восприятии легального определения из него следует, что понятие «соглашение» по объему шире понятия «договор», а поэтому соглашения помимо договоров обнимают собою также соглашения, не являющиеся договорами (что выражается краткой формулой «всякий договор – соглашение, но не всякое соглашение – договор»). Причем у соглашений, не являющихся договором, должно отсутствовать вышеназванное видовое отличие соглашений, относящихся к договорам. Однако это не так. Понятия «договор» и «соглашение» – тождественные. Они имеют один и тот же объем, то есть определяют один и тот же предмет.

Следует признать, что попытки установить юридический водораздел между договором и соглашением, жестко соподчинить их как вид и род (или наоборот) в настоящее время беспочвенны и

бесперспективны, да и не вызваны потребностями современной теории и практики.

Таким образом, понятия договор и соглашение в гражданском праве идентичны, а потому определение договора через соглашение логически некорректно. Оно провоцирует на неверное представление о логическом соотношении договора и соглашения как вида и рода.

Кроме того, *определение договора через соглашение дезориентирует относительно юридической природы договора.*

Если легальное определение относит договор к роду соглашений, то уместно предположить, что договор по своей юридической природе является соглашением, точнее, юридическим соглашением (как было показано ранее, одной из важнейших функций легального, впрочем как и доктринального, определения какого-либо правового феномена является отражение юридической природы этого феномена). Но такое предположение отнюдь не проясняет юридическую природу договора, поскольку соглашение не занимает определенного особого места в системе явлений гражданского права и права вообще. Да это и невозможно, так как соглашение занимает в гражданском праве то же место, что и договор, ибо, как уже было установлено, соглашение и договор суть равнозначные явления в гражданском праве.

Из приведенных выше критических замечаний в адрес определения договора через соглашение отнюдь не следует, что договор не есть соглашение. Договор как раз и есть соглашение, то есть понятие договора равнозначно (тождественно) понятию соглашения, а обозначающие эти понятия термины (слова) «договор» и «соглашение» являются синонимами. Именно поэтому договор логически некорректно определять (в строгом, научном смысле) через соглашение, а соглашение – через договор.

Сказанное влечет следующий вывод: *определение гражданско-правового договора через соглашение не выявляет юридическую природу гражданско-правового договора.*

Далее необходимо выяснить, насколько отражает юридическую природу гражданско-правового договора **понимание договора как сделки.**

То, что гражданско-правовой договор является гражданско-правовой сделкой, точнее видом гражданско-правовой сделки, – утверждение достаточно очевидное. Это утверждение основано на одном из базовых законодательных положений о сделках, согласно которому сделки подразделяются на двух- или многосторонние сделки (договоры) и односторонние сделки (статья 154 ГК РФ), причем указанное законоположение само прочно покоится на учении о видах сделок, никем не подвергаемом сомнению. Единство законодательных и доктринальных позиций, безусловно, повышает обоснованность тезиса о квалификации договора как вида сделки. На это приходится обращать внимание из-за ранее отмеченной логико-юридической некорректности предусмотренного статьей 420 ГК РФ легального определения договора, базирующегося насылке – договор есть вид соглашения.

Диссонансом, разрушающим редкое единодушие в квалификации договора как вида сделок, прозвучал тезис Б.И. Пугинского о том, что договор не является сделкой (видом сделки). Подвергнув семантическому разбору пункт 3 статьи 154 ГК РФ, он сделал заключение, согласно которому «двусторонняя или многосторонняя сделки признаются лишь выражением согласованной воли двух и более сторон и рассматриваются в качестве условия, необходимого для заключения договора». По мнению Б.И. Пугинского, закон (статья 420 ГК РФ) называет договором и требует понимать под договором соглашение, но не сделку¹. Видимо, Б.И. Пугинский неоправданно большое значение придал семантическому разбору пункта 3 статьи 154 ГК РФ и проигнорировал пункт 1 этой статьи, из которого прямо и однозначно следует, что сделки делятся на: 1) договоры и 2) односторонние сделки. Следовательно, договоры являются разновидностью сделок. Этот вывод не колеблет и содержится в статье 420 ГК РФ легальное определение договора через соглашение. Оно, как было показано ранее, действительно не вполне удачно, но систематическое и доктринальное толкование положений ГК РФ о сделках и договорах не оставляет сомнений в

¹ Пугинский Б.И. Гражданско-правовой договор // Вестник Московского ун-та. Сер. 11. Право, 2002. № 2. С. 39, 40.

том, что легальное определение договора отнюдь не опровергает законодательного же деления сделок на договоры и односторонние сделки, то есть легальной их квалификации как видов сделок. Об это одно положение разбиваются целых пять аргументов, приведенных А.Д. Корецким, который как и Б.И. Пугинский, не считает договор разновидностью сделки¹. Не относят договоры к сделкам также М.Л. Разу и И.В. Цветков².

Итак, гражданско-правовой договор есть вид гражданско-правовой сделки. Причем гражданско-правовая сделка является ближайшим родовым понятием для понятия «гражданско-правовой договор». Это понятие вместе с соподчиненным понятием «гражданско-правовая односторонняя сделка» непосредственно входит в понятие «гражданско-правовая сделка» и исчерпывает его объем.

Принадлежность договора к роду сделок уже сама по себе существенно проясняет правовую природу договора. Существенно, но не исчерпывающе, прежде всего по причине отсутствия достаточной ясности правовой природы самих сделок.

Согласно статье 153 ГК РФ, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В приведенном легальном определении сделки последняя определяется через действие – явление, правовая природа которого законодательно четко не определена. В литературе сделки традиционно относят к юридическим фактам (основаниям возникновения гражданских прав и обязанностей). Однако свойство сделки как юридического факта не отражает его сущностных юридических свойств. Этот тезис будет обоснован далее при рассмотрении юридико-фактических свойств договора – наиболее распространенного юридического факта.

¹ *Корецкий А.Д.* Договорное право России: Основы теории и практики реализации. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-н/Д.: Издательский центр «МарТ», 2004. С. 40-46.

² *Разу М.Л., Цветков И.В.* Договорная работа: Организация, технология, управление: Учебно-практическое пособие. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2005. С. 15; *Цветков И.В.* Договорная дисциплина в хозяйственной деятельности предприятия: теория и практика. М.: Книжный мир, 2006. С. 46-52.

Поскольку большинство сделок являются договорами, проблема правовой природы сделок – это во многом проблема правовой природы договоров, по меньшей мере, в области свойств, общих для односторонних сделок и договоров. Иными словами, выяснение правовой природы договора в этой части есть и одновременное выяснение правовой природы сделки.

Итак, *понятие сделки является ближайшим родовым понятием договора и поэтому отражает его юридическую природу. Единственная, но значимая проблема использования понятия сделки для раскрытия правовой природы договора состоит в том, что правовая природа самой сделки в законодательстве и доктрине достаточно четко не определена.*

Понимание договора как юридического факта сколь традиционно, столь же и устойчиво. Наличие у договора качества выступать в роли юридического факта никем не отрицается. Вместе с тем роль договора как юридического факта до сих пор изучена недостаточно. Обычно в литературе дело не идет дальше констатаций, вроде следующей: «Договоры..., будучи юридическими фактами, устанавливают, изменяют или прекращают гражданские правоотношения»¹. Между тем механизм проявления юридико-фактических свойств договора весьма сложен. Само же понимание договора как юридического факта нуждается в серьезном переосмыслении.

Дело в том, что *юридико-фактическое свойство договора – это вторичное юридическое свойство договора как правового явления.*

Юридическими фактами могут быть самые различные, практически любые, факты (явления) действительности, в том числе явления, по своей изначальной природе неюридические (например такие события, как пожар от удара молнии, истечение срока, рождение или смерть человека, дорожное происшествие) или же юридические (например сделки, судебные решения).

Изначально неюридическое явление, становясь юридическим фактом, обретает вторичное юридическое свойство – свойство

¹ Советское гражданское право: Учебник. Изд. 3-е, перераб. и доп. / Отв. ред. В.А. Рясенцев. М.: Юрид. лит., 1986. Ч. 1. С. 444.

юридического факта. В результате такое явление сохраняет свою первичную неюридическую сущность и дополняется юридическим свойством.

Аналогичным образом изначально юридическое явление, становясь юридическим фактом, обретает вторичное юридическое свойство – свойство юридического факта. В результате юридическое явление, сохраняя свою первоначальную юридическую сущность, дополняется новым вторичным юридическим свойством.

Гражданско-правовой договор как изначально юридическое явление имеет свою первичную юридическую сущность – сущность правового акта. Наряду с первичной сущностью правового акта договор обладает вторичным юридическим свойством – свойством юридического факта.

Раскрывая сущность договора через правовой акт и противопоставляя эту сущность юридико-фактическому свойству договора, нельзя оставить без пояснения то обстоятельство, что по традиционной классификации юридических фактов гражданско-правовой договор рассматривается как разновидность большой группы юридических фактов, именуемых юридическими актами. Означенное обстоятельство, казалось бы, сводит на нет по методологическим соображениям усилия выявить сущность договора как правового акта. Однако это только на первый взгляд. При рассмотрении юридических фактов в качестве юридических актов во внимание берутся только юридико-фактические свойства юридических актов. И эти свойства не устраняют сущности юридических актов как правового феномена, которая должна быть выявлена при анализе сущностных свойств юридических актов, которые не востребованы при анализе юридических актов в контексте юридических фактов.

Юридикто-фактическое значение гражданско-правовых договоров, конечно, велико. Однако сама по себе значимость юридико-фактических свойств договора не должна вытеснять его юридическую сущность как правового акта. Гипертрофирование юридико-фактических свойств договора и игнорирование его первичной юридической сущности является серьезной методологической ошибкой, которая способна привести к неверной юридической характеристике договора.

Именно такая ошибка скорее всего и привела к необоснованному выводу относительно содержания договора, сделанному в известной книге по договорному праву. В ней утверждается: «Договоры в их качестве сделки, не отличаясь от других юридических фактов, не имеют содержания. Им обладает только возникшее из договора-сделки договорное правоотношение. При этом, как и в любом другом правоотношении, содержание договора составляют взаимные права и обязанности контрагентов»¹. Нетрудно заметить, что процитированное суждение зиждется на посылке о том, что юридический факт не имеет содержания. В свою очередь, эта посылка основана, видимо, на рассмотрении юридического факта в плоскости наличия-отсутствия явления (факта). При таком подходе в самом деле трудно увидеть содержание юридического факта – какое может быть содержание у факта, состоящего в наличии договора. Однако при любом взгляде на договор как юридический факт его юридико-фактическое свойство является вторичным юридическим свойством, не устраняющим юридическую сущность договора как сделки и, следовательно, правового акта, поскольку сделка является разновидностью правового акта. Поэтому содержание имеют и договор как сделка (содержанием договора в этом случае выступает совокупность условий договора), и договорное правоотношение (его содержание образует совокупность прав и обязанностей, смоделированных условиями договора и нормами права). В противном случае будет выбита логическая почва из-под понятия «условия договора», понимание которых мыслимо только в качестве элементов содержания договора как сделки.

Из сказанного следует, что *будучи вторичными юридико-фактические свойства не отражают первичную юридическую природу договора. Соответственно, методологически обоснованное определение гражданско-правового договора, отражающее его юридическую природу, не может базироваться на понимании договора как юридического факта.*

¹ Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1997. С. 116.

Понимание договора как правоотношения (точнее, договорного правоотношения) в отечественной цивилистике получило широкое распространение. Чаще всего такое понимание договора (значение термина «договор») предлагается в качестве дополнительного к пониманию договора как юридического факта. Редким примером, когда договор понимается только как правоотношение (во всяком случае прежде всего как правоотношение), служит позиция В.Л. Исаченко и В.В. Исаченко, высказанная ими в объемной (728-страничной) книге о договорных обязательствах, изданной в начале XX в. Задавшись вопросом «Что же такое – договор?», они отвечают: «Под договором подразумевается такое юридическое отношение, устанавливаемое добровольным соглашением двух или более лиц, в котором одни приобретают право требовать от других совершения или несорвершения известного действия»¹. В наше время договор как обязательственное правоотношение (и только как обязательственное правоотношение) рассматривает В.Б. Гольцов, при этом противопоставляя договор сделке и правовому акту².

*Достаточно очевидно, что **договор, понимаемый как правоотношение, и договор, понимаемый как сделка (обладающая свойством юридического факта), представляют собой связанные, но разные явления. Иными словами, в данном случае термином «договор» обозначаются различные явления, а именно – основание возникновения договорного правоотношения и само договорное правоотношение.***

Коль скоро это так, возникает вопрос, насколько оправданно именовать одним термином различные явления, ибо изначально очевидна нежелательность для науки и практики ситуации, когда разные явления обозначаются одним и тем же термином.

Из сказанного следует вывод: ***понимание договора как правоотношения не отражает юридическую природу договора, по-***

¹ Исаченко В.Л., Исаченко В.В. Обязательства по договорам: Опыт практического комментария русских гражданских законов. Т. 1. Общая часть. СПб., 1914. С. 4.

² Гольцов В.Б. О понятии договора в гражданском праве // Правоведение, 2005. № 4. С. 46-55.

сколько такое понимание относится к явлению хотя и связанному с договором, но другому, имеющему иное точное обозначение «договорное правоотношение» и занимающему свое определенное место среди юридических явлений.

Понимание договора как документа отражает форму (средство) внешнего выражения договора, притом не каждого, а только письменного договора.

По легальному определению, документ – это «материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования»¹.

Договор как документ и договор как правовой акт (сделка) суть связанные, но различные явления. Договор как правовой акт – явление идеальное, договор как правовой документ – явление материальное. Договор как документ выступает как материальное, вещественное выражение (оболочка) договора как правового акта.

Договор как правовой акт может быть выражен в одном или нескольких экземплярах документов, либо вообще не выражен в документе. В последнем случае формой (средством) внешнего выражения (объективизации) договора как правового акта выступает устная речь, поведение стороны (в том числе действия, бездействие, молчание). Существование договора как правового акта жестко не связано с существованием документа, выражающего этот договор. Если, предположим, договор заключен в письменной форме с составлением договорного документа в двух экземплярах и оба они будут утрачены (утеряны, уничтожены), то договор как правовой акт, как правовая реальность не обязательно исчезает.

Поскольку понимание договора как документа отражает форму внешнего выражения, фиксации согласованной воли сторон договора, да к тому же не каждого договора, оно не может отражать юридическую природу договора.

¹ Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. № 1. Ст. 1.

Вместе с тем использование термина «договор» для обозначения договора как документа вполне уместно, так как из контекста всегда видно значение используемого термина. Так, в выражениях «направить проект договора», «подписать договор» ясно, что речь идет о направлении, подписании документа, содержащего текст договора. К тому же письменные договоры воспринимаются прежде всего через документ – материальный объект, выражающий договор как идеальное явление – правовой акт. Поскольку договор как идеальное явление нельзя «пощупать руками», в быденном сознании он сливается со своей вещественной оболочкой – документом и именуется с ней одинаково.

Необходимость новой цивилистической договорной парадигмы

Предшествующее рассмотрение отдельных воззрений на природу договора позволяет провести общий анализ традиционных научных представлений о юридической природе гражданско-правового договора во взаимосвязи между собой.

Прежде всего из приведенного анализа следует, что *через соглашение, сделку и юридический факт объясняется одно и то же явление – договор как идеальное явление, выражающее волю совершивших его сторон; через правоотношение (обязательство) – другое явление, а именно – правовая связь, возникшая между сторонами вследствие заключения договора; а через документ – третье явление – материальный объект, выступающий в качестве формы (средства) внешнего выражения договора как идеального явления (точнее, только письменного договора).*

Налицо ситуация, когда одним и тем же термином «договор» обозначаются три разных названных выше явления. При этом исходным является первое из них – договор как идеальное явление. О выяснении правовой природы именно этого явления, именуемого договором, в настоящей работе и идет речь.

Поскольку объяснения договора через правоотношение и документ отпадают как характеризующие другие явления, остаются

традиционные объяснения договора через соглашение, сделку и юридический факт.

Из этих оставшихся трех следует отбросить также объяснение договора через соглашение. Нельзя договор объяснить через соглашение по той причине, что договор и соглашение суть явления (понятия) идентичные (что было обосновано ранее).

Объяснение договора через юридический факт (как уже отмечалось) отражает вторичное свойство договора – свойство выступать в роли юридического факта, а поэтому неприменимо для определения юридической природы договора.

В итоге осталось одно традиционное объяснение договора через сделку. Оно, как уже говорилось, отражает юридическую природу гражданско-правового договора, однако раскрытие природы договора только через гражданско-правовую сделку недостаточно, поскольку юридическая природа ее самой не вполне прояснена.

Проведенный анализ традиционных научных представлений о гражданско-правовом договоре позволяет сделать вывод о том, что *учение о договоре, теория договорного права в настоящее время покоится на парадигме, согласно которой гражданско-правовой договор, понимаемый как соглашение, а равно как сделка, в механизме правового регулирования занимает место юридического факта, влекущего возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, предусмотренных законом (нормами права). Однако указанная договорная парадигма неадекватно отражает юридическую природу гражданско-правового договора и как следствие его роль в механизме правового регулирования договорных отношений. Коль скоро это так, цивилистике необходима новая договорная парадигма.*

В основе новой договорной парадигмы должна лежать научная идея, адекватно отражающая юридическую природу гражданско-правового договора.

При уяснении юридической природы гражданско-правового договора необходимо опираться на следующие (как минимум) исходные логико-методологические установки.

Во-первых, *выявить юридическую природу (иными словами – юридическую сущность) гражданско-правового договора –*

это значит определить, к какому роду юридических явлений относится гражданско-правовой договор и какое место он занимает среди других явлений данного рода.

По сути определить юридическую природу гражданско-правового договора есть не что иное, как определить юридическое понятие «гражданско-правовой договор», причем таким традиционным (типичным) образом, как определение через род и видовое отличие. Важнейшей функцией определения какого-либо юридического понятия выступает как раз установление юридической природы определяемого юридического феномена (явления). Кроме юридической природы (сущности) гражданско-правового договора, допустимо говорить и о других аспектах его сущности, например об экономической, социальной, философской.

Во-вторых, *при определении юридической природы договора следует четко различать термин (слово) «договор», с другой стороны – объект, обозначаемый термином «договор», и наконец, с третьей стороны – понятие (то есть целостную совокупность суждений), которым раскрываются отличительные признаки объекта, обозначаемого термином «договор».*

Если одним и тем же термином обозначаются различные (пусть и связанные между собой) объекты (явления), то в этом случае различными будут и понятия, раскрывающие соответствующие различные объекты (явления), хотя эти понятия и обозначаются одинаковым термином. Один и тот же объект может раскрываться более чем одним понятием, соответствующим какой-либо стороне объекта. Именно такая ситуация имеет место в случае с термином «договор», которым обозначаются три (по меньшей мере) различных объекта, а следовательно и три различных понятия.

Методологически неверно поэтому говорить о многозначном (многоаспектном) понятии договора или же о договоре как об интегрированном (комплексном) понятии, как это делает В.П. Мозолин¹. То, что характеризуется как многогранное (многоаспектное, интегрированное, комплексное) понятие договора, на самом деле

¹ Мозолин В.П., Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и СССР: История и общие концепции. М.: Наука, 1988. С. 174.

(если быть методологически точным) есть связанные между собой, но различные понятия, обозначаемые одним термином «договор», но раскрывающие разные объекты. Методологически неоправданно (и крайне нежелательно практически) обозначать одним и тем же термином различные объекты (понятия). Наука должна преодолеть сама и помочь преодолеть практике распространенную тенденцию обозначать договорное правоотношение (обязательство) термином «договор».

Также методологически неверно рассматривать соглашение, договорное обязательство и документ, фиксирующий соглашение, в качестве различных проявлений единого целостного объекта, как это делает Б.И. Пугинский¹. Взаимосвязь каких-либо различных явлений не делает эти явления единым целостным объектом. В самом деле, соглашение, документ, его выражающий, и обязательство, на его основании возникшее, тесно связаны между собой. Тем не менее они не являют собой единый объект, именуемый договором, хотя бы потому, что возможно их отдельное существование. Так, соглашение не всегда выражается в документе (в случае устных договоров), и на его основании не всегда возникает обязательство (например в случае, когда договор заключен под отлагательным условием, а оно не наступило, в силу чего не возникает и соответствующее соглашению обязательство).

В-третьих, концепция юридической природы гражданско-правового договора должна опираться на общетеоретическое учение о правовом договоре.

Понятие гражданско-правового договора должно быть логически сопряжено с системой понятий общей теории права.

Гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт

Гражданско-правовой договор является видом правовых договоров. Понятие правового договора как общеправовое понятие охватывается общеправовой категорией правового акта. Таким об-

¹ Пугинский Б.И. Гражданско-правовой договор ... С. 45.

разом, через понятие правового акта гражданско-правовой договор логически сопрягается с системой понятий общей теории права. Деление правовых договоров на виды, которое дает в числе прочих гражданско-правовые договоры, проводится по отраслевому правовому режиму договоров.

Итак, правовой договор вообще и гражданско-правовой договор в частности по своей юридической природе являются правовыми актами. Само по себе утверждение о том, что договор является правовым актом, строго говоря, уже не может претендовать на новизну. В литературе встречается квалификация договора (гражданско-правового) как правового акта¹. Да и по традиционной, зафиксированной практически в каждом учебнике по теории права классификации юридических фактов гражданско-правовой договор рассматривается как разновидность юридических фактов, относящихся к юридическим (правовым) актам.

И все же несмотря на это в массовом юридическом сознании гражданско-правовой договор с трудом воспринимается как правовой (юридический) акт. Причиной тому скорее всего служат устойчивые ассоциативные связи понятия «правовой акт» с понятием «нормативный правовой акт», а понятия «договор» – с понятием «юридический факт» на фоне противопоставления нормативного правового акта юридическому факту. Показательна в этом отношении позиция Н.К. Нарозникова, по мнению которого «гражданско-правовой договор правовым актом не является, поскольку последний в отличие от договора всегда содержит правовые нормы»². Совершенно очевидно, что отрицание Н.К. Нарозниковым качеств правового акта у гражданско-правового договора

¹ См., напр.: *Дюги Л.* Общие преобразования гражданского права со времени Кодекса Наполеона / Пер. с фр. М.М. Сиверс / Под ред. и с предисл. А.Г. Гойхбарга. М.: Госиздат, 1919. С. 23, 48; *Покровский И.А.* Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. М.: Статут, 2001. С. 245; *Халфина Р.О.* Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1974. С. 292; *Schmidt-Szalewski J.* Droit des contractst. Paris: Litec, 1989. S. 1.

² *Нарозников Н.К.* К вопросу о договорном регулировании // *Юридический мир*, 2007. № 11. С. 39-43.

зиждется на посылке «правовой акт может быть только нормативным правовым актом». Но не менее очевидно и то, что эта посылка ложна. В правоведении давно и прочно утвердилось представление о правовом акте, который может быть как нормативным, так и ненормативным (индивидуальным). К числу последних традиционно относят, в частности, различного рода правоприменительные и правореализационные правовые акты (судебные правовые акты, административные правовые акты и др.). Деление правовых актов на нормативные и ненормативные (индивидуальные) практически никто не отрицает за исключением, пожалуй, только самого Н.К. Нарозникова, который упустил из виду и ранее упоминавшуюся традицию относить договор как юридический факт к юридическим актам.

Важен юридический смысл, идея отнесения договора к категории правовых актов. А смысл этот состоит в том, что *будучи по своей правовой природе правовым актом, гражданско-правовой договор является регулятором общественных отношений (поведения) и в этом своем качестве стоит в одном понятийном ряду с законом, иными нормативными и ненормативными правовыми актами.*

Идея, таким образом, заключается в раскрытии регулятивной сущности и регулятивных свойств гражданско-правового договора. При такой идее тезис о том, что гражданско-правовой договор по своей юридической природе относится к роду правовых актов, уже может претендовать на научную свежесть. В самом деле, есть разница между отнесением договора к юридическим актам в традиционной классификации юридических фактов и квалификацией договора как разновидности регулятивного правового (юридического) акта. В первом случае договор хотя и отнесен к юридическим (правовым) актам, но отнесен в связи с его юридико-фактическими свойствами. Включение договора в группу юридических актов здесь никак не проясняет регулятивную сущность договора, наоборот – скрывает, подавляет ее. Во втором же случае квалификация договора как правового акта свидетельствует о единстве (общности) его правовой природы с правовой природой законов, иных нормативных правовых актов, которые традиционно

противопоставляются юридическим фактам. Единство правовой природы договора и нормативного правового акта означает, что они оба относятся к роду правовых актов и в силу этого обладают общими признаками последних. Такое единство, однако, отнюдь не исключает, а напротив, предполагает существование различий (но только видовых различий) между договором и правовыми актами иных видов.

Регулятивная сущность гражданско-правового договора нуждается в самом серьезном осмыслении, ибо без этого не может быть познан в полной мере и сам гражданско-правовой договор как важнейший юридический феномен.

Конечно, закон и договор, будучи по своей правовой природе правовыми актами, не тождественны друг другу. Поэтому регулятивные свойства закона (иного нормативного правового акта) и договора различны. Различаются они прежде всего тем, что закон издается правотворческим органом в рамках публично-властных полномочий и регулирует отношения всех субъектов гражданского права, основанные на любых договорах соответствующего вида, а договор совершается самими субъектами гражданского права (сторонами договора) для достижения собственных целей и регулирует отношения, основанные только на данном договоре. Однако эти различия являются видовыми и не затрагивают сущность закона и договора, поскольку последние оба относятся к роду регулятивных правовых актов.

В сжатой форме искомую юридическую природу гражданско-правового договора как вида правового акта отражает следующее доктринальное определение.

***Гражданско-правовой договор** – это правовой акт, который (1) основан на гражданском праве (то есть подчинен его правовому режиму), (2) совершен (заключен) двумя или более лицами (сторонами), (3) выражает их согласованную волю, (4) направлен на правовое регулирование отношений между сторонами или также с их участием.*

То обстоятельство, что гражданско-правовой договор является правовым регулятором, позволяет выделить гражданско-правовое договорное регулирование в качестве вида правового ре-

гулирования. Оно может быть определено следующим образом. Гражданско-правовое договорное регулирование – это правовое регулирование, осуществляемое субъектами гражданского права посредством заключаемых между ними гражданско-правовых договоров, и охарактеризовано как децентрализованное (автономное, частное) правовое регулирование.

Понятие гражданско-правового договорного регулирования имеет научную и практическую ценность, поскольку оно позволяет на системно-категориальном уровне исследовать регулятивные свойства договора, раскрыть договор с динамической стороны как эффективное средство, с помощью которого стороны сами юридически регулируют имущественные и иные отношения между собой. Включение этого понятия в категориальный аппарат науки гражданского права восполняет в последнем пробел и способствует решению проблем как договорного права, так и гражданского права в целом.

Формула новой договорной парадигмы

Юридической природой гражданско-правового договора как регулятивного правового акта определяется и его место в механизме правового регулирования договорных отношений.

Прежде всего – это место правового регулятора, причем регулятора важнейшего, поскольку именно договор выступает исходным правовым регулятором договорных отношений, посредством которого стороны своей волей и в своем интересе вступают в отношения и определяют их основное, конкретное содержание, между тем как закон, будучи общенормативным, выражающим государственную волю и общественные интересы правовым регулятором, превосходящим договор по юридической силе, обеспечивает системность, полноту и справедливость правового регулирования договорных отношений.

Значение договора в механизме правового регулирования договорных отношений во многом проявляется через его функции, которых по меньшей мере четыре: инициативная, селективная, регулятивная, юридико-фактическая. Наличие у договора нескольких

функций, в том числе таких, казалось бы несовместимых как регулятивная и юридико-фактическая, обусловлено сложностью системы гражданско-правового регулирования договорных отношений. В рамках законодательного регулирования, которое выступает как общенормативный компонент указанной системы, договор выполняет функцию юридического факта, необходимого для перевода в плоскость конкретного договорного отношения общих моделей поведения, выраженных в нормах права. В рамках же договорного регулирования, которое можно рассматривать как индивидуализированный компонент правового регулирования, договор выполняет иную функцию – функцию правового регулятора конкретных договорных отношений.

Изложенные теоретические положения о юридической природе гражданско-правового договора, его месте в механизме правового регулирования и составляют, как представляется, новую договорную парадигму цивилистики, признание которой должно повлечь пересмотр теории договорного права.

В сжатом виде новая договорная парадигма могла бы быть выражена следующей формулой.

Юридическое значение гражданско-правового договора не исчерпывается ролью юридического факта, необходимого для возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей, предусмотренных законом. Договор по своей юридической природе является регулятивным правовым актом, используя который стороны своей волей и в своем интересе вступают в отношения, определяют их основное, конкретное содержание и тем самым осуществляют регулирование своих отношений. Такое гражданско-правовое договорное регулирование выступает как вид правового регулирования, субъектом которого являются стороны договора, средством – договор, а предметом – любые отношения между сторонами в рамках предмета гражданского права за исключением отношений, не подвластных договорному регулированию в силу своего характера или закона. В механизме правового регулирования договор с одной стороны играет роль юридического факта по отношению закону, а с другой – сам, как и закон, регулирует договорные отношения, причем для возник-

новения, изменения и прекращения прав и обязанностей, предусмотренных договором, также необходимы юридические факты. Вместе с тем, регулируя подобно закону договорные отношения, договор в механизме правового регулирования занимает иное, нежели закон, место. Если закон образует основу механизма правового регулирования и действует как общенормативный регулятор договорных отношений, то договор на основании закона и в установленных им пределах выступает как индивидуальный регулятор отношений по данному договору. При этом договорные отношения могут быть урегулированы не иначе, как только путем соединения регулятивных потенциалов закона и договора.

Без трансформации научных представлений о гражданско-правовом договоре в контексте предложенной новой цивилистической парадигмы договора невозможно методологически корректно объяснить действительную роль договора в правовом регулировании. В прокрустово ложе привычной, но устаревшей схемы правового регулирования «закон-регулятор – договор-юридический факт – правоотношение» договор не вписывается. Поэтому перед цивилистикой стоит задача скорректировать научную картину правового регулирования договорных отношений с учетом того, что не только закон, но и договор – регулятор.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Белоусов Александр Борисович – кандидат политических наук, научный сотрудник отдела философии Института философии и права УрО РАН.

Дидикин Антон Борисович – младший научный сотрудник отдела права Института философии и права СО РАН.

Доманов Олег Анатольевич – кандидат философских наук, научный сотрудник отдела философии Института философии и права СО РАН.

Казанцев Михаил Федорович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий отделом права Института философии и права УрО РАН.

Киселев Константин Викторович – кандидат философских наук, доцент, заместитель директора по научным вопросам Института философии и права УрО РАН.

Лобовиков Владимир Олегович – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела права Института философии и права УрО РАН.

Мартьянов Виктор Сергеевич – кандидат политических наук, доцент, ученый секретарь Института философии и права УрО РАН.

Панкевич Наталья Владимировна – кандидат политических наук, научный сотрудник отдела философии Института философии и права УрО РАН.

Подвицнев Олег Борисович – доктор политических наук, директор Пермского филиала Института философии и права УрО РАН.

Руденко Виктор Николаевич – доктор юридических наук, директор Института философии и права УрО РАН.

Рязанова Светлана Владимировна – кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник Пермского филиала Института философии и права УрО РАН.

Филиппова Наталья Алексеевна – кандидат политических наук, доцент кафедры государственного и муниципального права Сургутского государственного университета, докторант Института философии и права УрО РАН.

Фишман Леонид Гершевич – доктор политических наук, старший научный сотрудник отдела философии Института философии и права УрО РАН.

Целищев Виталий Валентинович – доктор философских наук, профессор, директор Института философии и права СО РАН.

Шевченко Александр Анатольевич – кандидат философских наук, старший научный сотрудник отдела философии Института философии и права СО РАН.

Эмих Валентина Викторовна – младший научный сотрудник отдела права Института философии и права УрО РАН.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
-------------------	---

Глава 1. Интеллектуальные вызовы и проблемы методологии социальных наук

§ 1. Трансформация науки: от тирании науки до желтой науки	9
§ 2. Саморефлексия человеческого социума на рубеже веков: между единством и конфликтом цивилизаций	20
§ 3. Теории постиндустриального общества как глобальный модернизационный миф	41

Глава 2. Традиции и новации в политической науке

§ 1. Упадок демократии и «закат» политологии	65
§ 2. В поисках политической субъектности: от свойств к отношениям	79
§ 3. Трансформация политического в постмодерне: между мифом и нигилизмом	92
§ 4. Любовь и ненависть к <i>Империи</i> : природа, этапы развития	102
§ 5. Негативное позиционирование россиян: эффекты пропаганды и исторической политики	137
§ 6. Пропаганда vs. дипломатия: новые очертания информационных войн	150

§ 7. Феномен новой религиозности как междисциплинарная методологическая проблема	163
--	-----

Глава 3. Юридическая наука в поиске новых парадигм

§ 1. Натурализация эпистемологии в современной философии права: проблемы и перспективы	187
§ 2. Интеллектуальные трансформации старой идеи «Право – математика свободы»: возвращение от красивой метафоры к логической связи понятий» (Исследование формального аспекта юридических модальностей «право» и «обязанность», «свобода» и «необходимость», «невиновность» и «ответственность»: старые феномены и новые тренды)	195
§ 3. Институты гражданского участия: трансформация исследовательской парадигмы	221
§ 4. Трансформация научных представлений об институте омбудсмана в юриспруденции	245
§ 5. Представительное правление в России и Новых Независимых Государствах: метаморфозы конституционных доктрин и практик	274
§ 6. Трансформация научных представлений о гражданско-правовом договоре	30
Сведения об авторах	323

Научное издание

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ.
НОВЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ

*Рекомендовано к изданию
Ученым советом
Института философии и права
и НИСО УрО РАН*

ЛР № 020764 от 24.04.98 г.

Редактор *В.С. Аллаярова*
Компьютерная верстка *А.И. Никоновой*
Дизайн обложки «Vandals»

НИСО УрО РАН № 100(08)

Подписано в печать

Бумага типографская.

Усл.-печ. л. 20,5

Тираж 500 экз.

Формат 84x108/32

Печать офсетная.

Уч.-изд. л. 17,75

Заказ 463

Институт философии и права УрО РАН
620144 Екатеринбург, ул. 8 Марта, 68.

Размножено с готового оригинал-макета в типографии АНО «УЦАО»
620219 Екатеринбург, ГСП-169, ул. С. Ковалевской, 18.